

СОДЕРЖАНИЕ

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Ефим Роговер. «Дневник лишнего человека» И.С. Тургенева 2

МАЛАЯ ПРОЗА

Михаил Рыбаков. При дороге (Повесть)..... 7
Александр Мецгер. Девочка Колокольчик..... 45
 Волшебная кисть художника 47
Александр Рейзен. Гости. Бедная Ксения..... 51
Николай Смагин. Рубль. Игумен. Теленок 55
Семен Гонсалес. Иерусалимская луна 61

ДУША С ДУШОЮ ГОВОРIT

*Стихи Эдуарда Дзюжа, Любви Третьяковой-Гудошниковой,
 Андрея-Victoria-Андреева, Ирины Горбань, Баха Ахмедова,* 64

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОКА

Ефим Роговер. Людмила Петрушевская (Литературный портрет писателя) 82

ПРОЗА XXI ВЕК

Наталья Менендес. Потеряла я колечко (Повесть)..... 91
Валерий Орлов. Роман ни о чем (Продолжение) 131
Елена Жалеева. Ястребы и ласточки (Продолжение) 152

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Алексей Воронов. «Когда поёт далёкий друг...» 170

Ефим Роговер
(Россия, г. Санкт-Петербург)

«ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» И. С. ТУРГЕНЕВА

Эта повесть, начатая в 1848 году, была завершена И. С. Тургеневым в 1850-м и опубликована в журнале «Отечественные записки».

Хотя писатель избрал в этом произведении форму дневниковых записей, но оно сложилось в развернутую повесть, о чем неоднократно говорит рассказчик: «Я хотел написать свой дневник и вместо того что я сделал? Рассказал один случай из моей жизни». И в другом месте: «Я как будто сочиняю чувствительную повесть...». Что касается отмеченной здесь чувствительности, то повествователь периодически одергивает себя, желая избегать сентиментального тона, в который, как ему кажется, он впадает. По его словам, сердечные излияния — словно «солодовый корень: сперва пососеешь — как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту». И далее: «Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю... продолжаю без всякой сладости». Чтобы избежать последней, рассказчик начинает ориентироваться на повествование в духе «натуральной школы», вводя в свой дневник «физиологические» подробности, элементы социального анализа и сатирически освещенные детали из жизни провинциального уездного городка. Недаром он

вспоминает в тексте гоголевского Поприщина.

В то же время Тургенев обогащает свою повесть углубленным психологическим анализом, ориентируясь на прозу Лермонтова. И форма дневника, и особенности композиции, и упомянутый психологизм сближают это произведение с «Княжной Мери». Не случайно Тургенев в тексте повести цитирует русского поэта. Упомянув о своей отраде воспоминаний, повествователь замечает, что это «отрада особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран». Недаром Ап. Григорьев относил эту повесть к «лермонтовскому направлению».

Художественный сплав физиологизма в духе «натуральной школы», гоголевского социального анализа и усвоенного у Лермонтова психологизма составляет стилистическую особенность тургеневской повести, обогащенную новаторским истолкованием выбранной темы и центрального героя.

Заглавие повести, гениально найденное Тургеневым, ввело в литературный обиход выражение «лишний человек». Глубоким смыслом его наполнит сам автор «Дневника...», предложив читателям богатую вариацию обнару-

женного в русской жизни типа. Продолжат осмысление этого образа и другие русские художники слова, начиная от Герцена и кончая Чеховым. Но первенство принадлежит самому Тургеневу, который в этой повести дал углубленное изображение подсмотренного в действительности характера, дополнив объективное его рассмотрение психологизмом, усвоенным на реалистической почве.

В центре повести — герой по фамилии Чулкатурин, тридцатилетний сын богатых помещиков, скверно воспитанный в родительском доме, окончивший университет и служивший затем «в низменных чинах», прежде чем выйти в отставку и поселиться — по причине продажи с молотка всего имения — в маленькой деревушке. Ныне он доживает в ней свои последние дни, будучи смертельно больным человеком. Перед лицом скорой смерти он подводит итоги своей неудачно прожитой жизни и ведет дневник, где пытается рассказать о своем существовании и выявить особенности своего характера. Ядром сюжета становится эпизод из жизни Чулкатурина, когда он благодаря стечению обстоятельств оказался в уездном городе О, где провел шесть месяцев и испытал увлечение дочерью одного из главных местных чиновников — Лизой Ожогойной. Хотя этот эпизод получает под пером Чулкатурина особое развитие, но наибольший интерес для читателя вызывает обстоятельный анализ повествователем своего характера. Дневниковая форма и рассказ от первого лица позволяют это сделать с наибольшей обстоятельностью и детализацией.

Чулкатурина мучает горестное сознание своей ненужности. Размышляя о себе, он усиленно подчеркивает свойственную ему приниженность и осознанную им ничтожность. Последнее из этих слов он повторяет неоднократно, распространяя это свойство на окружающие его явления. И обстоятельства, приведшие его в город О, были «весьма ничтожные», и город этот оказался крайне бедным и ничтожным, и наставник его немец Рикман оказался «худосочным», «слезливым», «судьбою пришибленным», а потому ничтожным существом. Но более всех других оказался ничтожным — в его собственном представлении — он сам, автор своего дневника. Переживания самоотрицания, мнительности и скептицизма доведены в его рассуждениях до крайних пределов. Самоунижение заставляет его считать и называть себя «лишним», словом, вынесенным в заглавие произведения.

Главной записью, сделанной им 22 марта, становится определение себя «совершенно лишним человеком на сём свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей». Запись, оставленная на следующий день, начинается абзацем, подтверждающим эту его особенность: «Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний — именно». Чуть позже Чулкатурин подыскивает синонимы к найденному слову и находит, во-первых, определение «сверхштатный», во-вторых, «неж-

данный и незванный гость», в-третьих, развертывает понятие в суждения: «моя матушка мною обременивалась» и «я постоянно находил свое место занятым». Но самым точным и емким оказывается слово «лишний», которым Чулкатурин в дальнейшем пользуется довольно щедро. При этом герой повести пытается доказать справедливость своего мнения и делает это, приводя все новые и новые аргументы: «так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказывать свою мысль», и одновременно радостно доказать ее истинность.

Приведя историю своей любви к Елизавете Кирилловне, в которой верх одерживает сначала петербургский князь, а потом «маленький человек», мелкий и достаточно тусклый Бизьмёнков, рассказчик, словно доказав теорему, делает следующее заключение: «Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя... о ней нечего и говорить, роль Бизьмёнкова также понятна... Но я? я-то к чему тут примешался?.. Что за глупое пятое колесо в телеге?».

Степень самоуничижения у рассказчика такова, что он сравнивает себя то с несчастной пристяжной, пятой, совсем бесполезной лошадей, то с маленьким воробьем, которому отдает свое предпочтение. Даже свои воспоминания он называет «незначительными», а прожитую жизнь — пустой и никчемной, нелепо разыгранной «маленькой комедией».

Но это самоуничижение парадоксально сочетается у Чулкатурина с развитым болезненным само-

любием. Он сам говорит об этом в одной из дневниковых записей: «Я был мстителен, застенчив, раздражителен, как все больные, притом, вероятно, по причине излишнего самолюбия <...> я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя». Это свойство героя повести побуждает его сравнивать себя то с орлом, то с Англией, омываемой морями, то со Сципионом Африканским, толкает его на поединок с князем, которым сам же невольно восхищен.

Самая же характерная особенность Чулкатурина как лишнего человека состоит в вечной кропотливой возне с самим собой. Он предаётся постоянной рефлексии, самоанализу и самоедству, доставляющими ему определенное наслаждение. «Я разбирал самого себя, — записывает он 23 марта, — до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть как все» <...> Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе». Это самокопание выражается в рассматривании себя в зеркале: «мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе; мягковатые и неопределенные очертания члена не доставляли мне особенного удовольствия». Он подвергает анализу каждое отдельное свое ощущение, каждый поступок, любое выражение, произнесенное вслух или про себя, любую мысль, оформленную или недосказанную

им. «... Что я за ничтожное существо! — воскликнул я вслух... Вот какого рода недосказанные, недодуманные мысли, тысячу раз возвращаясь, однообразным вихрем кружились в голове моей», — фиксирует он итог в своих записях.

Эта внутренняя работа идет у Чулкатурина неустанно. Он признается, что вертится, «как белка в колесе».

Рефлексии подвергаются не только мысли, но и переживания, не только жесты, но и мимические движения. «Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти — все это, вероятно, было весьма занимательно в своем роде». Эта возня с самим собою порой воспринимается героем повести как грызня, царапание самого себя. Отсюда сравнение самоанализа с лисицей под одеждой. «Не одна лисица рылась в моих внутренностях, — признается он, — ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали».

Читатель начинает понимать, что это самокопание делает Чулкатурина безвольным, безынициативным, а иногда пассивным, в результате чего он уступает намеченное им место другому, проигрывает в единоборстве и жизненном поединке, отталкивает от себя любимую девушку, опять-таки становясь лишним.

«... Я оставался гол как сокол. Притом я наедине <...> заставлял работать мой ничтожный мозг, медленно передумывая все замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня», — фик-

сирует в дневнике Чулкатурин. И в другом месте: «я не знаю мысли, над которой не повозился бы я тогда».

Для этой внутренней возни он подключает все психические движения: воспоминания, наблюдения, размышления, внимание, даже подглядывания и подслушивания из засады. И при этом он уверяет себя, что делает все это во имя блага, исполняя долг, сохраняя достоинство. Это делает его нередко смешным, хотя он более всего боится стать комичным. «Когда страдания, — записывает он, — доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными». В результате приходится прибегать к самым нелестным сравнениям: «Я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом».

Не только Тургенев, но и сам Чулкатурин убежден в типичности своего поведения и состояния, поскольку сама действительность не давала возможности проявления лучших свойств умному и даровитому человеку, а его собственная обеспеченность освобождала его от усилий заниматься делом, что вынуждало становиться лишним. Поэтому герой повести часто говорит не только о себе, но и об ему подобных. Для этого он пользуется выражением «наш брат», местоимением «мы» или прилагательным «подобные» мне. «Вообще наш брат ожидает всего на свете, — обобщает Чулкатурин, — кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться». Или: «...то неприязнен-

ное чувство, которое обыкновенно владеет нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружке...» Или: «Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями».

По причине этой типичности лишнего человека Тургенев соотнес своего Чулкатурина, с одной стороны, с «Гамлетом Шигровского уезда» из «Записок охотника», с другой — с Веретьевым из «Затишья», предварив этим образом Рудина из одноименного романа. Но Чулкатурин лишен веретьевской одаренности и той тоски по делу, которая движет поступками «Гамлета» и Рудина. Он наделен, однако, своей индивидуальной непохожестью. Это неудачник, лишний «на сём свете», съедаемый смертельным недугом. Только смерть лишает его необходимости быть «пристяжной» лошастью, ненужным человеком, птицей с подрезанными крыльями. И потому он так жадно ожидает своей кончины.

Но Чулкатурин любит весеннее цветение сада, тонко чувствует природу и с горечью прощается с ними в своеобразной элегии в прозе. Для Тургенева это — чудесный повод обогатить свою повесть изумительной лирикой. Она — в замечательном описании провинциального бала, в любовной истории, введенной в повесть, в грустном

прощании героя с жизнью, садом и липами, в стихах Пушкина, звучащих в концовке. Своеобразным фоном для бездеятельного Чулкатурина становится образ стойких, сильных и крепких бурлаков, тянущих свою баржу под песню «Еще разик, еще раз». В этой «Дубинушке» и боль, и горечь, и одновременно радость от сознания общего, ритмично исполняемого дела.

Повесть Тургенева оценил проницательный критик А. Дружинин, нашедший типичность его героя: «Больной и унылый Чулкатурин есть своего рода тип, принадлежащий кружку небольшому, но замечательному. Он истинно лишний человек, один из тех лишних людей, без которых не существует ни одного молодого общества». Правда, критик объяснил ненужность для жизни Чулкатурина только личными его свойствами и не связал его с действительностью, но он зорко определил частую встречаемость и характерность этой фигуры для общества.

Позже убедительную оценку тургеневской повести дадут исследователи нашего времени: Г. Бялый, С. Петров, П. Пустовойт. Они покажут новизну замечательной повести писателя и своеобразие его центрального героя, который получит развитие в новых рассказах, повестях и романах Тургенева, открывшего для русского читателя новое явление — лишнего человека.

Примечания

1. Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М.: «Современник», 1986. С. 182.
2. Дружинин А. В. Собр.соч. СПб, 1865. Т. VII. С.334.

Михаил Рыбаков
(Россия, Вологодская обл., г. Устюжна)

ПРИ ДОРОГЕ

(ПОВЕСТЬ)

1

Родили меня на Черниговщине, в местечке Радуль, в августе голодного тридцать третьего, откуда успешно вывезли родители в трёхмесячном возрасте. Так по сегодняшний день и не пришлось побывать на малой родине. По рассказам папиной сестры, тетки Зины, местечко было староверческим.

Часть родов были ярые раскольники, а вторая часть — терпимые, обтёрлись с местными обычаями. Наш род относился к ним, но браки старались заключать между своими, местными и можно только догадываться, какой устроили приём матери, пришедшей, не местной...

Отец окончил речной техникум и плавал помощником капитана по Десне. У излучины Десны расположилось мамино село, с промежуточной пристанью, где по вечерам собиралась местная молодёжь послушать патефон, себя показать. Вот там они и познакомились, а когда освободилось место поварихи, то маму взяли на работу. Когда же появился я, собственной персоной, то о плавании пришлось забыть. Отцу предложили два варианта: капитаном на Припять или диспетчером в Новгород-Северск, но так как он был коммунистом, то, для укрепления ячейки, настоятельно рекомендовали последний вариант.

И — вот, первым пароходом, в начале навигации тридцать пятого года, семья наша прибыла в Новгород-Северск, выбрали на пристань. Отец ушёл доложить о прибытии и спросить о каком-нибудь жилище. Вода стояла уже высокая и ещё прибывала заметно, грозясь затопить причал.

Скоро вернулся радостный отец.

— Нюра, ходи за мной! — подхватывая фанерный чемоданишко да мамин узелок, бодро сказал он. Мы вышли за территорию пристани, обогнули забор, поднялись на пригорок и мимо домишек, подались в ту сторону, откуда приплыли.

Скоро у крутого берега показалась старая деревянная баржа, на скорую руку, приспособленная под жильё. Подойдя к сходне, отец взял меня на руки, взошёл на борт, посадил меня на плоскую крышку люка и ушёл за мамой и вещами.

И вот мы уже обживаем новое жилище — каюту в трюме баржи. Отец вылезал по трапу наружу, черпал ведро воды из-за борта, приносил маме, а та, вооружившись тряпкой и шваброй наводила лоск окнам и свежестроганному полу. Потом папа ненадолго отлучился и вернулся с охапкой веток, поленьев (чурок) и мы стали растапливать «буржуйку». Сначала в каюту прокралась из топки струйка дыма, тогда отец поджжёт газету, выскочил

на палубу и сунул горящий факел в трубу. В топке ухнуло, выскочил клуб дыма и, вдруг, загудело. Прошло немного времени, а в каюте — жара, Африка! Прошел промозглый, нежилой воздух, стало тепло и уютно. Мама уложила меня на пружинную койку и, мне кажется, что я слышал, как папа собрался и ушёл на свое первое дежурство, и уже совсем засыпая, слышал как кто-то спускается по трапу и услышал такой приятный голос:

— Ну здравствуй, Анюта!, Устроились?..

— Ой, Марфа Кирилловна! Здрасьте! Як бачите... И тут я, видно, точно уснул, потому, что утром сказал маме, что во сне видел Марфушу... Это я так звал Марфу Кирилловну Бергер — начальника пристани

КАРАУЛ!

Баржа наша была пришвартована между пристанью и Техучастком, у крутого берега городского парка. Река в этом месте узкая и быстрая, а в половодье течение головокружительное. В ту ночь отец был дома — его дежурство начиналось с утра. Спали все крепко: сон перед утром сладок... А в это время (из заключения комиссии), подмытый и сорванный с места столетний дуб нанесло течение на нашу баржу, чалки не выдержали и мы поплыли «по морям, по волнам»...

Первой заметила наше плавание тётка Ася, дворничиха, привыкшая рано убираться. — Михаил Иванович! Просыпайтесь! Караул! — вопила она, грохоча кулаком в окошко. Отец вскочил, натянул штаны и бросился к выходу. С палубы ему открылся вид затопленного левого берега, баржу медленно кружило течением... Опытным глазом речника он определил место и присвистнул. Впереди, за тремя поворотами откроется пироговская низменность, там зацепиться будет не за что... А тем временем баржу, течением и низовым ветром, потащило к правому берегу, где у заводи росли три мощные вербы и когда баржу притёрло вплотную, отец забросил за ствол канат, набросив несколько шлагов на кнехт и приготовился к рывку, но баржа, попав в омут, покорно закачалась у верб, как бы смущаясь своему выбрыку. Завели ещё пару концов для верности, и отец, почти бегом, подался в город. Стояли мы у верб с неделю, пока попутный пароход, бывший папин «Восход», не подтащил баржу к пристани. Вместе с почтой пришёл приказ о назначении отца старшим диспетчером, а Марфуша выделила бывшую кладовую нам для жилья и снова пошла веселая жизнь ремонта, обустройства в новой обстановке. Постепенно жизнь вошла в привычную колею: Папа днём и ночью пропадал в диспетчерской, мама готовила борщи да каши для холостых работников, а я открывал «миры» на территории пристани. Мне позволяли заходить и играть во всех отделах, кроме диспетчерской.

Когда там дежурил отец, я обходил её седьмой дорогой, но как же несправедливы взрослые! Это ж надо, запретить самое интересное: там и телефоны — целых три! Там и бинокль — чудо какое-то! Там и рупор, который может оглушить любого! А звонки чего стоят! Особо когда вместе звонят! Ух! Даже папа порой не знал, за который хвататься.. Конечно, когда дежурил молодой дядя Боря — он меня пускал на минутку, посмотреть в бинокль или поговорить в рупор, но когда не было рядом отца. А таких минут становилось всё меньше, всё реже...

Начали поступать в блокгауз первые намоты пшеницы и какие-то таинственные военные заказы... Тут уж к отцу и вовсе стало не подступиться. Мама, после приготовления обедов, спешила на ликбез, в техучасток. Иногда она брала и меня с собой, но там была такая скука! Тёти и дяди писали на доске и в тетради палки да колёса. Я это всё освоил, со второго раза и мне стало неинтересно.

Я всё чаще заходил в кабинет Марфуши, слушал её сказки и небылицы, разворачивал и заворачивал красивые обёртки на конфетах, специально купленных для меня. Потом старался незаметно улизнуть, чтоб она не кормила меня «маминой кашей», пока однажды не пришли страшные дяди и не приказали Марфуше «следовать за ними»

ПОЖАР

Пожар случился глубокой ночью, когда все крепко спали. Блокгауз располагался рядом с причалом, и первым поднял тревогу вахтенный матрос парохода «Пионер». Он поднял механика и матросов, тут же запустили пожарный насос и начали тушить своими силами, послали за Марфой Кирилловной. Отец в ту ночь дежурил в диспетчерской и по тревоге поднял городских пожарных, которые и прибыли на пристань минут через сорок. В то время пожарная дружина использовала конную тягу и оперативно, не страдала... Тушили до утра и, в конце концов, пожар погасили, но... пшеница и овёс — стратегический запас — был испорчен вконец: часть сторела, часть вымокла, смешалась с песком и грязью, провоняла дымом... Пока пытались общими силами спасти хоть что-то, появились представители органов и тут же арестовали весовщика, дядька Ивана Величко да отца, не глядя, что был он на дежурстве. Мама пыталась как-то узнать где папа, но он неожиданно сам появился во второй половине дня, хмурый и неразговорчивый. Они с Марфушей закрылись в кабинете и долго не появлялись. Когда же отец пришёл домой, то на мамины вопросы только отмахивался и бубнил что-то злое, нелицеприятное. Он как-то поджался, потемнел лицом и очень редко улыбался. Марфуша тоже посуровела, меньше улыбалась мне, а я обижался, не понимал взрослых.

А по городу ползли слухи об арестах речников. В сентябре снова арестовали отца, подержали в ДОПр до очередного дежурства — выпустили. У него распухли пальцы от расстройства. На пристань пригнали плотников, привезли брёвна: восстанавливали блокгауз, спешили достроить до холодов — урожай выдался знатный, а зерно хранить было негде. Близилась к завершению навигация, подходили и становились на зимовку суда, согласно плана, в устье ручья. Отец сутками не появлялся дома. Помогал ставить баржи и катера на зимовку, составлял ремонтные ведомости, заявки на запчасти и материал, инструмент. Забот прибавилось во много раз, время не ждало и органы не забывали, третировали приводами да отсидками — выбивали из рабочей колеи. Марфуша пыталась было заступиться за отца, но ей пригрозили: «Не выступай, немецкое отродье, скоро и тебя пропишем надолго». А жизнь катилась перекаатином. Зима удалась на славу! Сугробы намело, не успевали двор и причал очищать. Плотники, которые заканчивали внутреннюю отделку хранилища, на перекуре выстрогали

мне лыжи и я упорно осваивал их за счёт шишек и разбитого носа. В редкие-редкие дни, отец водил меня в заводь, долбил лунку, и мы с великим азартом таскали пескарей да плотвичку, сидел бы я над лункой до посинения, но самому мне было строжайшее табу выходить на лёд. Тихим сапом, по лоштинкам да перевальчикам, накатывалась весна, а с ней и навигация.

МАРФУША

Марфа Кирилловна Бергер, уроженка степных раздолий Украины, была младшей дочерью колониста из Германии, предок которого ещё в семнадцатом веке пришел туда искать лучшей доли. И доля улыбнулась ему. Трудолюбивый, хоть и мало, но образованный, цепкий, он служил писарчуком-дьяком, женился на дочери писаря коша запорожцев, выполнял поручения по заготовке разного товара, а когда тесть отошёл от дел — занял его место.

Участвовал в нескольких казачьих походах за Дунай. Повезло — при дележе добычи получил добрый куш и отошёл от казачьих дел. Прикупил пруд с мельницей да хуторок малый, жил в достатке, любовался сыном и дочкой. Дружил с соседями, не драл за помол три шкуры. И его уважали люди. Заходили в гости, звали на свадьбы да похороны. Отец Марфуши доводился пра-пра-правнуком тому колонисту. Давно высох ручей и развалилась плотина мельницы. Давно ушла в мир иной любимая жена Анна. Думал по ночам, когда не спалось: «Вот вырастет Марфуша, пустит в дом приймака и заживут они в ладку да тиши...» Думалось... Да не так жизнь повернула оглобли.

Прогремели революции, потом — Гражданская война. Гуляли по степи то махновцы, то красные, то белые. То «батьки», на любой калибр. Но как-то приспособились. Утихли сечи, миновала пуля да шашка. И на том спасибо доле...

Подрастали дети... Собрал старшего, Петера, отвез дьяку в обучение, а тут и Марфуша подросла. Такая красавица вызрела — заглядение! Отвёз и её, определил в классы.

Отучились они четыре года и тут постигло их несчастье... Налетела банда недобитая, порубила родителей, пожгла-разграбила добро. Погибель ждала молодых людей, да, на счастье, Петер вспомнил, как они с отцом тёмной ночью зарыли горшок с золотыми монетами под старым жерновом... Петер закончил кадетское училище и ушёл служить в армию, а Марфуша кончала училище инженеров водного транспорта в Киеве. Вместе с примерным дипломом, она получила направление в черниговское пароходство, на должность плёсового инженера. На месте выдали ей робу, инструмент — теодолит и рейку, на месяц продуктов — сухим пайком, моторный баркас с матросом-мотористом и участок реки от Чернигова до Новгород-Северска и выше по течению аж до Трубчевска.

Для начала соорудили на баркасе укрытие, типа цыганской кибитки, чтоб было где спрятаться от непогоды, запаслись соляжкой да смазкой для мотора, попрощались с помощниками и вышли в неизвестность. Никто прежде не снимал излуки и плёса речные, не вычерчивал планы... И вот, баркас от-

валил от пристани мастерских и гремя всеми железками, и безбожно чадя — двинулся вверх, по течению и скоро затерялся в солнечных бликах. До позднего вечера гремел мотор, пугая полчища комариные, потом затих в заводи. Вскорости появилось пламя, раздули костерок, а в котелке лежал прямоугольник полуфабриката пшённой каши. Заправив варёво консервами, они молча повечеряли и улеглись в свой балаган, надеясь уснуть, но... не тут-то было! Комарьё!..

Ворочались, укрывались с головой — без толку.

Тогда Степан, так звали матроса, соорудил факел и пошёл искать сухие коровьи «лепёшки». Скоро он вернулся с добрым оберёмом блинов, продырявил банку из-под консервов гвоздём, разжёт блины и, помахивая как поп кадиллом, занёс спасительный дымок в кибитку. Такой подлости кровососы не ожидали и, недовольно зудя, исчезли...

Проснувшись Марфуша от мягкого шлепка в борт, прислушалась... снова шлёпнуло... Она выглянула. Оказалось, что Степан настроил удочку и таскал увесистых подлещиков, которые и шлёпали в борт баркаса. Марфуша быстро почистила рыбу, заложила в котелок и принялась варить ушицу... С аппетитом похлебали уху и отчалили. За поворотом отрылся длинный плёс — начало их промысла.

На излучке Степан высадил Марфушу с прибором, а сам переправился на противоположный берег, поднял рейку... так началась съёмка местности, составление карты долины реки...

К пристани Новгород-Северска они добрались во второй половине июня, поздно вечером. Причалив баркас у ручейного причала, Марфа зашла в диспетчерскую и попросила связаться с Черниговским техучастком. Дождавшись связи — коротко доложила о прибытии в город и о решении задержаться дня на три, для приведения в порядок записей съёмки. Неспешно шагая к причалу, она намечала план на завтра. Кончались продукты, солярка и смазка для мотора. Простывший в непогоду Степан страдал от чирьев... «Придётся показать врачу. Баркас дал течь в носовой части, подремонтировать бы...»

Попив чайку — провалилась как в пропасть, давала знать себя усталость и недосыпания, но проснувшись бодрая, весёлая. Умылась и приказала Степану следовать за собой. До больницы было километра полтора, добрались к началу работы и тут же попали на приём к врачу.

Степан смущался, неохотно показывал свои болячки, как дело дошло до паха — и вовсе заупрямился. Врач — еврейского склада, мужчина средних лет, покачал головой и как отрубил:

— Вам, молодой человек, на пушечный выстрел к реке — зась! Месяца на полтора. Вот вам направление в больницу и без возражений, иначе наряд милиции вызову!

Так неожиданно Марфуша осталась одна. «Как же теперь? Мотор запустить не по силам, рейку носить некому, да одной на реке никак невозможно...» Задумавшись, она нечаянно забрела в городской парк и присела на скамейку против «девушки с веслом», обдумывая положение, в котором очутилась. Краем глаза она заметила, как в парк зашел широкоплечий, молодой мужчина и забыла о нём. А тот увидев печальную девушку — остановился,

а приглядевшись, тихо произнёс: «Надо же! Как две капли...» Потоптавшись ещё на месте, он решительно подошёл к скамейке и гаркнул командирским голосом:

— Здрасьте! Вы что тут делаете? Почему хмуритесь? Такая красивая улыбаться во всё лицо должна! Вы кто такая? Вы Петера Хольта знаете? — задавал он свои вопросы, не давая Марфуше опомниться.

— А... вы откуда Пита знаете? — потерянно спросила она...

— Ага! Так вы — Марфуша!? Я не ошибся! Уррра! Такое сходство! Никогда не перепутаешь — тараторил молодой человек, не умолкая — Разрешите представиться: Иван Бергер, ваш земляк, ваш почитатель, командир Питера, после ранения восстанавливаю здоровье... Вот...

Марфуша изумлённо поднималась со скамейки... Вдруг силы покинули её и рухнула бы на дорожку парковую, если бы вовремя не подхватил неожиданный земляк.

— Ох! — выдохнула она, приходя в сознание Где я? Что это?.. И, вдруг припомнила последние минуты, подхватила, бросилась к Ивану и почти закричала:

— Где, где Питер, что с ним?

— Да не беспокойтесь так, с Питом всё в порядке, вою... и прикусил язык, но было поздно! Марфа всё поняла...

— Там?.. — он согласно кивнул, еле заметно — но с ним всё в порядке, подменяет меня, пока «ремонтируют...» — заключил он, бесшабашно улыбаясь.

Они долго бродили по дорожкам парка — знакомились и... будто бы знали давно друг друга. Марфуша конечно же рассказала о сложившейся ситуации в её экспедиции. Она не предполагала, как выберется из этого тупика. Потом Иван проводил девушку до самого баркаса. Что-то поколдовал у мотора и легко завёл железного монстра. Попили приготовленного на костре Марфой чая, долго провожали пылающий закат... Коротко попрощавшись, Иван исчез, растворился в наступившей темноте. Оставшись одна, Марфуша загрустила, вспоминала брата, каким он был при прощании, вспомнился Иван, как он представился... Она заулыбалась несмело, да так с улыбкой на лице и уснула ...

Проснувшись, с какой-то радостью, может утро было светлое и пригожее по-летнему или чирикание рядышком пичуг-птичек божиих? Но было и ещё что-то, чего раньше не примечало Марфушино ухо, что-то, что обещало перемены, рождало надежды... Она вылезла с полотенцем через плечо и зубным порошком в руке и как обожглась широченной Ивановой улыбкой и начала тонуть в ней помимо своей воли, не могла отличить реальность от мечтаний ночных, тайных и немного непристойных... Но...но как он здесь? Зачем он здесь? Что он... И не могла додумать свой вопрос, так как, перелезая через борт баркаса, чуть не сорвалась и, уже реально попала в жаркие объятия и точно утонула в них, без возврата и без сожалений...

И только много позже, успокоясь, они сходили в снабжение, получили продукты, получили зарплату Марфушину, получили солярку и смазку. Почти всё было запасено, уложено. Осталась течь... и навестить в больнице Степана. Город-то чужой, родичи далеко и моральная поддержка парню

необходима. Прикупив угощения на местной толкучке, Марфа пода-лась в больницу, а Иван, проводив девушку взглядом, принялся при-поднимать талями носовую часть баркаса. После, зачистив от ила и тины доски в местах течи, начал конопатить щели, закрыл лиштвой пазы, чтобы не вылезала конопать...

Когда Марфуша подошла к причалу — баркас подрагивал у причала от тихой работы мотора. Они ещё с утра, решили — как только закончат дела на берегу, так сразу же отчаливают и уходят в самый дальний конец, чтобы если и откажет мотор, то спускаясь на вёслах, продолжать съёмку долины реки.

До Белых Берёзок добрались без проблем, а дальше Десна становилась уже и быстрее, но не это беспокоило, а молевой сплав леса. Лес сплавля-ли свежесрубленный, тяжёлый, он почти полностью погружался в воду, его сложно было обнаружить днём, а что говорить о ночи? Пришлось плыть только днём, в хорошую видимость.

Это непредвиденное препятствие усложняло работу, у Ивана было око-ло двух месяцев, а дальше — за назначением...

Трубчевск открылся на правом, крутом берегу Десны белой стеной кромника и церковными луковицами-башнями, колокольнями — глядел-ся внушительно и неприступно. У начала крутого подъёма в город на реке стоял дебаркадер вместо пристани. Причалили, связались с техучастком, доложили, что приступают к работе. Так начался обратный путь...

Иван оказался прав. Дня через три-четыре мотор почихал-почихал, но заводиться отказался напрочь! И пересели они на вёсла, набивали мозо-ли, но дело есть дело!

Через пару дней они начали понимать друг друга с полуслова да и без слов, и в начале третьей недели подплыли к причалу Белых Берёзок. Эх, лучше бы они его проплыли мимо!

Как раз в те дни там свирепствовал фининспектор пароходства. По рас-сказам работников пристани, «ставил всех к стенке».

Положил свой вездесущий глаз и на невзрачный баркас у причала, а уз-нав, что это экспедиция техучастка, потребовал все отчёты по финансовой линии. Всё накладные и квитанции сверил до копеечки, нашёл «излишки» провизии (а как им не быть, если иной раз забывали перекусить, обходи-лись чаем да сухарём?). Попытались объяснить, доказать, да где там? «Нару-шена норма, под суд!» — и весь разговор.

Марфуша пыталась позвонить своему начальству, но этот дуболом «аре-стовал» все телефоны и, ни «тпру, ни ну», а время-то уходит... Тогда за дело взялся Иван. Он сходил в райком и оттуда связался со своим командовани-ем. Какие там сработали колёса или пружины, но завтра пришла телефо-нограмма и фининспектор сник, как спущенный шарик, зло махнул рукой, и ребята, не мешкая, отдали концы и скрылись с глаз. Не дай Бог — пе-редумают!... Пришлось им догонять время, трудясь от зари до зари. Спали четыре-пять часов, даже на еде экономили время.

И вот — Пушкарки, последняя съёмка и промеры — дальше — Новго-род-Северск... Урра! Закончив работу, Марфуша вздохнула и как бы съё-жилась, почувствовала усталость... Видя такое состояние любимой, Иван

уложил её в кибитку, сам погнал лодку к городу. Тихонько причалил и быстро ушёл в город. Вернулся, когда уже встало сентябрьское солнце. Марфуша давно проснулась, но в теле была такая истома, что не хотелось не только вставать, но и думать о чём-нибудь.

Иван вскочил на баркас, намеренно шумно, со стуком, он напевал какой-то марш и стал тормозить Марфу. Поднял, усадил, велел принарядиться, а сам вышел на причал и стоял напевая и любясь светлым днём. Вода в реке стала прозрачной, белесо-голубой, от большого содержания мела и извести. «Интересно, а я и не замечал, что река такая красавица, чем-то напоминает Марфушу».

— А вот и я! — весело объявила она, вылезая на причал. На ней было плотное голубое платье, чуть темнее речной волны, и кокетливая лёгкая шляпка, украшенная вуалеткой, белые танкетки на низком каблучке, в руках держала белую же сумочку, прямоугольную, неброскую, но так идущую к её стройной, заманчивой фигуре! Иван стоял поражённый её видом... Потом схватил её в объятия, закружил... поставил и очень серьёзным голосом произнёс:

— Мадемуазель, карета подана! — И подтолкнул её к выходу. За калиткой стоял мотоцикл с коляской, а рядом сержант в новенькой форме. Не успела Марфуша опомниться, как они пересекли город, проскочили ворота со звездочками и остановились у крыльца, где стоял часовой. Они зашли в большой кабинет, там за дубовым столом сидел полковой комиссар, у стола два лейтенанта. Марфуша всё ещё не понимала, что происходит. Что-то промелькнуло в голове, когда отлучившийся Иван внёс огромный букет чайных роз...

— Вань...

Но тут поднялся полковник и командирским голосом обратился к Ивану:

— Слышь, казак, а ты невесту просветил о мероприятии?

— Никак нет, товарищ полковой комиссар! Это сюрприз...

— Ну-ну, заговорщики... И так, приступим...

Хемер Марфа Кирилловна (Марфуша невольно встала), вы добровольно, без принуждения и по любви выходите замуж за майора Ивана Оттовича Гербер? Марфуша открыла было рот, как пойманная рыба... чуть помедлила и сказала:

— Да...

— Та-а-ак... Ну, а тебя, сияющая рожа, и спрашивать не буду — соврёшь ведь, дружба? Так что живите в ладе, любите, рожайте и т.д. и т.п. Вместо подарка вам — вот ... — и он протянул конверт — На обустройство, а теперь казённая часть: вот вам свидетельство, если согласны, то подпишите.

Иван нетерпеливо схватил ручку...

— Торопыга! Приоритет — даме!

Марфуша, в предобморочном состоянии, взяла у Ивана ручку и подписала, за ней — Иван.

— Где банкет будем проводить? В столовой? Или в доме офицеров? Сколько родичей? Знакомых?

— У меня один — Степан... — ответила Марфа.

— У меня двое — хозяйка с мужем.

— Богато! Ладно... Подкинем свободных от дежурства командиров с жёнами. Расходы часть берёт на себя. Всё, возражений не принимаю!

Свадьба, поначалу скованная, а после нескольких чарок и знакомства, шумная и весёлая, с танцами и играми — затянулась далеко за полночь и запомнилась Марфуше на всю жизнь. У молодых оставалось на всё, про всё — неполных два дня...

А пролетели они, как миг один! Всё осталось там, в двух незабвенных ночах... Всё там, всё там... И вот — автобус, как в тумане, его руки, его губы, его запах: другого такого нет!

Тронулся автобус, Иван порывался выскочить, но командиры удержали... потянулся за колёсами шлейф пыли, кто-то из провожающих пытался догнать, кто-то махал руками, одна Марфуша стояла от всего отрешённая, как не живая. Автобус давно скрылся за дальним поворотом, разошлись провожающие, а она стояла, бездумно глядя себе под ноги... Да и куда ей было идти? Кто её ждал?.. Но вот вынырнул из переулочка мужчина и стал приближаться к Марфе.

— Марфа Кирилловна, нужно собираться, часа через три-четыре ждут пароход.

Она молча двинулась за Степаном, молча собрала вещи и инструменты и пошла на пристань. Степан оставался матросом в местном техучастке.

Подошёл «Днепровец» — рейсовый грузопассажирский пароход. Оказалось, что мест нет, но ей уступил свою каюту помощник капитана. По прибытии в Чернигов, руководство заслушало её доклад, который вызвал такой интерес, что (хотя она была беспартийная) пришлось ещё раз докладывать в обкоме партии, после с ней беседовал второй секретарь, а через несколько дней её доклад слушался на коллегии министерства. Потом она бродила по вечернему Киеву, любовалась его памятниками и Крещатиком. Утром Марфушу вызвали к министру. Состоялся серьёзный разговор. Говорили обо всём: о жизни, интересах, политике и, главное — об Иване. Потом министр подал ей записку, со словами:

— Прочтёте на досуге, а сейчас пройдите в отдел кадров — после зайдёте ко мне.

Там ошеломлённой Марфе вручили документы и направление в Новгород-Северск, на должность начальника пристани, без испытательного срока! Случается...

Министр поздравил с назначением, пожелал успехов, посоветовал, по приезде на место заглянуть в райком партии, пожал на прощание руку.

— Счастливого добратья и не забудьте зайти в комитет, там для вас — сюрприз...

Выйдя из министерства, Марфуша вспомнила о записке. Присев на парапет фонтана, она развернула листок и ахнула! Там был почерк Ивана и не просто записка, а рекомендация в партию. Тайком поцеловав милый почерк, бережно сложила листок и заторопилась на пристань.

Пора было добираться к новому месту работы и судьбы...

Первая радость её ждала в Чернигове. По рекомендации министерства, ей выделили небольшой, но довольно быстрый катерок — весь белый, с голубой полоской ватерлинии, а с ним — матрос-моторист, Степан!

Через полтора суток были на месте. Квартирку, из двух комнат и кухоньки ей соорудили на нижнем этаже здания пристани. Вещи её вместились в объёмистый рюкзак. Бросив его в прихожую, даже не замкнув двери, она пошла представиться коллективу. Только закончился торжественный сбор, как подкатила бричка из райкома. Там её ждал шикарный сюрприз: из складов выделили обстановку в квартиру. Для женщины — это было что-то!

Постепенно всё улеглось и жизнь начальника пристани стала неотъемлемой частью не только пристани, но и города.

Страна развивалась, мужала, поднималась из пепла, интенсивно строилась. Всё больше и больше нужно было угля, леса, хлеба и к хлебу дорог, по сути, не было, не было и автотранспорта, не было паровозов, вагонов, рельсов, шпал. Как-то держался на плаву самый дешёвый — водный транспорт. На него и делали ставку партия и правительство.

На Десне в то время, работали: грузопассажирские пароходы «Победа», «Днепровец», «Восход»; буксирные — «Дежнёв» и БК (1, 2, 3, 4) — первые дизельные катера.

Перебрасывали из Донбасса уголь, обратно крепёж в шахты, хлеб, военные грузы, сплавляли плоты из брянских лесов. Движение на реке было бодрое, случались казусы и аварии — везде нужна была смекалка и знания начальника пристани.

И Бергер старалась до всего дойти сама и приучить к ответственности подчинённых. Ещё помогала активно чем могла на курсах ликбеза. Страна требовала грамоты, грамоты... В один из таких напряжённых дней вызвали её в райком партии. Вернулась она чернее тучи, заперлась в кабинете... Никто не видел её дня три. Потом ушла с ревизией по портопунктам, вернулась загорелой, но так же, печальной. Зашла как-то в диспетчерскую и рассказала отцу, что брат её Питер и муж Иван погибли смертью храбрых, защищая испанское небо.

Вот тогда она и прикипела душой к нашему семейству и ко мне в частности.

К концу тридцатых годов в стране появился какой-то достаток, упали цены на основные продукты и необходимое, чаще по вечерам распевали песни, заработал кинотеатр, базар шумел с утра до позднего вечера. Люди повеселели, приоделись, выезжали на природу.

ПИКНИКИ

На местной линии перевозил пассажиров пароход «Пионер». Был он невелик, вмещал около пятидесяти пассажиров. Весь белый, опрятный, по бокам — колёса с плицами Труба тонкая, длинная, чуть наклонена в сторону кормы, на ней белый серп и молот, а на самом верху две красные полоски. Бывало — бежит-торопится по плёсу, шлёпает плицами: чоп-чоп-чоп... И как-то радостно на душе, улыбаться хочется, знаете? Как забияка, но в белой манишке. Так он в выходные или по праздникам возил семьи работников пристани на песчаный пляж под Пушкарями. Если выпадала хорошая погода, то и два-три рейса делал. Тогда на пляже народу собиралось, как в хорошем посёлке. Были на пляже

и временные палатки. Туда выезжали кооператоры, частники (больше евреи), стояли грибки от солнца и деревянный бассейн, для самых маленьких. Его наполняли вёдрами. Собирались самые упитанные и, чтоб сбросить жирок, таскали вёдрами водицу, пока не наполнят. А вокруг мы: разбойники, пираты, красные бойцы — штурмовали деда Есю — мороженщика...

Ох, какое же у него вкусное было мороженое! Жёлтое, крупчатое, запашистое! Он священнодействовал: в левой руке держал форму — патрон, правой опускал в форму кружочек вафельный, заполнял ложкой форму мороженым, накрывал вафельным кружочком и со словами: «кушайте пожалуйста» — вытаскивал из формы это чудо. Мы стояли зачарованные, ждали своей очереди, держа в ладони вспотевший пяточок и предвкушая свою порцию. А вокруг нас, на разнообразных подстилках, на свободных лотках — море закуски, самовары, блестящие на солнце «мерзавчики» (поллитровых бутылок не было). Играли патефоны, гармошки, гитары. Торговали даже в шоколаде, раковыми шейками, папиросами «Парашютист», разными безделушками... К вечеру звучали украинские, белорусские песни. С песнями и в город возвращались...

И. О.

Вплоть до марта сорокового продолжались то аресты, то отсидки... То отца увезут, то Марфушу... Работали как на углях. А тут ещё случай подоспел: плывущая «самоплавом» небольшая баржа, гружёная шахтными стойками, не доходя до Пушкарей налетела на корч, получила пробойну и затонула. Где был в это время шкипер?... Обнаружили только, когда до пристани доплыли стойки. Интересное дело, но шкипера не нашли. Убежал с перепугу?... А вот органы не спали. К вечеру увезли Марфушу и уже насовсем. Отец ходил в ДОПр, в комитет партии — безрезультатно. Недели через две пришёл приказ. Отцу вменялось исполнять обязанности начальника пристани, параллельно своей работе. О Марфуше, ни слова... Но ладно бы, не мешали, так нет же — теперь таскали отца, одного, через день да каждый.

А у нас семья выросла, родилась сестричка в тридцать шестом, в июне родилась ещё сестра, приехала из села бабушка, помогать по хозяйству... И младшую сестрёнку мама принесла в новую квартиру, вот — ночевал ли папа хоть раз в новой квартире, не помню...

Похоже, что нет. Диспетчерская, приходящие и проходящие пароходы, проверки, комиссии, отсидки и вновь работа... С открытием навигации срок первого была какая-то нервность, увеличились военные перевозки. На пристани постоянно дежурил командир и отделение солдат. Солдаты несли вахты по ночам у блокауза и проходной. Командир постоянно находился в диспетчерской и требовал отчёта о переговорах. Зачастили представители райкома и исполкома. Всем нужно было что-то отправлять, отправлять срочно, у всех свои заботы и задания, а пароходы не резиновые, их не хватало. Все жаловались отцу и на отца, грозили, просили, умоляли, хватали за ворот кителя... А что он мог? Пароходы и баржи остались те же,

их не прибавилось, к тому же «Дежнёва» отобрали на Днепр, там тоже была запарка...

В начале июня меня отправили в летний лагерь, в Биринский лес. Там было интересно. В палатках просторно. Вечером большой костёр! Читали стихи, пели песни, утром вставали по позывным горна, бежали на реку умываться, завтракали и... уходили по тропам в сёла, знакомились с селянами. Для иных это было внове, а я каждое лето жил у бабушки в селе и знал это не понаслышке. На субботней линейке нас, младшеньких, принимали в октябрюта. Приняли и меня, вручили значок с дедушкой Лениным. Сколько радости-то было! Я долго не мог уснуть.

Утром должна была придти мама. Сколько новостей расскажу ей!!! Наверное я ещё не успел уснуть крепко... Когда вокруг загрохотало — я первым был на ногах. Палатка была закрыта наглухо, но через материал угадывался огонь, трещали сучья. Кто-то носился рядом с палаткой, кто-то визжал не своим голосом. Не найдя застёжку, я поднырнул под низ палатки и выбрался в ад крошечный... От горящих кустов и сосен было светло как днём, и я разглядел, что на месте смежной палатки образовалась ямка, что-то рядом дымилось, дальше сновали непривычные люди, удлинённые тенями — всё казалось ночным кошмаром, если бы не дикие ребячьи крики... Саша — наша вожатая, ночевала в смежной палатке... Дальше я боялся думать...

Как-то само собой получилось, что я расстегнул полог и вошёл внутрь. Ребята и девочки жались друг к дружке, со страхом глядя на меня, вроде бы я лешак какой. У меня самого горло было перехвачено так, что дышалось с трудом.

— Что там?..

— Как там? — посыпалось несмело

— Берём свои вещи и бежим под берег — еле разжимая зубы, сказал я, схватил свою сумку и бросился из палатки... Мы уже спускались с крутого берега, к реке, когда небо зарычало, завывало и загремело ещё грозней, чем прежде.

Мама прибежала ещё затемно, но долго не могла нас отыскать. Вторым заходом лагерь уничтожили полностью. Благодаря тому, что вовремя ушли ребята, кто в лес, кто к речке — погибло только одиннадцать ребят и наша Саша.

Когда взрывы утихли и всё успокоилось, я вылез посмотреть, что на белом свете творится, и тут увидел маму, которая сидела у пешеходного моста и плакала. Я помчался со всех ног, вцепился в неё, как клешнями. Вокруг бродило много народу в поисках своих, кричали: «А-у-у!» — тем временем подтянулись ребята нашей палатки и начали выходить ребята из леса.

Мама опомнилась и потащила всех на мост, и мы бегом бросились на тот берег... и вовремя, потому что зарычало вдалеке небо... Часть ребят бросилась врассыпную, а несколько заспешили вдоль дороги. Мама крикнула им вдогонку:

— Ребята, прячьтесь! — и мы сиганули в пшеницы. Бежали, падали, вставали и вновь торопились туда, под крутой берег... А над нами гремело небо, трещали пулемёты, рвалась сама земля...

Мы с мамой бежали полем пшеницы,
Не сжатою жнейкой, не тронутым жницей,
А небо рычало, плевалось свинцом.
Бежали и падали в землю лицом.
Бежали мы к речке, под бережок,
Прыгнули с кручи в жёлтый песок.
А там, за рекою, где Биринский лес:
Разрывы, разрывы и огненный бес.
Там вздыбился мост, как конь на скаку,
Мгновенье висел и рухнул в реку.
Разбойничья стая, с крестами на крыльях,
Любуясь кружилась, за дымами скрылась.
А мы, отдышавшись самую малость,
Под кручей-защитой дальше подались..
Это начала войны эпизод,
Шёл роковой сорок первый год.

БРОНЬ

Когда мы прибежали домой, то там стоял полный кавардак. Бабушка плакала, сёстры визжали, а папа, какой-то очумелый, ходил по комнате и запихивал в суму то бельё, то кусень хлеба... Потом поцеловал по очереди сестрёнок, подошёл к маме.

— Прости, Нюра, коли что не так... — поцеловал и, уже выходя за дверь, бросил — я в военкомат. Война, Нюра... Я бросился следом. Он прижал меня к груди и помолчав, выдавил толчком, из себя:

— Гляди тут... За хозяина остаёшься — и спрыгнул на землю.

Только было малость успокоились женщины, как вновь зазудило, загремело небо, навалилось всей тяжестью ревающей смерти. Засвистело, завывало... Мы только успели попадать под стенку, как зазвенели и посыпались стёкла, навалился такой грохот, что мы все оглохли, сошли с ума... Когда развеялся дым и чад, то мы не увидели кожевенного завода, который стоял сразу же, за забором. Горели ярко остатки завода и догорал забор. Дым тянуло прямо в щербатые окна. У водокачки выворотило два старых тополя, с корнями, у торговых рядов, на площади, взрыхлило брусчатку, как плугом прошло.

Отец пришёл уже затемно. Молча обошёл дом, молча постоял у пожарища, бросил в угол котомку, погладил спящих сестричек, бросил маме:

— Посадили на бронь...

— А что это, Миша?

— Потом, всё потом, я на службу... И ушёл.

Так кончился первый военный день, такой страшный и дикий...

Мама уложила сестрёнок в уголке, за пологом, так как по комнате гулял ночной сквозняк и мы поспешили на пристань, узнавать новости. У нас висел телефон, но папа строго-настрого, запретил болтать, только для служебных переговоров. По пути зашли к старому еврею-стекольщику и мама договорилась о вставке стёкол. В диспетчерскую заходить запрещено и мама вела меня за руку, к стоящему у причала «Восходу», к поварихе тёте Саше — где ж ещё можно узнать последние новости?..

Уже начало темнеть, когда в каюту заглянул вахтенный матрос и предупредил, что через десять минут караван отчаливает от пристани. Мы вышли на причал, обернулись, чтоб помахать рукой, и не узнали парохода. Он был неузнаваем: вместо белого, как лебедь, на нас глядело что-то невзрачное, аляпистое... Только спустя какое-то время мы поняли, что это защитная окраска от неприятельских самолётов.

Только скрылся за поворотом караван, как налетели фашисты, зажгли освещение и начали бомбить пристань. Несколько бомб попали в причал, который разлетелся в щепки. Мы в это время лежали за забором, в канаве, пережидая бомбёжку. Потом нас отыскал отец и проводил домой.

Здание пристани и малый, ручевой причал уцелели и рабочие пристани «украшали» всё свежими ветками деревьев, чтобы вражеским лётчикам не было видно ни пристани, ни причала. На реке не было ни парохода, ни баржи, ни путной лодки — всё замаскировали. Работа начиналась после захода солнца, всю ночь, до зари. Грузили пушки, снаряды, набивались в трюмы барж мобилизованные, солдаты, командиры. Любими путями на борт пытались забраться эвакуированные, беженцы.

В диспетчерской остались двое: дед Борис да отец. Остальных призывали на войну. Дед дежурил днём, если было тихо, отец ночами, если не сидел в ДОПРе. Каждая ночь выдавалась всё напряжённее и опаснее. Правда, по ночам, в полной темноте, почти бесшумно появлялись наши «ушки» и — только появлялись немцы, как выпускали трассирующую очередь и уходили в темноту.

Как-то поздним вечером отца отпустили из очередной отсидки: предстояла горячая ночка.

Он забежал домой переодеться да перекусить, и тут началась бомбёжка. Мы подхватили приготовленные узлы, папа — чемоданы и побежали к щели (вырытой в земле канавы, перекрытой в два наката брёвен и засыпанной землёй... потом перетаскивались обратно, и тут зазвонил телефон... Отец долго слушал, подтвердил:

«Понял вас...» — обернулся к маме и сказал:

— Нюра, собери ещё, что сможешь, но немного, и ждите, из дома никуда. И почти убежал.

Заохала бабушка, заныли сестрички... «Что-то серьёзное будет», — подумалось мне. И правда, минут через сорок подъехала телега, на неё быстро загрузили вещи и, вставив в спицы тормоза, тронулись под гору, к пристани.

ПОБЕГ

Я проснулся и разом открыл глаза. В хате жил полусвет и в нём выступал угол белёной крейдой — мелом, русской печки, чем-то напоминающей что-то знакомое... ах да!..

Это наша квартира, тут же, в городе, только тремя месяцами ранее. Там в обеих комнатах царил форменный бедлам — наспех завязанные узлы, с домашним скарбом. На полу — не протиснуться из-за того, что не вошло в узлы и пакеты... Я, было, сунулся подбирать игрушки, но меня остановила баба Ульяна:

— Хай уже, новорожденный, валяются твои цацки, бо никуды их класты. Бач, що робиться? О, горе, горе! Нюра куда ж мы?

— А я знаю, мама? Кудась приедем. Кажуть в области эшелон дожидается, мо успеем...

— Баба, а баба, чего ты дражнишся?

— Як это?

— А каким-то роженным обозвала?

— Ну ты дывись, дуренький... Сегодня шеснадцатее — твой день рождения. Ты ж уже козак, аж восим годочков!.. Зазвонил телефон...

— Да! — сказала мама в трубку и слушала, что говорил отец. — Ладно Миша, всё поняла... что могли — собрали. — Всего не возьмёшь — со вздохом закончила мама...

— Ну, шо там, дочка?

— Не придёт ночевать... срочный груз, прислали солдат в помощь, к утру надо отправить... Велел еды дня на три заготовить. Миня, бери кашолюку, идём в мазазин, пока не закрылся... Тут подняли галдѣжь сестрички:

— И мы, и мы!

— Вы — завтра, мои хорошие, поиграйте с бабушкой, а мы вам карамелек принесём. — Успокоила их мама и мы поспешили из дому...

А утром — всё завертелось, как в кино... Первым делом подкатила телега. Два матроса погрузили вещи, туда же забрались бабушка и сестрички... Телега тронулась, а за ней и мы с мамой и матросами поспешили к пристани...

Папа и капитан «Днепровца» — Костылев Никита Ильич, встречали нас у ворот пристани.

— Ну, слава Богу! Здравствуйте, мои хорошие!.. Быстренько слезайте и на «Днепровец»!

Хлопцы, поторопитесь и присмотрите за ребяташками.

— Па-а, я с тобой!

— Миня, ты ж большой уже, помогай маме и бабушке. Мне некогда, нужно выполнить последнее поручение...

Пришлось мне топать вслед за девчонками к причалу, где шипел паром белый-белый пароход... Только мы загрузились на борт, как за зданием пристани раздался взрыв, поднялось облако дыма... Потом второй и третий... Никита Ильич снял мичманку и молча стоял, глядя, как над зданием пристани показались языки пламени...

— Всё!.. Отдать кормовой! Самый малый вперёд...

Показался отец, рядом с ним быстро шагал папин напарник Иван Жигуров. Они почти богом залетели по трапу на пароход...

— Отдать носовой! — гремел в «матюгальник» капитан

— Малый назад!.. Правый на борт!.. Полный вперёд!.. Самый полный!!!

«Днепровец» послушно развернулся и подался вниз по течению... А мы стояли на юте — корме, махали руками и глядели, как правый, высокий берег скрывает на повороте город... У ручьевого причала, кормой к городу, стоял под парами «Днепровец». На него непрерывной цепочкой шли грузчики, военные, семьи работников пристани. Загрузили и наши вещи в каюту капитана Никиты Ильича, папиного друга земляка. Гудков

не было. Последними, на трёх бричках, подкатили исполкомовцы, и, тут же «Днепровец» полным ходом побежал вниз по течению... День простояли в старице, под Гремячом, а перед самым утром получили сводку из Накошена, что под Ушлей фашисты вышли к реке и вниз ходу нет... Решили спуститься до Устей, может — неправда?

К Устям подходили на рассвете. Осталось повернуть в узкую речку и можно ждать темноты, но из-за прибрежных деревьев как вынырнули три самолёта и стали бомбить пароход. Первый и второй промазали, а третий попал... Две «зажигалки» попали на палубу, одна под рубку, а вторая на корму. Взрывов пока не было, но пламя аж гудело! Вывалился горящий рулевой. Капитан и отец бросились к рубке, но там был сплошной огонь. Неуправляемый горящий пароход вильнул влево и воткнулся острым штевнем в илистый берег и стал неподвижной мишенью. Засvistели и стали рваться бомбы. Люди в ужасе срывались в реку, чтобы погасить горящую одежду, кричали, просили помочь, тонули...

Когда самолёты улетели, мама и бабушка, лежащие над нами, поднялись, выскочил из машинного отделения отец и заорал во всё горло: «Вон из парохода! Сейчас взорвётся котёл!!!» И потащил нас на нос и стал выкидывать всех, как мешки с мякиной... За нами последовали остальные, кто выжил в том пекле. И вовремя — только люди успели выбраться на землю, как слышался нарастающий гул в небе — шли самолёты добивать пароход. Люди бросились врассыпную.

Снова глохли уши от взрывов и когда они улетели — пароход уже был на дне. Над водой виднелся верх рубки, часть трубы и обломки мачты.

Остаться дальше было опасно и мы, цыганским табором, подались, вдоль Сейма в Новые Линь. Уже солнце клонилось к закату, когда мы вышли на центральную площадь посёлка. Исполкомовские подались в поселковый совет, а мы — искать ночлег. Пустила нас ночевать старуха, на самом краю улицы, скоро пришли за отцом... Потом выяснилось, что в поле, на отаве, было собрано огромное стадо живности для угона на восток. А в поселковом совете собрался весь актив района. Стоял один вопрос, как организовать угон скота.

Отец вновь заявил военкому, что готов уйти на фронт, но тот, поглядев на его «бронь», покачал головой и заявил:

— Э, нет, Михаил Иванович, не я вам выписал сей документ, не мне и отбирать его... Товарищи! — обратился он в зал — У меня есть предложение, которое всех устроит и развяжет нам руки. Предлагаю начальником штаба пастухов назначить Рундукова. Он коммунист, образованный, ему и карты в руки!

— Послушайте, товарищи, у меня же семья шесть человек, куда ж мне?

— Э-э, мил человек, семья, не помеха! Найдём тебе лёгкую телегу, погрузишь пожитки и — вперёд! — заключил председатель сельсовета. — Это уже по твоей линии, Мойсеич — лошадку и телегу к утру. Ясно? Михаил Иваныч, можете тоже быть свободным и считайте, что это партийное поручение вам и вашей семье. Коллектив подберите сами: вам с ними работать. Накладные и печать, расписки получите в типографии, часика через два.

— Да, Остап в твоей ватаге видел котёл вёдер на пять поди... Отдай в пастушью артель. Ушицу и в вёдрах сварганишь. Всё, хлопцы, до утра!.. Теперь вот ещё что... — выходя, обратился он к залу. Эти слова услышал отец.

У скота никого не было. Пригнавшие табуны и стада, пастухи разбежались. У намета сидели три молодницы и щёлкали семечки. На предложение отца — гнать дальше стадо, согласились, а к утру уже сколотили бригаду из двадцати двух человек. Хорошие специалисты, каждый знал, что им понадобится в дороге, и тут же бросились выколачивать из организаций и складов нужное. Солнышко только окунулось в сентябрьские туманы, холодные да белесые. Росы истекали таким обилием, что на дорожках поблескивали зеркальца луж. Недоеное стадо призывно ревело и туда устремились местные женщины, как-то успокоить коров, отдоив, хоть на землю, молоко из раздутых вымен. И верно, скоро коровки успокоились, но расходились свиньи, требуя корма, ржали рабочие кони. Завидев людей, они окружили их плотным кольцом и каждый ластясь пытался обратить на себя внимание.

— Боже! Как же эту ораву накормить и гнать куда-то, не известно куда?

— Не переживайте так уж... В дороге решим. Как-то будет. — Утешила его одна из тех — трёх. Привезли казан и лёгкую повозку — арбу на двух колёсах, которую мы тут же окрестили «Бедой». Забросили в неё несколько узелков да фанерный чемодан — были готовы к дальней дороге... По спискам выходило всего голов — три тысячи восемьсот пять. Отец собрал свою бригаду на совет

— Два вопроса нужно решить, товарищи. Первое — как будем гнать стадо, огульно или каждую тварь отдельно?

— Только отдельно! Гамузом не выйдет, — отозвались опытные пастухи. — У коня ход один, у свиньи — ход другой, у коровок — тоже свой. Если гнать отдельно, то можно кого-то попридержать, кого-то подогнать... да и кормиться скотина должна.

— Так-то... — ответил задумчивый, молчаливый старик. — Верно Кузьма гутарит: порознь — оно надёжнее и безопасней... Если повезёт, то нужно выбирать пролески, чтоб меньше из неба было видно... — зашумели женщины. — Тогда второй вопрос. Нужно срочно сосчитать стадо, поголовно. Теперь за каждый хвост головой отвечаем... Тогда — так: делим стадо, быстро считаем — списки мне. Пойду отчитаюсь и в дорогу.

Пока женщины кончали дойку, принесли списки всего стада. Выходило, что свиней было на три головы меньше. Лошади — все на месте, овцы разбредлись без присмотра, пока не нашли шесть голов... За ночь отелились две коровы. Их, с телятами, придётся оставить в посёлке.

Когда отец зашёл в исполком, то там шли сборы в дорогу. Выносили ящики с какими-то документами, кумачовые знамёна, ещё что-то тяжёлое, тайное...

— Зашёл отчитаться, — обратился он ко второму секретарю райкома.

— Только быстро, видишь, что творится? Что у тебя, Михаил?

— Вот списки стада... трёх овец не могли найти, куда-то ушли... И две коровы отелились ночью...

— Давай списки, чёрт с ними — с овцами.. Держи руку и будь! Поскорее уходите! Всё...

ОТСТУПЛЕНИЕ

День прошёл тихо, без налётов вражеской авиации, и вечером, подыскивая позеленевшую лощинку для ночного выпаса, бригада рассыпалась по пролеску. Скоро вернулся Кузьма с доброй вестью. В полуверсте к западу он нашёл добрый ручей и сочные зеленя... Когда стадо собралось, то под навесом, в котле булькала пшёнка, ждала свежего молочка, а его — залейся! Коровки сами подходили и ждали очереди, чтоб подоили, облегчили страдания. Кроме меня и сестёр, в бригаде было ещё трое моих годков и девчонка лет десяти. Каткой звали... Вот мы и сидели, ждали, пока бригада поужинает, чтоб разделить меж собой пригарки пшёнки и почистить котёл — наша доля в общие заботы. Эх и вкуснятина — пригарки каши! Румяные, пахнут костром, объедение! Утром, только зашевелились пастухи, а стадо начало собираться, по вчерашнему расписанию... Во дают, черти! Умные. День выдался очень похожим на вчерашний, если бы, не одно «но»... Прошли за день намного меньше вчерашнего... Пристали свиньи. Ложились на ходу и отвечали визгом на попытки поднять... Что делать? Пришлось искать место для ночлега...

На третий день, к вечеру, налетела на нас полуторка с двумя красноармейцами в кузове. Остановилась. Из кабины почти вывалился командир и, нетвёрдо стоя на ногах, вынул из кобуры пистолет да и начал стрелять по свиньям... Поднялся неимоверный визг, поняв, что добром это не кончится, солдаты завалили командира наземь, отобрали для верности пистолет. Да он и не сопротивлялся, тут же захрапел на запашистой травке. Пока разбирались что и как из близлежащего леса, подкатила МКа, из неё вышли три командира, расспросив солдат и нас, в чём дело, погрузили пьяного в машину и укатали, оставив командира для улаживания конфликта. Трёх убитых свиней погрузили в кузов полуторки, командир написал отцу расписку, и машина укатала восвояси, а бригада стала готовиться к ночёвке.

Потом пошли кошмарные дни. Кончилась пасмурная погода, выглянуло солнце и появились в небе самолёты. Они «каруселили» над станцией, исчезали, появлялись вновь, пока не замечая нас. После обеда по дороге, идущей недалеко от стада, запыхали три автомашины, и самолёты переключились на дорогу, обнаружили нас. Что там делалось! Перепуганные лошади и овцы бросились врассыпную, молодые коровы ушли в догон беглецам — старые коровы и свиньи ревели и визжали, погибая от взрывов и осколков... Как мы сами остались живы в этом кошмаре? Кто же скажет... Полторы сотни голов свиней и коров полегли в тот день...

Каждый день становилось холоднее, чаще шли дожди, меньше стало налётов авиации, но и от стада оставалась такая малость... Лошадей разобрали артиллеристы, осталось поддесятка хромых кляч. Свиней не осталось совсем, овец — тоже. Жив был бык Борька да четыре десятка коров. Первый заморозок догнал нас у хутора Дмитров, на границе Курской и Орловской областей. Осталось от бригады три семьи. Нашу «беду» тащила корова Зорька. Два воза ещё хромоножки-лошадки. Перед самым хутором военные заготовители забрали трёх обезноженных коров. Добрые люди пустили нас переночевать, загнали остатки стада в колхозную кошару.

Борьку в крепкий амбар. Весь день за нашей спиной гремело, слышались пулемётные очереди и даже винтовочные выстрелы, потому отец завернул сумку с документами в рогожку и закопал в уголке хозяйского двора, закатил на то место старую, рассохшуюся бочку. А рано утром, весь хутор подняли на ноги люди в незнакомой форме. Серо-зелёные шинели, какие-то рогатые, что ли? — каски, на плече короткая винтовка, грудь украшена белой бляхой на мелкой цепочке. На ней красовалась вязь незнакомому письма...

— Полевая жандармерия. — шепнул отцу, знающий сосед.

На хуторе четыре двора. Мы стояли шеренгой у каждого, ожидая, что будет дальше. Эти примчались на двух мотоциклах.

Оттуда подошёл к нам кряжистый мужчина, от него несло необычным запахом, незнакомым и отвратным.

— Докумет... э-э... аусвайс... шайзе, швиня! Давай-давай! Пух-пух! — приставил он два пальца к папиному лбу. — Давай-давай!

Отец вытащил из кармана старое потрёпанное удостоверение и протянул этому гаркающему молодцу. Тот долго глядел, потом вытащил из кармана разговорник и, заглядывая в него, вчитывался в документ...

— Вас? Вас из дас? — тыкал он пальцем в маму, бабушку. — Вас?

— Жена, мама, дети. — ответил отец.

— Жень?... Фрау? О-о Мутер?... Я. Киндер... Э-э... Хауз?... Дом? — заглядывая в разговорник, гаркал он — Дом... этап... аусвайс... быстро-быстро! Подошёл ещё один, помоложе и на ломанном русском произнёс: — Ганс посылать по этап домой... Форштейн? Мутер, фрау, киндер — нах хауз! — И передал отцу удостоверение, внутри которого красовался бело-жёлтый листок с орластой печатью. Совершив ту же процедуру у всех домов, немцы укатили по пыльной дороге. Быстро собрались. Отец выкопал документы, сунул в угол «беды», под сено и решили бежать дальше, из окружения, но, проехав километра три, наткнулись на ту же команду... Ганс пихнул пару раз дуло винтовки папе в зубы, сопровождая для убедительности своим: Пух-пух! Нах хауз! Капут! Мы развернулись и обочиной дороги, чтоб не мешать машинам и пушкам, подались домой, в Новгород-Северск...

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО АУСВАЙСУ

Последние полчаса Зорька всё чаще спотыкалась о дорожные ухабы, шире расставляя усталые ноги, наконец, сказала короткое «му» и остановилась, глядя на меня печальными глазами, как будто хотела сказать: «Что ж вы, люди, вечер на носу, а вы всё погоняете, передохнуть бы...» От мокрой бурёнки шел пар.

Было переставший снег посыпал крупными хлопьями. Вокруг повисла белесая пелена. Мама показалась из-за «беды» — так папа прозвал нашу арбу — обтёрла худющую спину коровы, а отец набросил на неё ветошку, потом достал «тормозило» — ореховый кол.

Впереди виднелся длинный, пологий спуск и тормоз был не лишним, тем более, что в беде находились: большая баба Уля и сестрички Люська и Светочек...

Отец извлёк из передка торбу с последними картофельными очистками, высыпал их в тазик и поднёс к бурёнкиной морде. Та встрепенулась,

сунулась в тазик... через несколько мгновений тазик был начистовылизан. Постояв чуть-чуть, Зорька сама тронулась, без понуканий. Перед спуском мама вытащила сестрёнок из «беды»; отец застопорил одно колесо, сам стал у противоположного с тормозилом. Я держал налыгач, закреплённый на рогах бурёнки, и... мы начали спуск.

Спустились удачно, если не считать, что Зорька пару раз скользила на наледи и садилась на корму, но подымалась и тащила «беду» дальше. В самой низине отец убрал свои тормозила и мы удачно миновали узкий мосток через ручей. Здесь, перед подъёмом, остановились и стали ждать, пока мама отвела сестрёнок на верх распадка. Тем временем отец достал ещё один кол и протянул мне. Он скормил бурёнке пару плесневелых сухарей, для поднятия тонуса.

Вернулась мама, взяла у меня налыгач, а я стал к колесу, с колом в руках — знакомое дело! Бурёнка — умная животина — как-то взбодрилась и двинулась в гору. Мама тянула за налыгач, мы с папой толкали «беду» сзади — так проскочили весь подъём... Я уже видел из-под «беды», девченок, когда корова споткнулась и упала на передние ноги. Мы тут же воткнули в колёса тормоза и отец подался поднимать Зорьку. Долго возились с коровой, пока поставили на ноги. Правая нога кровоточила. Папа принёс мазницу с коломасью, замазал рану на коленке коровы, мама оторвала оборку от подола юбки и перевязала ей ногу... Постояли недолго, давая придти в себя и себе, и бурёнке... Отец и мама стали по бокам арбы, упёрлись, я быстренько выдернул тормозила и бросился к налыгачу и потянул бурёнку. Тронулись...

А через несколько десятков метров догнали сестрёнок и перед нами открылся во всём величии древний монастырь, поставленный на месте, разрушенной половцами крепости князя Игоря — Новгород-Северского.

Мама с сёстрами опустили на колени и поблагодарили Господа за скорый конец наших мытарств.

Отсопевшись, мы двинулись в город, вроде бы родной, но какой-то незнакомо притихший, без вечернего звона, мычания скотины, собачьего лая. Вот и улица позади, вот и стены монастыря, пора поворачивать на Грушевую улицу, где жила наша знакомая — баба Петровна, а ни единого человека не было. Уже пала на землю вечерняя полутьма, когда мы дотащились до знакомого подворья. Там, в хате, в подслеповатом оконце, теплился чуть видный огонёк.

— Слава Богу! Дома Петровна, — произнесла мама и застучала в запертую калитку.

Ждали долго, но без толку. Ещё стучали, ещё ждали... Разгорячённые дорогой стали промерзать у ворот.

— Миня, а ступай сюда, сынку... Отец поднял меня, перебросил через забор, опустил, сколько мог, по ту сторону забора и отпустил руки. Я шмякнулся попой о мёрзлую землю, аж искры из глаз... Поднялся, когда боль схлынула, подполз к окошку, постучал... Петровна — это я. Миня! Открой, бабушка!..

Было тихо... Потом тень закрыла тусклый свет и метнулась к порогу...

— Шас... шас, миленький... Да как же, да что же, ах ты, Боже ж мой... — слышались бабины причитания. — Да где ж цей кручок, хай ёму грець...

Дверь скрипнула. Петровна бросилась ко мне, всё ещё причитая:

— Дытятко мое, яким же витром тебе принесло?

— Петровна, миленькая, мы все тут, — отозвалась из-за забора мама

— Як так? — вскинулась Петровна и бросилась к воротам, открыла их и...

После целований и обниманий, вспомнили про девчат и бабу Улю.

Загнали «беду» во двор. Мама спустила сестёр на землю и они юркнули в хату. Принялись за бабу Ульяну. Кое-как стащили с «беды», считай, на руках, занесли в тёплую половину хаты, уложили на услоне и папа ушёл распрягать бурёнку. Мама и Петровна заходились ставить самовар, девчат раздели и спровадили на печку греться.

Так начался наш первый вечер после двухнедельного мытарства. Скоро пришел отец с узлами пожитков, которые в дороге не отняли фашисты и которые не успели поменять в дороге на еду. Подоспел самовар. Расселись за столом, по своим местам, как бывало до войны. Тихо постанывала баба Уля. Петровна сходила в камору, принесла жареную утку.

— Как знала, что пригодится... Ешьте, дорогеньки мои. Нюра, детка, отломи кусочек помякше да подружку покорми... Тогда я её барсучим жиром разотру — глядишь, полегчает...

Она сидела, подперев голову похожей на свои грядки рукой, глядела, как мы, усталые до нельзя, голодные с дороги, уплетаем утку; и смахивала уголком платка непрошенные, горькие слёзы.

— Петровна, как у вас тут немцы? Сильно зверствуют? — когда была съедена утка и выпит весь чай, и на печке перестали возиться сёстры, спросил отец.

— Ой, Мишенька, и не спрашивай! Они монастырь ободрали, богохульники, монахов перебили — осквернили храмину божью... Теперя там лагерь с нашими пленными. Бедные люди!... Столько боли, столько крови, а им, зверям — всё мало... Кажинный день из пулемётов по Джгани палят, анчихристы...

— А что там, на Джгани?

— Так наши ж пленные... Туда, с кручи, тяжёлых сбрасуют каждый вечер и ждуть, изверги, когда окачурются... А хто не помёр, того из пулемётов, из пулемётов... О, Господи!?

— Да-а, везде одно и то ж, — согласно кивнула мама, вытирая навевшуюся слезу. Папа ушёл курить, я улёгся на скрыню, но сон не шёл. В голове вертелись невесёлые картинки нашего отступления... А за столом точился неспешно мамин голос. Он и убаюкивал меня, и возвращал к действительности, и я то ли спал, то ли бредил, то ли наяву видел то, о чём рассказывала мама...

Скрипнула дверь. Я открыл глаза и увидел, как отец протискивается в дверь с большой охапкой соломы. Он бросил солому на доловку (земляной пол, смазанный глиной), распределил ровным слоем между печкой и услоном — деревянным диваном, мама набросила на солому ряднину — льняную простынь, сотканную на кроснах — ручном ткацком станке, бросила под головы фуфайки. Потушили каганец — плошку и улеглись, поти-

хоньку шурша соломой. Мама, из темени, пожелала спокойной ночи, стало тихо в хате, только баба Уля изредка постанывала да бормотала что-то неразборчивое...

Я, наверное, крепко уснул, потому что подскочил, как укушенный, от сумасшедшего грохота за окном. Стучали, видимо, давно. Слышались глухие крики. Поднялся отец, набросил фуфайку и вышел за дверь... Крики утихли, хряпнула дверь, и в хату ввалились трое гитлеровцев, с автоматами наперевес.

— Хенде хох! — рывкнул офицер.

Мама и я подняли руки, нам это стало не в диковинку. Ввалился мужик с повязкой, полицай-переводчик, как выяснилось потом.

— Руски свиня ест! Шайзе. Руски пуф-пуф! О! Грос Фатерланд! Хорош-ш-ш... Матка, яйка, млека, шпик — салё — шнель-шнель — давай.

Пока офицер упражнялся в русском, солдат забрался в комору-кладовку, вынес, чего нашёл, вывалил на стол.

Показался отец на пороге. Офицер резко развернулся к двери, целясь в него пистолетом.

— Ест партизанэн?

— Не-е-е, мы только приехали... — он залез в карман, вытащил тощий бумажник, извлек и протянул документ, выданный нам полевым жандармом, когда мы оказались в плену, на хуторе Дмитров на Орловщине.

— О-о-о, аусвайс! — уважительно произнёс офицер, вернул документ отцу, подошёл к полицая и двинул ему кулаком в физиономию. — Руски шваль, шайзе. — И отцу:

— Монинг комендатурен... Шнель-шнель, — и показал солдатам на дверь. Те загрузили конфискованное в кошокку и вышли из хаты.

А во дворе солдаты и полицаи зарезали самую молодую козочку бабы Петровны, подвесили к стропилу сарая, содрали шкуру и уже свежевали. Увидя выходящего офицера, быстренько закончили злодейское дело и подались следом.

Когда во дворе всё стихло, Петровна плюнула в сердцах и погрозила кулаком на дверь.

— Ну погоди, зараза! Ты у меня и выпьешь, и закусишь! Нацькував (на-травил) гадина-соседушка фрицев, изменщик! Господи, покарай ёго як сможешь!.. — Никак не могла успокоиться старая, посылая то анафему изменнику, то крутила дули в его сторону...

Отец сразу же по уходу фашистов засобирался, отказался попить чайку и вышел за калитку. Мы поняли, что он ушёл в комендатуру. На улице уже было светло, когда выглянул за калитку. Улица была пуста, даже воробы с опаской разгребали конский навоз, ещё исходивший паром, только по параллельной дороге, что вела в монастырь, проскакивали легковушки да реже тупорылые, крытые брезентом, грузовики.

Мне как-то сразу расхотелось бродить по безлюдным улицам, и я вернулся в хату.

Хатка у Петровны была маленькая, на две половины: зимнюю, где мы находились, и летнюю, без отопления. И там, и здесь было по комнатке. Хатка давно просела и нижняя часть окон была почти на уровне земли, а сугробы

заметали их почти полностью. Когда я зашёл в комнату, то услышал убеждающий голос Петровны:

— Нура, детка, куда ж вы пойдёте? Живите тут... Вона — поставим буржуйку в летник... Кто — там, кто — тут, перезимуем... А лето — оно покажет, что к чему, и мне веселее будет, и Ульяна быстрее на ноги поднимется...

— Спасибочки вам! — ответила мама — Только мы тут одно решим, а что Михаил принесёт из комендатуры?... Подождём, Петровна, а там, как Бог... — и запнулась на полуслове... Чего-то залепетала во сне баба Уля... Я хотел напоить её водичкой, но Петровна воскликнула:

— Не надо, Мишуня, щас я её отварчиком мать-мачехи напою... Так-то полезнее будет...

У нас было две знакомых бабушки: Петровна и Калиновна.

Петровна была небольшого роста, шустрая, при талии! Черноволосая — она держала три козочки и торговала на базаре козьим молоком. Когда сестрёнка сильно простыла и начала кашлять, то участковый доктор посоветовал маме поить её козьим молоком. Вот так они и познакомились и вскорости подружились... А когда приехала из села баба Уля — стали неразлучны! То она у нас, то мы у неё. Когда у отца выпадал свободный часок — он спешил к Петровне перебрать заборчик или починить калитку...

Калиновна — полная противоположность Петровне. Выше среднего роста, блондинистая, прямая в спине, откровенная — до абсурда! Никогда не смолчит, если почувствует фальшь. Одевалась старомодно, но опрятно.

Жила она в Заручейном районе. Дом был полутораэтажный, с красивым крылечком и резными колонками. Во дворе росли три дерева — две груши и яблоня. Яблоки были так себе — кисло-сладкие, краснобокие, и одна груша — полудичка, гнилуша, а вторая — О-о! Настоящая «дуля»! Кушать её нужно было с закатанными рукавами... Откусишь кусочек и попалы нектар! Да такой запашистый, что тут же появлялись пчёлы или осы за своей долей. Чудо, что за груши! Всем этим добром и торговала Калиновна, а так как они были дружны с Петровной, как же было не подружиться?!

Вернулся отец. Перекусил на скорую руку, поблагодарил и, заворачивая сигарку, сказал:

— Собираемся, семейство, до вечера успеем заселиться... Дали один из пустующих еврейский домик, у самого спуска... Знаю-знаю, Петровна, что хочешь сказать... Я бы и не против, но далеко до работы бегать и с новым начальством ссориться не резон... пока, — и вышел покурить.

— Что ж... будем собираться, — сказала мама, поднимаясь с услона, — Мишуня, одевай девочек... А ты, Петровна, не забывай, приходи посидеть... и спасибо за приют, не обижайся, Михаил прав, ссориться с властями... хай ему грець!

И вот мы двигаемся с отцом, рядом с Зорькой. В «беде» баба Уля и девочки, мама идёт с другого боку «беды», поглаживая коровёнку... Вот и «Брама» — арка старинная, не знаю кем и в честь какой победы построена... Может, ещё при князе Игоре, который водил рать на половцев?.. А это — здание моего садика. Шумно здесь было — столько ребятишек и девочек горластых перебивало! Теперь спуют одни взрослые А это — здание испол-

кома... Теперь тут знамёна с крестами и свастикой... А вот — торговый ряд, старинные лабазы из красного кирпича и рядом — водокачка. Достопримечательности города, а бывшие воронки заделаны кое-как землицей и смотрятся оспинами на загорелом теле...

Вот и приехали... Дом стоял на самом косогоре спуска к пристани. Как оказалось — двухэтажный, со стороны косогора. Быстро перебрались, распрягли Зорьку, отправили её в рубленый сарай и принялись топить печку на кухне. Большая комната — почти половина дома, была неуютна и холодна. На кухне же потолки были пониже, вдоль двух стен стояли широкие лавки: всем места хватило. Скоро пошло тепло, а через пару часов мы уже разделись, поспела картошка и, поужинав, мы улеглись на ночь...

Зорька наша, от такой не коровьей жизни, совсем перестала доиться. Какое там молоко! Хорошо, хоть довезла «беду» и сама жива осталась и мы с ней... В дальнем углу сарая, за загородкой, было с половину воза сена. Запашистое, с клеверком и щирцей — чистый чай! Не успел я сунуть охапку в ясли, как Зорька, довольно невежливо, оттолкнула меня в сторону, и принялась за дело, не выбирая, жуя всё подряд...

КАБАЛА-МАЧЕХА

Вчера, проезжая мимо нашей квартиры, в которую попала бомба, я увидел руль от своего велосипеда и решил пройти и поглядеть, что там сохранилось. Оказалось, что только руль и сохранился... Всё же нашёл куклу и мамину кастрюлю. Когда возвращался, то встретил сапожника Якова. Поздоровавшись, хотел пройти мимо, но он остановил меня.

— Здоров будь, малец, чего-й то вы в Хаймов дом заселились?

— А я почём знаю? У отца спросите, — ответил я и пошел дальше.

— А спрошу, не постесняюсь... — с угрозой шумел он, но я уже заходил в калитку, не обращая внимания.

Отец уже ушёл на работу. Мама что-то готовила у кухонного стола, девочки и бабушка ещё досыпали. Я заглянул в грубку, там лежали дрова, бумага и щепки для растопки. Оторвав кусок бумаги, поджёг от огня копилки и зажёл лучину в грубке. Грубка сложена была добрым мастером: разгорелась быстро. Потом принёс снегу с огорода, набил полный ведёрный чугунок, мама вставила чугунок в комфорку и послала меня за мякиной, в сарай. Подцепив по дороге кошёлку, набил её мякиной и занёс на кухню, где мама заложила её в чугунок, чтоб запарились. Потом добавила туда же очистки и пару позеленевших сухарей, накрыла крышкой — лакомство для Зорьки.

Отец пришёл перед самими сумерками. Был молчалив и чем-то озабочен. Мама собрала на стол — все уселись, даже бабушка примостилась рядом с внучками. Раздевали мундиры с картошки, чуть подсаживали отвратительной, пахнувшей бычьими шкурами и нафталином солью и неторопливо жевали... После запивали морковным чаем, жидко разбавленным молоком. Всё это каким-то образом раздобыла мама на толкучке за колечко. Хлеба не было, даже полбулки эрзац-хлеба стоили столько, сколько не стоили все наши пожитки...

Уже далеко за полночь (не спалось и мне да и родители ворочались) я услышал:

— Пока мне повезло, не упрятали в кошару у Пушкарей. Говорят — там коммунистов держат. Что дальше будет — поглядим...

— А чего делали, Миша? — спросила мама.

Отец, по-моему, улыбнулся и, помолчав, ответил:

— Баржи поднимали со дна. Нагнали пленных, полицаев... Кто в лес, кто по дрова... Целый день заводили пластырь... Бедлам.. А пусть их! Главное, не трогали бы. Давай спать, уже светать будет скоро...

Но поспать им не пришлось... Только они затихли в дрёме, как загремели в калитку. Пришлось отцу одеваться и идти на улицу. А там гремели и ругались непрошенные гости. В нашу холодную половину управа вселила немецкого офицера и двух его денщиков, с фурой и парой добрых лошадей. Не повезло Зорьке, не повезло... Денщики оказались мадьярами. Один, Васил, мужик злоущий и дерзкий, обзлѐнный на весь свет; и Димитри — лет двадцати, двадцати двух от роду, уравновешенный молодой человек, немного застенчивый, тихий и задумчивый — он числился ездовым, а Васил носил погоны ефрейтора, упитанный животик и бородку с усами. Фридрих Шульц, обер-лейтенант — заготовитель, был тот ещё хлюст! Стройный (как аршин проглотил), рыжеватый фашист, в пенсне, со стеклом, в начищенных до блеска хромовых сапогах и с кобурой, которая оттягивала ремень на тощем пузе так, что, казалось, перетянет его и завалит на сторону. Он ходил вечно голодный, потому что постоянно требовал от мамы:

— Матка, кушайт, матка, салѐ. Шнель-шнель!

Мама не знала куда от него деваться, семья жила впроголодь, перебиваясь с картошки на воду, а ему — сало подавай! Так прошло с неделю, у нас уже нечего было менять на толкучке, на «салѐ», «млеко», «яйки», и тут пришла к нам помощь, откуда мы и не думали её получить. Димитри зашёл на чистую половину, закрыл за собой дверь... Что уж он говорил и как говорил офицеру — осталось тайной. Вышел со шрамом от шомпола через всю щѐку, а за дверью долго слышались крики и ругательства... Но даром это не прошло. Через пару дней Димитри принѐс упаковку мармелада, две булочки эрзац-хлеба и сколько-то оккупационных марок. Мама могла ходить на толкучку и покупать «салѐ» и к салу для господина фашиста.

А тем временем отца «повысили», приказали сколотить бригаду из знающих людей, и приступить к подъѐму затопленных барж и катера, и даже заплатили за будущую работу марки... Правда, нет ли, но люди передали на ушко, что не сидит отец в кашаре только потому, что в своё время подолгу отсиживался в ДОПрѐ. Может быть...

Офицер гонял фуру с мадьярами по окрестным деревням и сѐлам на заготовку фуража. И каждый раз, возвращаясь из поездки, Димитри становился всё мрачнее и молчаливее, приносил нам, ребятам, то несколько печѐных картофелин, то оккупационную шоколадку. Он довольно сносно говорил на украинском языке и часто заглядывал на кухню, когда господина офицера не было дома... Как-то разговорившись, он рассказал, что забрали его на войну, считай, из свадебного ложа. Поводом стал старый долг отца сельской общине. Из дому писали, что село грабят «союзнички». Молодую жену пришлось отправить, к родичам, в горное селение... Был он слиш-

ком вспыльчивым и поносил фашистов последними словами, даже не по себе становилось. Ещё замкнутое стал и Васил. Ходил гроза-грозой, лишь желваки на натянутых кожей скулах выдавали его душевное состояние. Как-то вернулись они с поездки с раненым в руку Димитром.

— Напоролись на партизан, еле живы остались и только потому, что мы мадьяры. Но сказали, чтоб больше не попадались — иначе повесят... — Сообщил Васил и со вздохом замолчал. В итоге повезло Димитру: получил отпуск и проездные до дома! Собрали его в дорогу и он укатил.

Вернулся из отпуска через полмесяца. темнее тучи грозовой! Дня три молчал, а потом, как прорвало его.

— Нема дома — сожгли, Марушу изнасиловали — повесилась от позора. Отца застрелили, когда попытался стать на защиту невестки... Мама... бедная моя мама, ещё жива, но больше её не увижу... Застрелю Шульца! Всех бошей перестреляю!..

Стал напиваться до беспамятства, часто плакал, грозил, потрясая кулаками, даже сдержанный Васил стал к нему относиться уважительнее, что ли?.. И все же — это случилось!.. Проигравшись в покер в пух и прах, вернулся уже на рассвете Шульц и пытался согнать зло на своих ездовых

— Свиньи, недочеловеки, дрыхните? Подъём!..

И тут вместо подъёма прогремел выстрел!

Шульц свалился замертво... Немного погодя, прогремел ещё выстрел. Это Димитр убил себя...

Больше к нам не подселяли никого на постой. Месяца через два зашёл на минутку Васил, посидел молча о чём-то размышляя, и выдал из себя:

— На фронт иду, но воевать не буду, уйду к партизанам или, как Димитр... Прощайте, — и ушёл навсегда.

ВОДОЛЕИ

А в городе становилось всё беспокойнее. По ночам появлялись наши кукурузники, развешивали «лампы освещения» и на бреющем полёте, с выключенным мотором забрасывали комендатуру, здание СС, гаражи с техникой, госпиталь гранатами и минами. Эти смельчаки наводили ужас на оккупантов, и только начинало смеркаться, они забивались в щели, проклиная «рус-Иван», а утром подбирали и сжигали листовки с угрозами расправиться, если не прекратят издевательства над военнопленными и мирным населением.

Отец всё реже ночевал дома. Начальство приказывало, грозились расстрелять за саботаж. Зима стояла суровая, снежная, морозы доходили до сорока градусов. Лёд наморозило до метра толщиной. Пока вырубали лёд вокруг затопленной баржи, то начало уже замерзало вновь. Днища барж застряли в иле, не было никакой возможности завести «пластырь». Нужны были насосы для размыва грунта, а их нигде не могли найти. Получался замкнутый круг. Но начальство не хотело с этим мириться и грозило, грозило, грозило... Понятно, что к началу навигации бошам нужны будут плавсредства: пароходы, катера, баржи.

А они все на речном дне. А речники «старались», от темна и до темна вычерпывали воду из затопленных барж, катеров, забивали «подушками»

отверстия, а утром были полные воды снова. Ставили на ночь часовых — итог тот же... Дошло до того, что всю бригаду загнали в кошары, где держали активистов, но через недельку отпустили, потому что прибывший немецкий инженер подтвердил, что никакого злого умысла не было, и без насосов «пластыри» не завести. Долго искали насосы и всё же на каком-то складе в Киеве нашли и привезли по весне, когда начал таять лёд и к затопленному транспорту было не подступиться. Ждали, когда пройдёт ледоход, ждали, когда схлынет разлив... И — наконец! Установили насосы, привезли своих водолазов.

Подняли одну баржу... вторую, подняли катер, начали поднимать катер у тухачатка, как утонула одна их поднятых барж... На ней зачищали нанесённый ил и песок наши военнопленные.

Каждого второго расстреляли тут же, у баржи. Ночью утонула вторая баржа, её караулили их же солдаты... Солдат отправили на фронт, а на пристани поселился взвод СС. Пошли допросы, дознания, отсидки в кошаре, что под Пушкарями... Только в июле отремонтировали дизель и запустили один из катеров, продолжали поднимать баржи. Без них толку в катерах никакого.

ПАРОХОД БЕЛЫЙ

А утро выдалось туманное и по-летнему душное. Угадывалось жёлтым пятном солнце только покинувшее Биринские леса, абсолютная тишина сменилась проснувшимся порывом ветерка. Космы тумана постепенно сносило пол монастырские кручи. Я украдкой разматал шёлковую леску, нанизал на крючок уснувшую в коробке муху и забросил удочку под плиты «Восхода», мирно попыхивающего парком. Уклейка оголодала, видать, и клюнула на ходу, но вдруг провернулись гребные колёса и поклёвки как обрезало... Еще немного побросав леску в воду убедился, что клёва нет, начал сматывать удочку и тут услышал далёкий лопот плит, оттуда, из тумана... Шёл пароход, но по расписанию до завтра не было рейсовых...

— Что, Миня, тоже услышал? — спросил вахтенный матрос, позёывая в кулак.

— Ага... Кто же идёт?

— Ну, стыдно не знать... «Победа» из капиталки, на испытаниях — но я уже почти не слышал последних слов... Из-за поворота показался узкий нос с флагштоком, потом — корпус и носовая надстройка, для пассажиров — рулевая рубка и капитанский мостик, короткая мачта, черная труба с золотистым гербом — кормовая надстройка. В показавшихся лучах солнца на него было больно смотреть, такой он был белый! Из трубы шёл еле уловимый дымок, он совершал длинную дугу вокруг песчаного выступа, приближаясь к пристани... Скрипнула дверь диспетчерской, показался отец и начал спускаться к причалу, увидев меня с удочкой — погрозил пальцем... Поправил фуражку и форменную тужурку, подошёл к свободному участку причала и замер в ожидании. Пароход вынырнул из последнего клок тумана, подвалил к причалу и застопорил машину... По инерции прошёл какое-то расстояние, и только бы коснуться штевнем причала — отработал задний ход и замер как вкопанный. Матросы набросили гаши тросов

на кнехты и подали трап. Сильно припадая на правую ногу, по трапу сошёл длинный мужчина и распахнув объятия, двинулся к отцу:

— Мишаня! Друг ты мой дорогой, привет! — и они крепко обнялись, растрогавшись до слёз.

— Минь! Помнишь — я тебе рассказывал о друге Борисе?

— Ага...

— Иди, знакомься, — познакомились... Потом сидели в нашей «конуре», (со слов Марфуши), и мама угощала нас пирогами с сомятиной и чаем с малиной... Они плавали вместе, на старом пароходе, на Припяти. Я с интересом слушал их байки о прежней жизни, пока Борис, глянув на часы, не заспешил на судно.

— Нет-нет, не уговаривайте... Я ж бегу с начальством, испытательный рейс до Белых Берёзок и обратно. Время на передышку по программе кончается... Пора. До встречи! Будем часто видеться, — и ушёл...

Раздался гудок, и «Победа» побежал дальше... Белый пароход, как лебедь, проплывший вчера низко над рекой. Был и нет его, только воспоминания и размышления...

«МИРОНОСИЦА»

А случилось это дня за три-четыре до Великого дня, сорок второго, прошлого столетия. С утра на толкучке шушукались завсегдатаи, тихонько, на ушко; вечером сновали из дома в дом старушки и, тоже шёпотом, сообщали о великом чуде: «У отца-настоятеля разоренного монастыря «обновилась» и заплакала икона Заступницы Рода Человечьего — Матери Божьей Марии. И несут Заступницу крестным ходом, в мать городов Русских, в Киев-град, в Лавру Печерскую». Уже и комендантский час вот-вот наступит, а серые старушки сновали и сновали меж домами. Побывала одна из них и у бабки нашей... Не ахти богомольная баба Ульяна, ради чуда засобиравшись с утра на заручейную улицу.

— Внучек, ни ногой никуда, с утра двинем к Калиновне, а уж оттуда прибьёмся к людям...

Ещё брёл патруль по улице — два гитлеровца с автоматами, гремя по брусчатке кованными сопогами, а бабуля подняла меня, полила воды на руки, чтоб умыться, сунула мне горбушку и мы подались из дома. Только открыли дверь, а там соседка-старуха уже ждёт.

На улице свежо, ночью шёл дождь, в уголках кое-где лежали остатки снега. Нам предстояло пройти мимо церкви, спуститься к ручью у пристани, а там — рукой подать и домишко бабкиной подруги, Калиновны... Только перешли улицу, как баба Уляна споткнулась, села сподницей в лужу. Смешно... Помог ей выбраться на сухое, но куда ж теперь идти-то?... Вернулись переодеться. Пока туда-сюда, пришлось торопиться. Только начали спуск от церкви, как от ДОПРа, по Советской, прогазовали две открытые тупорылые машины.

Остановились у моста через ручей, из них высыпали солдаты и замерли в шеренге «на товсь». А тем временем из-за поворота показались хоругви, церковный крест и дальше поток людской, заполонивший всю ширь улицы.

Офицерик гаркнул команду — и грянул залп, а люди шли... Они не могли остановиться потому, что их толкали задние ряды, недовольные остановкой, ещё не понимая, что происходит впереди...

Грянул ещё залп!

Колона дрогнула, ахнула, пыталась повернуть назад, но улица сжимала, не давала ходу. Трещали и падали заборы и плетни, стоял невообразимый гвалт и вопли... Всё же передние двинулись назад, а на улице остались лежать убитые и раненые...

Снова прозвучала команда, как ругательство. Солдаты уселись в машины, и через несколько минут у пристани и мостика не осталось живой души. Опомнясь от увиденного, не помню, как оказались дома...

«РЫБАЧОК»

Ниже Техучастка правый берег реки представлял собой тяжёлый ил с ракушечником, заросший (местами) осокой и кувшинками. Течение здесь уходило к левобережью и в относительно тихой воде у кустов водились добрячие окуни, подлещики да краснопёрка.. Тут мы с дружками частенько лавливали мелочёвку. Приносили домой подспорье к столу.

Однажды (кажется — в июле), мы, уж было, собрались по домам, когда по крутой тропке спустился к берегу немецкий солдат. Потолкался на мураве, сбросил одежду, попробовал ногой водичку... посмотрел на наш улов, выдавил, с презрением:

— Шайзе! — и помахав в сторону Техучастка, добавил — Век-век! Шнель!

И мы отправились не спеша, решая свои проблемы... Дошли почти до поворота, когда сзади раздался громкий хлопок и истошный крик немца. По инстинкту бросились на помощь, только остановил нас Васятка, старший из нас:

— Не ходите ребята... я... я сам...

А оттуда, где несколько минут тому назад были и мы, неслись страшные вопли и корчилось от боли израненное тело... А со стороны Техучастка спешил по берегу полицейский патруль. Мы бросились было следом, но Васятка остановил нас, со словами:

— Бегом, ребята, домой, не то загребут в комендатуру... наплачемся! — и мы припустили что было духу.

Что случилось на берегу, узнали только на следующий день... У погибшего солдата в ранце нашли несколько русских гранат. Немец пришёл к реке поглотить рыбу, но не учёл времени взрыва нашей гранаты, и она взорвалась у него в руках.

Долго ещё после этого случая мы не ходили на то место рыбачить. Нам казалось, что рядом находится тот погибший фашист.

ВЕСНА СОРОК ТРЕТЬЕГО

Весна приبلудилась раненько... Сугробы, что местами сгали с крыш, в одночасье осели. Через денёк-второй потекли звонкими ручьями под снегом, ухоженный на улицах наст пока держал, но к вечеру, если провалился, то по самое некуда! Солнце жгло немилосердно! Носы полупились, уши обгорели, ноги вечно мокрые, что интересно, никто не простывал, и через неделю от сугробов одни поминки остались...

Намёрзлись мы за зиму знатно, нужны были дрова... Где их взять на Украине? Дилемма...

Решили, хоть из старья — сшить лодку. Без неё у реки невозможно. Решено. Строим!

Отец принёс из судоверфи, где он работал нормировщиком, старую, отслужившую конопать — когда-то просмоленную пеньку. Мы её распушали, сплетали в косички и конопатили сшитую лодку. Получилось не на выставку, но держалась на воде уверенно, а что ещё нужно?.. И вот, когда начала прибывать полая вода, мы выплыли на промысел: всё что плыло и напоминало дрова — могло гореть в печи, вылавливали и везли к берегу. Так за пару недель мы заготовили дров года на два.

Когда же схлынула вода — подоспела пора перевоза коровок на летний выпас. В «хутор», так у нас звали кошары для скота на противоположном селу берегу.

После отступления нацистов на протяжении всей реки не найти было исправного паромы, взорванный ещё при отступлении Красной армии железнодорожный мост лежал в реке. Спешно возводилась временная переправа, но туда с коровой не пойдёшь — своих проблем навалом. Местные умельцы придумали связывать две-три лодки, на них клали настил и загородку, чтоб корова не чувствовала себя слишком вольно, загоняли коровку и плыли на тот берег...

И в ту весну перевезли Зорьку таким же способом, построили плотную кошару из плетней краснотала, накрыли от дождя (кто чем смог) — волк не проникнет, от воров дежурили по очереди. Так же пасли стадо на выделенном участке дуга.

Как-то, после дойки, остались мы с мамой подправить высохший плетень, да заменить песочек в кошаре, чистый, под бок Зорьке. Когда закончили, сели перекусить. Сидим, о чём-то рассуждаем, когда услышали оклик:

— Анюта?.. Анна Фёдоровна!.. — мы повернулись на голос... и, о-о! Перед нами стояла постаревшая, худющая, но живая Марфуша! С котомкой за плечами, с дорожным посохом — вся серая от пыли и усталости и с каким-то неестественным блеском в воспалённых глазах... Мы рванулись к ней, усадили рядом, угостили — что было, а было сало и варёная картошка.

Она ела медленно, но чувствовалось, что сдерживает себя, чтоб не наброситься на еду с озверением. Всё же побеждала природная сдержанность. Когда Марфуша покончила с угощением — перекинулись несколькими словами, но беседа не клеилась, чувствовалась сильная усталость путницы. Мама спохватилась и мы быстро пошажали к лодке... Дома мама согрела в печи чугуны воды, отыскала что-то из чудом сохранившейся довоенной одежды и увела Марфушу в загородку, за хатой, где мы мылись летом. Вернулись они помолодевшие, умиротворённые и притихшие... Я понял, что был недолгий разговор, который так подействовал на обеих. Вечером, когда пришёл с работы отец, после бурной встречи, было решено пригласить самих близких и посидеть вечером вместе.

Конечно гонцом выступал я, собственной персоной. Перво-наперво — наш милиционер, Коньков Василий Иванович, потом Лопцев Иван Иванович — начальник пристани и главный инженер Судоверфи — Ланец Василь Степанович.

Собрались все к восьми вечера. На столе пыхтел раскочегаренный мною ведёрный самовар, и стояла пара бутылок мутноватого «зелья». Только собрались садиться за стол, как у перелаза остановилась представительная пара и послышался голос:

— Эй, честная компания, а лишних гостей принимаете?..

— Ильяша?! — вскрикнул отец и бросился встречать друга, следом подались остальные

После бурного веселья, послышался голос отца:

— И всё же, как оказались тут?

Ответила жена Ильи Костылева:

— То, что вы вернулись, местные шкиперы рассказали. Давно собирались, да всё что-то мешало, и вот — собрались и неожиданно так удачно!

— Все, Михаил, гостей баснями кормить, зови к столу — опомнилась мама.

Начал накапывать запоздалый дождик, и все дружно подались в хату.

Посидели хорошо. Костылевы привезли городской снеди, давно нами забытой и открываемой, как экзотику, снова. Сидели почти до петухов, да и когда легли в тесноте, то долго еще точилась полусонная беседа...

Давно посапывали племяши и девочки, давно бабушка перестала поминать Бога, а Мафуша и мужики всё бубнили и бубнили... Мне так и не пришлось уснуть. Я слушал, стараясь не шуметь, и передо мной вставали картины Мафушиного рассказа, страшного и романтического — даже военные мытарства не шли ни в какие сравнения.

Зашевелилась мама, захныкали племяши... Мама вышла в коридор, загремела подошмой — пора и мне вставать.

Поднялась и Галя, тоже на дойку. Скоро мы шли по улице, а к нам присоединялись соседки; делились новостями, позёвывали в ладошки.

— Нюр, а Нюр! А чего-й-то лампу всю ночь жгла? Мо самогонку варила? Так зови, посидим... — начала Зинаида-солдатка, — шо-то скучно, бабоньки! Ни тебе мужика, ни тебе самогонки, так и похудеть не долго. За два месяца один Остап вернулся, и тот — на костылях... С кем бы душеньку отвести? Миня, а ты чего уши наострил, пострел? На мякиша, заткни их и не слушай наши теревени.

Женщины просыпались от утренней прохлады и Зининых побасенок, улыбались, качали головами, толкали друг дружку в бока, похохатывали...

— Нюра, а как твоя прибившаяся подружка? Выдужала? Больно тоща, а приезжала до войны — ох и краля! Не зря Коньков аж стелился перед ней...

— Так любова у них случилась, — встряла соседка Катерина. — Бач — сам-то милиционер, а не спас бабу от поругания... Эх, военная доля! Сколько покалечила, и души не осталось нетронутой...

— А знаете — отходит от пережитого Марфа Кирилловна... Пошла на работу, баржи строит: инженерша ведь, в коллективе ценят, — ответила задумчиво мама. — Вчера Костылевы приехали из области, так там её тоже не забыли. Хлопочут о переводе в область...

Дальше я не слышал разговоров. После дождя в лодке вода, и я рванул вперёд, чтобы к приходу женщин успеть отчерпать её.

Женщины подошли к берегу тихонько напевая, а как уселись в лодку, так и потекла раздольная украинская «Распрятали хлопцы коней»... А с «дуба» деда Яши, колхозного перевозчика, доносилась «Ой ты, Галя, Галя молодая...» Просыпался погожий летний день, мычали в «хуторе» бурёнки, вторя песням. Восточная сторона неба заалела — скоро и первый лучик сверкнёт, позолотит окрестье.

Пока женщины доили и отгоняли на поляну коровок, я разматал леску на удилище, не успев забросить, как пошли поклёвки. В те годы в реке было очень много бычка. Другая рыба не успевала заметить наживку (червячка), а этот брал наверняка! Крючки — заострённая и согнутая стальная проволока, три-пять крючков на леске, и клевал так, что цеплялся на каждый крючок. Пока вернулись женщины — у меня добрая низка висела с лодки.

ИСПОВЕДЬ МАРФУШИ

Когда мы вернулись — все домочадцы и гости были на ногах. Отец и Марфуша готовы были идти на работу, Костылевы собирались на попутке домой. Бабушка топталась у печи, там, внутри, что-то шкварчало на огромной сковороде ... Орали голодные племяши. Одни девочки с подружками играли во дворе, да поросёнок Васька путался у них в ногах, повизгивая, когда ему перепало за излишнее любопытство... Как ни уговаривала мама гостей — остаться хотя бы на денёк, не получилось. Наскоро перекусив тем, что шкварчало, они простились и поспешили на трассу. Повезло им. В область за медикаментами шла «ЗИС», командированная Судоверьфью, и гости укатили с комфортом.

Я вернулся с проводов, срочного задания не было. Взял томик Т, Шевченко и пошёл в сад, на топчан, но не читалось. Даже стихи Тараса не могли отвлечь меня от того, что услышал ночью...

После допросов и мытарств в ДОПРе, «Тройка» присудила Марфе Кирилловне «измену» и десять лет колонии. В конце сорокового целый состав заключённых доставили в Архангельск, а оттуда кораблём повезли в Амбарчик. Из Архангельска полмесяца не могли выйти: то документы не в «порядке», то конвой и сопровождающих несколько раз меняли... Рейс выдался длинный, нудный, в трюмах то духота, то холодище... На «буржуйках» уголь экономили. Затирали местами льдами так, что теряли надежду добраться до места, готовились к зимовке, но повезло! Случился южный ветер, льды разломало, и благополучно пришли. На месте получилась нестыковка. Или в документах напутали, или межведомственные тяжбы сказались, но на трёх женщин, в том числе и Марфушу, не нашли статью, по которой их осудили. Телефонов тогда не было, связь только по радио, и до него не рукой подать... Связались с Иваном Моховым, начальником радиостанции и запрос ушёл «на материк» по цепочке. В то время на станции не осталось ни одного радиста. Один умер, чем-то отравившись, второй лежал в больничке с воспалением лёгких... Узнав от Марфы Кирилловны, что она инженер и отлично владеет «ключом», он, на свой страх и риск, послал вдогонку радиограмму, чтобы из первой исключили фамилию Бергер и запасшись пушниной, ушёл к сопровождающему командиру — договориться о переводе, хотя бы временно, Марфуши на ради-

останцию. Так Бергер ушла из конвоя, под персональную ответственность Мохова; в чём он и расписался в какой-то ведомости.

Так у Марфуши началась новая жизнь. Не откладывая дело в долгий ящик, она тут же встала не вахту у радиостанции, как оказалось впоследствии, почти бессменную. Радисту, что лежал в больнице, стало хуже и, промучившись ещё с недельку, он помер. Судно ушло в обратный рейс и остались они с Иваном у аппарата... Мохов послал радиogramму в центр Севморпути с докладом, что лишился обоих радистов и просил узаконить в верхах расконвоирование Марфуши и приём на работу в качестве радиста. Вскорости от него потребовали характеристику на «расконвоированную» осуждённую и его, Ивана, поручительство за оную, что он и выполнил с большой охотой....

К весне Иван Мохов и Марфа Бергер оформили брак, и Марфуша стала Моховой, а заключённой Бергер не стало — растворилась в просторах Колымы. В конце августа пришёл пароход с «Большой земли», со снабжением и топливом на зиму, с ним пришли и новые радисты. Теперь Марфуша дежурила на подмене и готовила борщи да каши для команды.

Сменилось и начальство «зоны». Одни выпросились на фронт, другие ушли в «запас». Оглядевшись вокруг и расставив по местам подчинённых, новый командир заглянул и на радиостанцию. Засвидетельствовать вступление в должность, посетовать на трудности. Приняли, как положено: с баклажкой спирта да крепким чаем. За беседой высказал обеспокоенность тем, что строительство новых «зон» застопорилось потому, что на реке нет обстановки, а без этого шкиперы не выходят из порта. И что их понять тоже можно — за людей головой отвечают... И тут Марфушу как за язык дёрнули!

— А давайте, пока нет морозов, я помогу вам.

— Шутите, Марфа Кирилловна?.. Мне не до шуток...

— Какие шутики? Я же инженер-речник — это мой хлеб! Ищите приборы, готовьте плавсредства, потому что время не ждёт. Пойдут морозы — много не наработаешь.

— Да-а-а... О такой удаче и не мечтал. Ну, дорогие мои — ваш должник! Всё, что хотите!.. Так, может, завтра?

— Да, обязательно, с утра.

Когда гость ушёл, Иван попытался отговорить жену, но она настояла на своём решении.

— Соскучилась я по речным плёсам, тянет, не обижайся, Ваня. Постарайся почаще бывать дома, — ответила Марфа. На том и порешили.

Рано утром, благо солнышко светило круглые сутки, Марфуша уже была на причале, у которого на чалках болтались плавсредства: внушительный площад (типа понтона), три катера, типа «Мга» и разъездной, командирский, белый, с кок-питом, где стояла буржуйка. На причале ни души... Из командирского катера послышался зевок, и вскоре показалась патлатая голова тощего хозяина. Он хотел было помочиться через борт, но углядел Марфушу — смутился и юркнул в каюту... Так как никто больше не появлялся на причале, она спустилась в каюту белого катера. Тощий хозяин подбрасывал в буржуйку уголёк, печка гудела, в каюте было жарко и душно.

— Здравствуйте! Вы шкипер? — спросила Марфуша тощего.

— Что? Я?.. Не-е-е, — растянул тот. — Я — сторож... вот... Сторожу, значит...

— А где же все? Мне Волков обещал, что с утра все будут на месте.

— Не зна-м, не веда-м... Моё дело — печку топить... Ничего не добившись от сторожа, она поспешила в серое здание, где красовалась вывеска «Управление». Тут было повеселее. Четверо нечёсаных мужиков играли в подкидного, двое похрапывали, склонясь на стол, из кабинета доносилось ржание нескольких мужских голосов... Марфуша нетерпеливо открыла дверь. Там сидели охранники, в новенькой форме, фуражки лежали на столе, между колбасой и стаканами, винтовки стояли в углу, тускло отсвечивая... Не прекращая хохотать, они уставились на Марфу, не понимая — какого чёрта нужно этой дамочке здесь, в такую рань?.

— Не подскажите, где мне найти Волкова? — без обиняков, обратилась она к служивым.

— Так у себя, наверняка уже зарядкой занимается, — ответил самый резвый.

— А «у себя» — это где?

— Выйдете из здания — увидите дверь рядом, туда и стучитесь...

Увидя на пороге Марфу, Волков смутился. Извиняясь, натянул рубашку, подцепил портупею, гаркнул, чтоб все шли следом, и они поспешили на причал...

Марфа сама пролезла, прошупала каждый катер, просмотрела судовые журналы, проверила, когда был произведён последний ремонт корпуса, дизеля. Проверила наличие спасательных средств, огнетушителей, запасы топлива и угля для обогрева кают... И незаметно подкрался вечер. Команды выглядели усталыми, но довольными — появился знающий специалист, у которого не сачканёшь, не увильнёшь от ответственности. Наметили завтра, с утра пробный выход командирским и двумя рабочими катерами.

Домой пришла полная впечатлений и здоровых эмоций. Иван внимательно выслушал жену и сильно удивился: как же он мало знал эту женщину! «Ну да ладно, времени много, узнаю ещё»...

День выдался солнечный, чуть колыхал ветки берёзок утреничек... Шли в кильватер (друг за другом), за штурвалом командирского стояла сама. Шли малым ходом, не далеко от берега, замечая всё необычное; местами, чтоб убедиться в правильности выводов, подходили к самому берегу, разглядывали приметные места, заносили результаты на схему... Шли дальше, в подозрительных местах промеряя наметками глубину. Поднялись вёрст на тридцать. Намеченные створы красили яркими диагональными полосами, чтобы хорошо просматривались издали.

У правого безымянного притока нашли прекрасное место для колонии. Произвели съёмку и через пару дней туда устремились строители, везли материалы, колючку, палатки, провиант. Торопились... Время поджимало. Выше по течению нашли левый приток, почти ручей, но какой! В отрогах песчаника обнаружили пласты каменного угля, выходящие на поверхность, толщина пласта сантиметров шестьдесят. Вот это удача! Топливо под ногами!

Разожгли в нашей буржуйке. Горит!.. Назвали приток «Угольный». Пока заносили на кальку, испытывали, навалился с реки туман. Решили заноче-

вать, а заодно, на осыпи, пробрили пару неглубоких шурфов и начали промывать песок и породу в лотках... И тоже удача, да какая! Не только намыли штрихи золота, но и пару самородков, с пуговицу. Это уже было очень серьёзно! Завернули добычу в пакетик, убрали в шкаф и записали в вахтенный журнал, отметили на кальке и сам встал вопрос:

- Придётся переименовывать, Кирилловна, ручей-то?
- Похоже — поторопились... — отозвалась Марфа — Предлагайте..
- Самородковый!
- Золотой!
- Золотинка!
- Уголёк!
- Богатый!..
- А что, товарищи? Похоже, что богатый, а?
- Похоже-похоже!.. — загудели мужики... Так обозначили и на кальке...

Когда вернулись в порт, Марфа Кирилловна доложила о находках. Волков был на «седьмом небе» от радости.

— Завтра же пошлём изыскателей, пусть застолбят участок, будем строить прииск. Как, говоришь, назвали? «Богатый», что ж, пусть будет «Богатый», а уголёк — это и вовсе богатство здесь, на севере. Доложу на Большую землю, глядишь, может, что-то скостят?.. Ты домой, Кирилловна? Тогда погоду маненько, провожу... скоро на связь выходить... Эх, спасибо за добрые вести!

Пять лет прошло с тех пор... Много воды утекло в Ледовитый... Был и не стало любимого Ивана-второго. Ушёл зимой сорок третьего на охоту и не вернулся...

— А мне вот, — протянула Марфуша зажатый в руке орден Трудового Красного Знамя, — да скостили, как сказал Волков, пяток лет. Пожалели, чтоб не загнулась там, на Колыме... Всего не перескажешь-то...

ПЕРЕПРАВА

А на Десне шла скорая работа. На постройку временного железнодорожного моста прислали плавкран, эпроновских водолазов и мостопоезд. В селе, считай, втрое прибыло народу. Спешно строили запасную ветку, параллельно основной. Загнали туда вагоны, соорудили навесы для столовой и кино, и жизнь забила ключом. По дворам ходили заготовители, закупали у людей лишки с огородов: огурцы, морковку, тыкву, картошку — для общего котла мостопоезда.

У берега сращивали деревянные сваи, заостряли один конец и спускали с откоса в реку. Из реки поднимали на понтон с копром, устанавливали вертикально, поднимали боёк-бабу, рывком баба падала на сваю, происходила вспышка, баба взлетала вверх и вновь обрушивалась на сваю, и она уходила-уходила в речное дно. Рядом забивали ещё и ещё сваи. Когда набиралось восемь-десять свай, то есть куст — их обжимали хомутами и принимались за следующий куст. Десять кустов соединяли между собой и получался «бык» — устой для будущего моста. Между быками устанавливали стальные фермы — фундамент для рельсов...

Работа спорилась и днём и ночью. Рядом эпроновцы расчищали фарватер от обломков взорванного моста...

Вечерами показывали немое кино. Динамку крутили вручную, по две-три минуты, за это можно было смотреть картину, после кино самые неугомонные оставались на танцы — и почти до утра страдала двухрядка, менялись участники танцев, сменившись со смены...

А на реке продолжал трудиться копёр, шлёпая «бабой» по сваям; стояло зарево электричества, гудели поезда на полустанке-тупике, пронзительно кричали на реке пароходы — жизнь была ключом; село втягивалось в новую для себя жизнь. В две смены стучали в новой кузнице молотобойцы, звенела наковальня от молотка мастера, грохотал всю ночь дизель...

Часто просыпалась бабушка Ульяна, шептала: ох, басурманы, свят-свят! — крестила тайком рот и, накрывшись подушкой, валилась на черень печки, что-то шепча себе под нос...

В конце августа забили последнюю сваю, скрепили последний «бык», установили пролёты-фермы, на них — рельсы, соединили с временной веткой на берегах реки... Комиссия, и та не заставила себя долго ждать — прикатила на паровозе-«овечке»... Проверяли сваи с катера, проверяли крепления, фермы, рельсы, сверялись с чертежами, о чём-то горячо спорили, но уже к вечеру «овечка», гукнув пару раз, тихонечко поползла на новоиспечённый мост. На передней площадке, держась за поручни, стоял главный инженер Мостопоезда. Так уж повелось, что первым с паровозом, пересекал реку главный инженер. Паровоз пересёк, крадучись, мост, выбежал за стрелку, погудел победно и довольно бодро двинулся обратно. Переправился на сельский берег, он побежал на станцию и через десяток минут притащил пятнадцать вагонов порожняка. Оставил четырнадцать у берега — с одной платформой двинулся через реку, вернулся, прицепил ещё вагон и двинулся снова... и так бегал туда-сюда, пока не прицепил все вагоны. Снова медленно переправился по мосту, вернулся обратно и замер на берегу, а на мост вышла комиссия с приборами — проверяли усадку опор моста...

Целый день крутился на мосту паровоз. К концу дня опробовали гружёные песком, платформы и... комиссия дала добро на переправу гружёного состава, не более десяти вагонов и паровоз. И скоро побежали мимо нас поезда. «Овечка» перетаскивала сцепку на тот берег, затапливала вагоны в тупик, потом следующую сцепку, а там подходил паровоз и увозил состав в Бахмач... А Мостопоезд свернул работы, убежал в неведомые края. Но скоро пришёл другой Мостопоезд и принялся за восстановление взорванного моста.

НЕ ГОВОРИ ГОП

Однажды, рано утром, только-только занималась заря, загремели в дверь и послышалось нетерпеливое:

— Хозяева! Счастье проспите!

Я только сбегал за угол, и дверь была уже открыта. И вот ввалился в хату двухметровый детина, загородив собой весь проход и пол печки.

— Анна Фёдоровна тут проживает? — не поздоровавшись, спросил непрошенный гость.

— Буду ждать в «Чайной», — и вышел вон.

— Что это было? — спуская ноги с кровати, спросил отец. — Ни жарьте, ни прощайте и... ветром сдуло! — бубнил он недовольно.

— Не зуди, Миша. Может, у человека горит?

— Так кто ж это был?

— Ну вот! Председатель кооперации, Иван Лузак, — ответила мама. — Надо сходить.

Когда вернулись с Хутора, она процедила молоко, отправила меня в молочарку с трёхлитровой банкой и поспешила в «Чайную».

Вернулась задумчивая, часа через два... Дождалась отца к обеду, подала на стол и сообщила:

— Дело есть... — несмело произнесла. — Пригласили поваром в столовую... Как ты?

— А что я? — ответил нехотя отец. — Куда ребят денем? Обмозговать нужно, жди до вечера, — и, торопливо завернув сигарку, ушёл на работу.

Вечером, выслушав ещё раз с подробностями маму и посоветовавшись с домочадцами, решил добровольно-принудительно следующее. Пока Галя чистит картошку и носит воду для столовой, мама и я едем в Хутор, доим Зорьку и Галину Ромашку, потом я спешу на помощь Гале, растапливаю печь, ношу дрова, если нужно — воду. Мама готовит завтрак, кормит ребятню, бабушка Уля приглядывает за ними, пока не вернётся Галя. Тогда уходит в столовую мама готовить пищу...

Как я упоминал, село разрасталось на глазах. Досуг молодёжи как-то удавалось скрашивать в сельклубе и клубе судоверфи, а вот накормить холостое население было негде. Буфет на верфи и «Чайная» в центре, не в счёт. Там торговали, по моему, ещё довоенной ржавой камсой, прогорклым Жигулёвским да папиросами «Пушки», «Катюша» и сигаретами «Парашютист». Из-под полы — «казённой». Вот кооперация и решила примыкающий к «Чайной» склад ликвидировать, отремонтировать, поставить столы, убраться и кормить посетителей доброй снедью. И вот дней через двадцать буденно, без лишней помпы, мы приступили к пробному «кормлению». Решено было приготовить еду на десять — пятнадцать порций. Мама приготовила судовой борщ с фасолью да воблой, жаркое по-домашнему и кисель из пакетов с добавлением вишен из нашего сада. Сначала местные воротили нос от пробы. (Кстати, обеды, бочка пива и по ящику карамели и пряников отпускались желающим бесплатно), мол «видали мы...» А что они могли видеть? Когда ещё гремела, правда далеко уже, война и кусок хлеба казался лучшим угощением. Кушали с аппетитом ли? Лепёшки из крахмала, перезимовавшей в поле картошки, мякину, молодую травку да тёртую кору в примеси к так называемому хлебу. А на базаре стакан соли и булка настоящего, чёрствого хлеба подбирались к тысяче рубликов. Да — вот, где изыски! Отколупаешь в селе-то?... Видели они!.. Всё ж, уяснив от счастливиц, что еда — объединение — набились к шапочному разбору (хоть понюхать...) Разошлись урезанные наполовину порции «на ура!» С каждым днём молва разносила окрест весть о недорогой и отличной столовой, и к зиме не стало хватать объёма кастрюль, приходилось обедать в две смены, а когда стали делать крюк дальнобойшиками (трасса Киев — Москва проходила в пяти

километрах), чтобы отдохнуть и вкусно поесть, то обеда плавно перетекала в ужины... и кто его знает, во что бы это вылилось, если бы не одно но...

Иван Лузак был закоренелый холостяк. Ну, не складывалась у мужика личная жизнь и всё тут! По молодости не женился, в партизанах было не до женитьбы, а после ранения и долгого пребывания в госпиталях — махнул на себя рукой... «Пусть катится, как катится... На мой век баб хватит...» А тут встретил женщину, голубоглазую блондиночку, всю такую цацу из себя, что ты!.. И пошло-поехало, закрутилось, дело к свадьбе катилось. Привёз как-то Иван свою кралю, похвастать, что ли? А та как узнала какие денежки там крутятся, так и взыграло ретивое! «Хочу в буфетчицы! Я тут быстро порядок наведу». Сдался Иван, на свою и нашу голову... И точно. Навела она быстро свой порядок! Цены поползли вверх, порции стыдливо вниз, начали таять на глазах продукты. Мама пыталась урезонить новоиспечённую «хозяйку», да где там?! Решилась поговорить с Иваном, «открыть глаза» заблудшему, но толку получилось мало. А вскорости нагрянула проверка. Недосчитались столько денежек, что Иван загремел в места не столь отдалённые, аж на три с половиной года. Цаца каким-то образом выкрутилась и исчезла — мир-то велик! Всё бы ладно, но столовая захирела, с недотёпой — новым председателем кооперации. И мы остались не у дел. Печально... Привыкли уже, втянулись, да и Васька дохрюкался, отожравшись на столовских помоях, до ручки — осмолили Ваську. Хорошее было салъце!..

*Александр Мецгер
(Россия, Краснодарский край, Краснодар)*

ДЕВОЧКА КОЛОКОЛЬЧИК

В одной дружной семье жили-были муж и жена, и всё вроде у них было хорошо, но вот беда, не было у них детей. И к колдунам обращались, и к ворожеем — всё напрасно.

В конце концов, они уже и смирились с этим, но как-то раз пришла к ним перед вечером одна старая женщина. С виду побирושка, да только ласковая такая. И сказала она хозяйке:

— Ты, голубушка, сходи-ка в лес на заре да попроси лесного духа. Он тебе поможет, — и удалилась.

Женщина решила попробовать, и на рассвете отправилась в лес. Уж так искренне она просила лесного духа подарить ей ребеночка, что лесной дух сжалился над ней, и через положенное время родила она дочку. Родители нарадоваться не могли. Девочка, словно цветочек, расцвела. Засмеется, будто колокольчика нежный звук разливается. Птицы петь перестают — прислушиваются, цветы распускаются. Кому грустно, услышав смех девочки, забывает о своих горестях и печалях. И прозвали девочку за её дивный смех Колокольчик. Так и жила эта девочка в ласке и любви.

Когда исполнилось ей шесть лет, решила мама сходить с ней в лес поблагодарить лесного духа. Идет женщина с дочкой по лесу, птицы поют, девочка смеется — цветы распускаются, деревья им кланяются, и не ведают мама и дочка о скорой разлуке.

А в это время в одной волшебной Стране Цветов произошло большое несчастье. Прицепившись к птице, которая разносила семена цветов по всему свету, в страну никем не замеченный пробрался коварный Репей. Ему там очень понравилось, и он решил захватить царство цветов. Позвал он на подмогу сорняки, указав им дорогу в волшебную страну. И вот в стране цветов стали бурно разрастаться сорняки. Они выросли такие высокие, что закрыли всё небо, и бедные цветы остались в полной темноте. Без света они стали быстро чахнуть и засыхать. Тогда больные цветы обратились к Духу леса за помощью. Дух леса решил послать в волшебную страну девочку Колокольчик, так как только она могла своим чудным смехом избавить страну от сорняков.

Подойдя к высокому дубу, мама с дочкой остановились. Женщина стала благодарить лесного Духа, и вдруг он с ней заговорил. Он попросил женщину отпустить дочку в волшебную страну, чтобы помочь цветам.

— Не бойся, — сказал он, — с девочкой ничего плохого не случится. Она пойдёт туда не одна, а с друзьями.

Женщине очень не хотелось отпускать дочку, но она была очень доброй и не могла не помочь бедным цветам.

— Я буду ждать тебя здесь, под дубом, — сказала она малышке.

Из кустов выпрыгнул Зайчик и позвал девочку. Попрощавшись с мамой, Девочка Колокольчик пошла с Зайчиком в лес. На лесной полянке к ним присоединились Белочка и Мышка.

— Мы будем охранять тебя и показывать дорогу, — заговорил вдруг Зайчик человеческим голосом.

— Чтобы спасти цветочную страну, тебе, девочка, — продолжила Белочка, — нужно только смеяться. И как бы грустно и больно тебе не было, ни в коем случае ты не должна плакать. Твой смех уничтожит врага.

Солнечный луч осветил поляну, и девочка со зверятами оказалась в Цветочной стране.

Было темно и сыро. Высокие сорняки своими листьями закрыли всё небо, и даже тоненький луч света не проникал к нежным головкам цветов.

— Здесь не до смеха, — грустно сказала девочка Колокольчик.

Вперед выскочил Зайчик и стал выделять такие смешные прыжки, что девочка невольно рассмеялась. И только прозвучал её смех, как у всех на глазах сорняки стали вянуть и сохнуть, а цветы расти вверх и распускать бутоны. Чем больше смеялась девочка Колокольчик, тем быстрее гибли сорняки, и через несколько минут небо очистилось и яркое солнышко осветило цветы и друзей.

Когда Репей узнал, что в Стране Цветов появилась девочка Колокольчик, убивающая сорняки, он велел передать всем своим подданным, чтобы любыми способами задерживали девочку. Крапиве велел жечь ее колючками; сорнякам — колоть и царапать, а ядовитым цветам — засыпать её глаза пылью, чтобы она не смеялась, а плакала.

Друзья весело шли по волшебной стране. Белочка, Зайчик и Мышка смешили девочку, отчего она громко смеялась, а сорняки, встречающиеся на их пути, засыхали и скручивались.

От прогулки на чистом воздухе у девочки и зверят разыгрался аппетит. Звери, оставив девочку на полянке, разбежались, чтобы принести что-нибудь поесть. На полянке росли большие яркие цветы. От них исходил такой аромат, что малышка не удержалась и, приближаясь к цветам, стала вдыхать их запах.

Неожиданно она почувствовала сильное жжение на коже рук и ног. Было очень больно, и девочка чуть не заплакала.

Когда звери собрались на полянке, то увидели малышку с распухшими руками и ногами, покрытыми красными волдырями. Она чуть не плакала. Белочка сразу же стала собирать пыльцу с цветов и мазать девочке обожженные места. Через несколько минут от ожогов не осталось и следа.

Друзья поели ягод и с приподнятым настроением двинулись в путь.

Дул легкий ветерок, приносящий чудесные запахи, от которых кружилась голова, и друзья не заметили, как невидимая ядовитая пыльца вдруг ослепила их. Звери сразу же стали промывать глаза цветочной росой.

Девочка, как ни мыла, не смогла промыть свои глаза, из них текли слезы. Тогда Зайчик, взяв малышку за руку, повел её по лесу.

Мышка, Зайчик и Белочка стали рассказывать смешные истории, происходившие в лесу, и через некоторое время малышка опять развеселилась, и её глазки снова стали видеть.

Когда уже почти вся страна была освобождена от сорняков, у друзей на пути все чаще стали попадаться острые колючки. Они царапали и кололи девочку, цеплялись за волосы и рвали платье, но малышка мужественно переносила боль, и как ни в чем не бывало, шла со звонким смехом дальше.

К вечеру, когда солнце собиралось садиться, волшебная Страна Цветов была полностью освобождена от злых сорняков. Все цветы радостно кивали своими красивыми головами девочке, словно благодарили её.

Возле дуба дочку ждала мама. Все это время она очень волновалась и, увидев, наконец, свою малышку, радостно её обняла. Девочка попрощалась с лесными друзьями. Счастливые тем, что все окончилось так хорошо, девочка Колокольчик и мама вернулись домой.

Теперь малышка точно знала, что у нее в лесу есть настоящие друзья, которые в любую минуту придут к ней на помощь.

ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ ХУДОЖНИКА

В некотором царстве, в Тридевятом государстве жил художник по имени Фома. Любил Фома рисовать портреты, да вот беда, люди обижались на него. Лица на портретах получались угрюмыми и неприветливыми. Начали люди его сторониться, к другим художникам стали обращаться. Зависть к другим художникам и злость сковали сердце Фомы.

— Ну, ничего, я вам всем докажу, кто настоящий художник, — подумал он, — ещё прибежите ко мне.

Решил пойти Фома в лес и найти волшебное дерево. Из этого дерева, слышал Фома, даже баба Яга себе ступу смастерила. Многие волшебники и феи свои волшебные палочки из веток этого дерева делали. Даже гусли-самогуды были из него собраны.

— Вот сделаю ручку для кисти из ветки этого дерева, — подумал Фома, — и будут у меня самые лучшие картины.

Взял художник котомку и отправился в лес. Долго он бродил, а дерева так и не нашёл. Не каждому дано это дерево увидеть. Всё это время за художником наблюдал Леший. Жалко ему стало Фому, и показал он дорогу художнику.

Смотрит Фома, а перед ним огромное дерево растёт кверху корнями. От одного вида по телу от страха дрожь берёт. Корни, словно живые, извиваются. Схватил Фома одну ветку, отломил и бросился бежать. Не заметил, как из леса выбрался.

В тот же день он выстругал ветку и сделал кисть. Ему хотелось сделать такой портрет, чтобы при виде его люди не могли взгляд оторвать.

Целую неделю Фома писал портрет красавицы, весь талант и душу вложил в эту картину. Когда портрет был готов, художник был в восторге. От красоты девушки, изображённой на картине, он потерял голову.

Художник понял, что без неё не сможет больше жить. Единственное, что омрачало художника, был её взгляд. Он был надменным и холодным. Долго художник любовался портретом, пока не уснул.

Проснулся он от того, что его кто-то толкал. Открыв глаза, Фома увидел девушку с холста. От неожиданности художник онемел.

— Ты оживил меня своим талантом и любовью, — проговорила красавица, — теперь я всегда буду с тобой рядом. Но ты же понимаешь, что я не могу жить в этой хижине. Ты должен нарисовать прекрасный дворец для нас.

Без лишних слов художник бросился исполнять желание своей любимой.

Когда картина была готова, художник от усталости упал и заснул. Утром он проснулся в огромном светлом дворце. Вот только залы были пусты.

Вновь просит красавица для дворца нарисовать мебель и платья. После этого она потребовала украшения и драгоценности. Художник исполнял каждый каприз девушки.

Когда дворец был наполнен прекрасной мебелью и украшениями, красавица потребовала у художника нарисовать ей прислугу и придворных.

— Скучно мне одной бродить по дворцу. Да и прислуга нужна, чтобы убирали и готовили, — пожаловалась она.

Художник и эту просьбу жены решил удовлетворить. Вот только и прислуга, и придворные получались безликие. Они, словно мёртвые, ходили по дворцу, и не разговаривали. Их лица были будто из воска. Они не замечали Фому и делали только то, что приказывала им хозяйка.

Однажды говорит красавица Фоме:

— Боюсь я, что залезут ко мне воры или грабители. Украдут мои сокровища или ещё хуже убьют. Нужна мне стража, чтобы охраняла дворец.

С этого дня стал художник стражников рисовать. Целый год рисует, а девушке всё мало. Чувствует Фома, что силы его на исходе. Стал в обмороки падать, глаза слезятся.

— Не могу, — говорит, — больше рисовать. Мне отдых нужен.

— Какой ещё отдых, — закричала красавица, — ты должен мне целое войско нарисовать. Неужели ты думаешь, что я со своей красотой должна прозябать в твоей норе. Я хочу завоевать Тридевятое царство и стать царицей.

Услышал Фома слова красавицы и понял, что не нужен он ей.

— Не буду я больше рисовать стражников, — заявил он.

— Если не будешь, — усмехнулась красавица, — я найду другого художника. А пока посидишь в темнице на цепи.

И разослала она гонцов по всему Тридевятому царству, что нужен ей художник или маляр. А стражникам велела идти войной на царя и захватить его в плен.

Странные вещи стали происходить в Тридевятом царстве: то дворец невиданной красоты появился там, где стояла хижина художника, то появилась в этом дворце хозяйка невиданной красоты, то, словно из воздуха, появилось войско. Дошли до царя слухи, что это войско двинулось в сторону царского дворца.

Собрал царь своих богатырей и велел им идти навстречу вражескому войску.

— Узнайте, чего хотят и откуда явились? — напутствовал он Илью Муромца, — если надо прогони с нашего государства.

Встретились посреди поля два войска: одно — богатырей русских с Ильёй Муромцем во главе, другое — стражников безликих.

Не стали стражники вести переговоров, молча, бросились на богатырей. Недолго бой продолжался. Богатыри разбили неприятеля. Вот только удивление вызывала такая битва. Враги не кричали от боли, не просили о помощи. Кровь не текла из их ран. Полегли все как один.

— Ничего подобного мне ещё не приходилось видеть, — покачал головой Илья Муромец и велел отойти войску и разбиться лагерем на отдых.

Лишь утро наступило, вскочили богатыри и увидели, что снова войско неприятеля стоит и готово наброситься на них.

И вновь произошло сражение, и снова победили богатыри, да изматились они. Велел Илья к лесу отходить, да силы набираться. Понял он, что не простое это войско.

Расположившись лагерем у леса, богатыри стали обсуждать сражение.

В этот момент к ним подошёл Леший с юношей.

— Не победить вам это вражеское войско, — проговорил он, — так как оно бессмертно.

И рассказал он, как пожалел художника и позволил отломить веточку от волшебного дерева.

— Теперь он попал в зависимость красавицы, и пока будет рисовать, она позволит ему жить. Но разнесли глашатаи, что ищет она другого художника. Вот это парень хочет пойти подзаработать там. Нужно уничтожить холст, на котором рисовал художник. Тогда всё, что было на нём нарисовано, исчезнет.

— Ты кто? — спросил Илья Муромец юношу.

— Я Прошка — маляр, — ответил юноша, — расписываю стены узорами и цветами. Могу птиц и животных рисовать.

— А знаешь ли ты, что если попадёшь к ней во дворец, то уже никогда не увидишь белого света? — спросил Илья.

— Я не знал этого, — перепугано ответил Прошка, — я теперь туда ни ногой и других предупрежу.

— Нужно Проша сходить, — ласково проговорил Леший, — как попадёшь во дворец, сожги холст. Послужи ради люда русского.

— А нам видно придётся опять сражаться, — вздохнул Илья Муромец, — три дня ещё смогу сдерживать неприятеля. Вся надежда на тебя, Проша.

Повёл Леший Прошку короткой дорогой к дворцу красавицы. Всю ночь шли. У леса распрощались, и юноша отправился дальше сам.

Не успел он до дворца дойти, как его схватили стражники, и повели к хозяйке.

Увидев красавицу, Прошка не смог отвезти глаз.

— Что ты делаешь у моего дворца? — спросила она, — не лазутчик ли?

— Я моляр, — упал на колени юноша, — пришёл по вашему призыву. Могу стены разрисовывать.

— Не нужно мне стены разрисовывать, — проговорила хозяйка, — мне нужно, чтобы ты на холсте рисовал то, что я прикажу. Для начала, нарисуй мне сад. Посмотрю, насколько ты хорош.

Всю ночь Прошка рисовал цветы и деревья. А хозяйка стояла рядом наблюдала. Сад получился изумительным.

— Ты и правда хороший маляр, — похвалила красавица, — сейчас отдыхай, — а я пойду, сад посмотрю.

— Второй день пошёл, — думает Прошка, — надо что-то придумать, иначе Илья Муромец не сможет удержать врага.

Вновь пришла хозяйка к Прошке и говорит:

— Хороший сад ты создал, думаю, что и людей изобразить сможешь. Нарисуй мне могучего, непобедимого воина. Время тебе до утра.

Оставила она юношу одного. Смотрит Прошка, а у него ни факела поблизости, не свечи горящей нет. Вдруг мысль озарила его. Схватив кисть, он начал рисовать.

Когда вошла хозяйка, нарисованное пламя на холсте вспыхнуло. Через минуту огонь охватил весь холст. Красавица завывала и бросилась на Прошку. Схватив его за горло, она стала его душить.

Очнулся Прошка в хижине. Рядом лежал измождённый Фома, закованный в цепи.

— Что ты натворил, — простонал Фома, — ты уничтожил мой шедевр. Как я теперь без моей красавицы смогу жить.

Прошка, ничего не говоря, освободил его из цепей и ушёл.

Фома с трудом поднялся. Осмотревшись, он увидел обгоревший огрызок кисти. Художник зарыдал. Через минуту он вскочил и побежал в лес.

В это время Прошка улыбаясь, шёл по лесу. Он знал, что настоящее искусство должно идти от сердца и нести радость и добро людям. И для этого не нужно никакого волшебства.

*Александр Рейзен
(Германия, г. Берлин)*

ГОСТИ. БЕДНАЯ КСЕНИЯ

Валерий Зиновьевич Б. (Бахрак) небольшой сильно лысеющий мужчина лет 35, бывший директор Цирка, давал ужин в честь дня рождения своей жены Ксении, женщины с приятными формами, большими темно-серыми глубокими глазами и, как говорили ещё с внебрачной связью.

Стол ломился от деликатесов и работы над ними. Впереди всех плыли разнообразные коньяки, водки, потом немыслимые закуски, и всё это мешалось с тостами, Ксениными понимающими взглядами и Папой, который неожиданно появился из-за границы на дочкины — 22.

Папа — тихий человек, одарённый здоровьем, пил небольшими рюмками, после чего глубоко вздыхал, мало закусывая, почти вслух дивился тому, как высоко поднялась его дочь, которую он, к несчастью, не видел лет двадцать с гаком. На Папу сочувственно смотрели гости; малиновые, бархатные и позолоченные портреты со стен гостиной, и только Валерий Зиновьевич периодически, как бы исподтишка, врывается в Папу рыжим взглядом, нисколько, впрочем, его не смущая. В доме присутствовал ещё один «новый» человек — Александр Петрович Р. процветающий «аристократ», бабник и подлец по мнению его жены Б. «Вы необычный человек», — говорил папа Александру Петровичу после блестящего тоста, который Александр Петрович пустил за Папу, найдя в нем и дочери много общего. «Вы физиономист, — утверждал Папа, — особенно много вы увидели в Ксюше, чего даже я, в мои-то годы, не разглядел. Валерий Зиновьевич, проходивший мимо, «застрелил» Папу огромным взглядом, а Александра Петровича не смог, так как тот сидел к нему спиной.

«Много не ешьте, — проговорил негромкий женский голос над ухом Александра Петровича, — к столу будет баран». Ксения игриво улыбнулась, показала ямочки на щеках и поплыла в маленькую гостиную, где можно было танцевать. «Наверное, здесь она принимает...» — с удовольствием подумал Александр Петрович, но его перебили. «Свет включить или телевизор?» — это был Валерий Зиновьевич, он как всегда был очень внимателен и очень не кстати. «Оставим бра», — шепнула Ксения, обняла Александра Петровича, и они увлеклись в танце.

Танцевала она неважно; не быстро и не медленно, но с большим внутренним чувством, которое, как показалось Александру Петровичу, она весьма удерживала и показывала вишь один лоскуточек. Ещё он почувствовал или ему показалось, что в темноте она в упор рассматривает его,

от чего в душе его что-то поднялось, что-то такое, о чем он и сам ранее не догадывался.

Но по мере того, как все возвращались к столу, обменивались парами, взглядами и мнениями, а музыка становилась ритмичнее и тяжелее, и существо человеческое расслаблялось, раскрепощалось и начало проявляться различным образом.

Александр Петрович сидел за столом и через арку дверей смотрел в тёмную гостиную. Он любовался Ксенией, кстати сам не понимая, чем именно. Она прижималась к Папочке, и они выделяли друг с другом странные, фантастические фигуры.

Неожиданно и неизвестно откуда за столом перед Александром Петровичем вдруг оказался Валерий Зиновьевич и с растянутыми в улыбку рыжими усичками устроился как раз напротив, заслонив Александру Петровичу вид в малую гостиную. «Выпьём?» — предложил он. Александр Петрович неохотно потянулся за бутылкой и при этом слегка сдвинулся вправо, так, чтобы «вид на танцующую Ксению» снова приоткрылся...

Валерий Зиновьевич все также улыбаясь, «проглотил рюмку» и тоже сдвинулся вправо, преградив ему вид в тёмную гостиную. «Кинь в меня мандарин, — предложил он, — я ртом поймаю». Александр Петрович очистил мандарин, с сожалением пересел на край стола, потеряв вид в малую гостиную, и кинул мандарином в Валерия Зиновьевича. Тот подпрыгнул, на лету поймал мандарин ртом и так же неожиданно исчез, как и появился. Александр Петрович глупо передвинулся назад на старое место, с которого открылся вид в тёмную гостиную, и недовольно пробормотал: «Глупость какая-то».

Мелодия ещё длилась, но Отец, как-то странно выйдя из гостиной, криво уселся на то место, где только что сидел Валерий Зиновьевич, и вдруг, завернув шею к столу без помощи рук, одну за другой опрокинул себе в рот две ближайšie рюмки водки.

«Цирк какой-то», — подумал Александр Петрович, налил водки себе, поднял рюмку, глотнул, и ринулся в тёмную гостиную к Ксении, на звуки музыки. Взглядом они впились друг в друга. Шла тяжёлая мелодия негритянского джаза; вой саксофонов увлекал за собой в чёрное никуда, в страшную неизвестность.

Когда, казалось бы, Рубикон уже был перейдён и они готовы были раствориться друг в друге, у Ксениного плеча загорелись колючие усы её мужа. Не успел Александр Петрович ещё до конца удивиться этой неожиданности, как что-то протиснулось между их прижатыми друг к другу телами и вполне определённое болезненное ощущение злого шипка заставило Александра Петровича высоко подпрыгнуть и оторваться от Ксении. Он очутился на стуле. Ксения же, как ни в чём не бывало и не обратив внимания, продолжала двигаться по центру малой гостиной посылая ему всё тот же горячий и зовущий взгляд.

Александр Петрович не задумываясь над тем, что он делает, бездумно вскочил со стула, кинулся в темноту и опять оказался в её объятиях.

Валерий Зиновьевич исчез. Поборов в памяти первое неприятное физическое ощущение от подлого щипка, Александр Петрович снова стал сливаться с Ксенией, позабыв обиды.

Но через некоторое время ситуация повторилась.

Но на этот раз Александр Петрович оказался уже более осторожен.

Когда усы Валерия Зиновьевича снова зажглись у оголённого и дышащего страстью плеча его «жены», Александр Петрович отскочил назад и, торжествующе дробя паркет своими новыми тёмно-красными сапогами, обогнул Ксению и притаившегося за её голыми плечами жестокого мужа.

Больше с Ксенией он не танцевал и лишь смутно помнил, как напился с Отцом, как жена одевала его в прихожей, а Отец долго прощался с дочерью.

Наутро он проснулся от ярких лучей солнца, пробивающихся сквозь малиновые маркизы, рядом с женой, у себя в спальне. Голова была тяжёлая, в паху были какие-то неприятные ощущения. «Наверное почка», — подумал Александр Петрович, — она всегда отдаёт в пах», — и чтобы отвлечься, стал припоминать вчерашние именины.

Первым делом он почему-то вспомнил Валерия Зиновьевича, но при этом заныло ещё сильнее. Тогда он отогнал это воспоминание и постарался вспомнить что-нибудь радостное.

Но ничего радостного не вспомнил. Вспомнил Ксению. Долго освежал в памяти её достоинства, но лучше не стало. Тогда мысль сама собой вернулась к столу. Он вспомнил про барана, который так и не появился, потом закуски, потом мысль остановилась на играющих цветными огоньками хрустальных рюмках водки, поднялась чуть выше и упёрлась в «Папочку», в его живое здоровое лицо и не улыбающиеся глаза.

Александр Петрович понял, что его потянуло вон из-за этого праздничного стола к чему-то более простому и несложному, за город, к природе... к земле, к лугам, и ему вдруг стало легче. Он почти успокоился. Но вскоре опять перед ним поплыли стены этой вчерашней гостиной, увешанные теми же портретами и картинами в тяжёлых рамах, на малиновых в крапинку обоях. Внизу замаячила белая скатерть, уставленная напитками и прочей дрянью, где-то вдалеке стали выплывать гости, и уже было замечены рыжие усы Валерия Зиновьевича, как вдруг зазвонил телефон. Всё дрянь, ещё успел подумать Александр Петрович, всё пустое, прошел, пропал праздник. Жена долго разговаривала с Романом Ивановичем, лучшим другом Валерия Зиновьевича и жены Александра Петровича.

Когда Александру Петровичу надоело слушать всякую чепуху, он отобрал у жены телефон и сказал: «Послушай Рома, это всё хорошо и красиво, и стол, как положено, в «лучших домах», но я не понимаю, к чему такие «злые» шутки во время танцев, эти щипки?! У нас с ним всегда были прекрасные отношения, мне конечно очень нравится его «жена»... Александр Петрович подумал и решил, что ему действительно, весьма нравилась «жена» Валерия Зиновьевича и он уже весело добавил, — но зачем так шутить?!»

«Ты понимаешь, — Рома мялся, — как бы тебе это объяснить, ведь ты уже не так молод. Жена у Валерия Зиновьевича ещё очень юная и наивная, во многом неопытна. А он около неё, как рыцарь без страха и упрёка. Всё замечает. Муха не пролетит, бережёт».

Александр Петрович мысленно согласился, что любовь для мужчины это большое зло, а жена Валерия Зиновьевича молода и неопытна. Хотя, как сказать. Любовь вообще чувство глупое и непредсказуемое.

Её лучше сразу предупредить, если она стучится не в то окно, чем потом она разрушит всё вокруг себя... Всё разрушит и всех без исключения.

Молода и неопытна, повторил он ещё раз и снова вспомнил Ксению, её обещающий взгляд, её зовущую улыбку. Мало у неё, конечно, опыта, добавил он вслух, неопытна она, за что и страдает... глупенькая, ещё чему-нибудь плохому научится, жаль её.

Ксенина танцующая фигура опять поплыла у него перед глазами и ему вдруг стало жаль себя.

Любовь, конечно, строит дворцы, сказал он философски, в которых счастье только для двоих и то не всегда, а остальным горькая комедия.

Рядом с Александром Петровичем кто-то всхлипнул. Он повернулся к жене. Она, уткнувшись в подушку тряслась от смеха: «Папа, говорят, был не настоящий!»...

«Вот тебе и цирк пошел, — неохотно подумал Александр Петрович, — скатерть белая...»

*Николай Смагин
(Россия, Нижегородская обл., Павлово)*

РУБЛЬ

Катерина встала рано, ещё только стало светлеть небо за окном.

— Ты куда так рано в субботу поднялась? — поднял голову с подушки муж.

— Вот решила пораньше на рынок съездить, пока народу поменьше.

Катерина долго бродила по рыночным рядам, выбирая подешевле да получше. Уже с тяжелой сумкой еле втиснулась в переполненный автобус. Её прижало к здоровенному мужику так сильно, что даже руками пошевелить не могла. Кондуктор с отчаянием в голосе просила передавать за проезд. У Катерины в кармане был припасён металлический рубль. Кое-как с трудом она сунула руку в карман, чтобы достать деньги. В кармане была уже чья-то рука. Сначала Катерина опешила от такой наглости. Она посмотрела на мужика снизу вверх. Мужик почему-то тоже смотрел на неё удивленным взглядом. Катерина, не отводя взгляда, стала сжимать руку мужика в надежде, что он отдаст её рубль и вынет руку из кармана, но этого не происходило.

Катерина решила ни за что не расставаться со своим рублём и продолжала сжимать руку воришки. Так продолжалось до остановки. Когда автобус на остановке открыл дверь, мужик вдруг разжал руку. Катерина решила, что лучше сойти и не связываться с мужиком, благо рубль у неё в руке. Мужик развернул её лицом к выходу, подтолкну слегка и вдогонку ещё и пнул ногой в зад. Она растянулась на асфальте, порвала колготки, ободрала колени. Содержимое сумки рассыпалось. Дверь автобуса закрылась и он уехал.

Катерина сунула в карман рубль, добытый в схватке с воришкой, со слезами, ругая мужика, субботу, автобус и всё на свете, стала собирать рассыпанные продукты. Кто-то стал ей сочувственно помогать, сокрушаясь на её неосторожность при выходе из автобуса. Немного успокоившись, она села на скамью остановки. Колени кровоточили, колготки порваны, продукты в пыли. И это всё из-за какого-то рубля!

Катерина не стала дожидаться следующего автобуса и пошла домой пешком. Войдя в квартиру, поставила сумку на пол, присела на пуфик у зеркала и разревелась.

— Что с тобой, Кать? — вбежал муж в прихожую.

Катерина сквозь слёзы стала рассказывать мужу о случившемся, полезла в карман, чтобы показать этот злосчастный рубль. Но в кармане почему-то оказалось два металлических рубля. Она достала их и, разглядывая на ладони две рублёвые монеты, лежащие одна орлом, другая решкой, разрыдалась ещё сильнее.

Муж принёс стакан воды: «Выпей и успокойся! И давай всё по порядку».

Вода успокоила Катерину. Она сунула ноги в тапки, пошла на кухню выкладывать покупки... и вдруг рассмеялась.

— Так это я к нему в карман залезла! Ну и дура! Хорошо, что не закричала. Вот стыд-то был бы. Я ему тискала руку, чтобы он мой рубль отдал, а он за мою наглость свой отдал. Что мужик обо мне подумал?

Когда муж понял, что произошло, долго смеялся: «Теперь за рубль надо новые колготки покупать, и коленки лечить. Кому рассказать — засмеют!»

Долго ещё эти рубли хранила Катерина в чайной чашке в серванте.

ИГУМЕН

Ванька по кличке Игумен проснулся от щекотки. Раннее солнце, проткнув лучом строчёную занавеску на окне, щекотало в носу. Ванька чихнул, сел на кровати, ошалело таращась, повертел кулаками глаза и выскользнул из-под одеяла. Босиком выскочил во двор и, блаженно потягиваясь, пустил струйку на угол сарая. Чистое, умытое ночным дождём небо, обещало хороший денёк, отчего улыбка не сходила с Ванькиного лица. Коротко остриженные волосы, торчащие в разные стороны, никак не приглаживались рукой. Вообще с этими волосами у Ваньки всегда забота: как не мочи, как не причёсывай — торчат они, словно первые пёрышки у галчонка, чёрные и редкие. Ванькины уши утреннее солнышко просвечивает насквозь, и они розовыми лопушками топорщатся на вертялой голове. Мамка говорит, что скоро шея у Ваньки совсем оторвётся потому, что голова всё время вертится, а шея и так тонкая.

Сегодня у Ваньки счастливый день. Проглотив с молоком пяток пирожков с луком, которые с утра пекла мать, он полетел на конец деревни к старой облезлой колокольне, что торчала над всей округой. Сегодня здесь большая работа. Сегодня начинают, как говорит учитель Николай Васильевич, восстанавливать историю Руси.

Вся деревня пришла сюда. Святое дело. И старушки, и молодые парни целый день разгружают и укладывают кирпич, брёвна, какие-то железяки, название которых Ваньке показались смешными, и он повторял их часто, чтобы не забыть:

— Швеллер двутавр, швеллер двутавр...

Ребяшня помельче таскала мусор, битый кирпич. Ванька весь день крутился, помогал всем — и взрослым и детям, даже обедать домой не бегал. Ещё бы; ведь это его колокольню обновлять будут. Здесь его любимое место.

Ванька любил забираться по скрипучим ступеням на самый верх, где на чёрном бревне, заделанном в кладку, ворковали, толкались и дрались с воробьями голуби. Ступеньки скрипели каждая по-своему, будто жаловались на свою горемычную жизнь. Ванька придумывал им имена, разговаривал с ними, как со старыми знакомыми.

От этой колокольни и прицепилось к нему прозвище — Игумен. Ванька не знает, кто придумал такое слово, но ему нравилось оно своей таинственностью. Когда его звали Игуменом, он не обижался, а даже гордился этим. Его и бабушка иногда окликала Игуменом — это когда ей надо поругать Ваньку.

Колокольня была старая. Ветры и дожди, снега и морозы ободрали с неё побелку. Она покрылась красными пятнами то ли от стыда, то ли от горя. Маковка с крестом сгнила, покосилась и держалась каким-то чудом. На уступах разрослись жесткие кусты травы и даже две хилые берёзки зеленели молодыми листочками.

Ванька знает, что это не первые берёзки на колокольне. Была уже одна большая берёза, да обломило её в грозу, и висела она вниз вершиной, цепляясь корнями за трещины, пока не свалилась вниз.

Бабушка рассказывала, что раньше, ещё до войны, была здесь церковь. Потом позакрывали все церкви, и нашу тоже. А в войну снаряд в неё угодил; разворотил напрочь. Кирпичи потихоньку растащили на погреб да на печки, а колокольня чудом уцелела, вот и стоит, как свеча, на бугре — голубям и птицам разным пристанище.

Отсюда, с колокольни виден далёкий город с чёрными хвостами дымов над длинными, словно обгорелыми, столбами — трубами. Ванька был там много раз с мамкой и бабушкой у дяди Сани, которого бабушка зовет не иначе как зятёк.

На правую сторону видна река; широкой, блестящей лентой извивается она по лугам. Далёкое стадо, точно божьи коровки ползают по зелёному листочку. Внизу, под колокольней, урчит трактор. Ваньке видно, как он плугом рвёт темно-коричневую землю, и она, отваливаясь от блестящего лемеха, нехотя переворачивается, потная от земной влаги. По свежей борозде инспекторами выхаживают грачи, тыча свой длинный нос в землю. «Как монахи», — весело подумал Ванька. Речные чайки кружат над вспаханным полем (перепутали, наверно, пашню с водой): кричат, падают на землю и снова взлетают, истошно крича.

Налево, сколько хватало глаз, шевелился, как живой, лес. Ванька не то чтобы не любил лес. Здесь, наверху, весь мир, как на ладони, а там, в лесу, среди голых сосновых стволов и мелкого подлеска нет простора, и от этого лес был непонятен своей загадочной песней — вечной и покойной.

Сзади — крыши Ванькиной деревни. Две улицы, через овраг одна от другой, спускаются вниз, к маленькому озерку, из которого вытекает ручей воробью по колено.

Большие мальчишки говорили, что впадает он в реку, которая видна далеко за лугами и тальниковыми зарослями. Школа, где Ванька учился уже четыре года, на другой улице, через овраг, но он ходил не как все мальчишки — напрямик, а в обход, мимо колокольни. Сейчас с колокольни деревня кажется покрытой белым одеялом разноцветными заплатами крыш и черёмуховой кипени в овраге, где под терпким черемуховым цветом распустил свои белые колокольчики душистый ландыш, и добратся до него сквозь комариный заслон могут только смельчаки. Но Ванька

нарвал мамке и бабушке маленькие букетики и ещё один, поменьше — Катьке Лапиной. Она в классе сидит чуть наискосок, у окошка, и Ваньке видно её веснушки на щеке и рыжий завиток около уха с маленькой серёжкой. Катька, когда пишет, наклоняет голову, закусывает нижнюю губу, а на диктанте веснушки становятся почти красными, и Ваньке весело от этого. Катька живёт около колокольни, на Ванькиной улице, и, когда кончаются уроки, он терпеливо ждёт её возле школы, тащится рядом и молчит, как у доски.

Ванька часто засиживался наверху у самого неба со своими мальчишескими мечтами. Ему порой казалось, что раскинь он руки пошире — и полетит, как птица, над деревней, лесом и лугом — над всей землёй. А когда он возвращался домой уж слишком поздно, мать, подавая ему поесть, говорила тихим и усталым голосом, чтобы он больше гулял с мальчишками и не лазал на эту развалину, а то кабы до беды не дошло.

Мамка никогда не ругала Ваньку. Бывало, шлёпнет легонько тёплой ладошкой по затылку, отвернётся и молча пойдёт. И тогда Ваньке становилось жутко и стыдно; на глаза набегали слёзы; он подбегал к матери, мокрым носом тыкался ей в живот и долго стоял так, обнимая мать руками. От мамки пахло молоком, пирогами и ещё каким-то непонятным, но очень знакомым и дорогим запахом. Ванька изо всех сил старался не плакать — ведь в доме он один мужик. Да он и не плакал, только слёзы, лёгкие и солёные, скатывались по обветренным щекам. Потом мамка говорила: — Ну, ладно, будет, — чмокала Ваньку в макушку, и всё кончалось миром.

Они всегда жили мирно: бабушка, мамка и Ванька. Отца он не знал, и в доме о нём разговоров не велось, а если что сделать по мужской части, то приезжал из города бабушкин зятьёк — дядя Саня. Для Ваньки это был праздник. Дядя Саня мастерил, а он бегом подавал ножовку, гвозди, доски. С дядей Саней весело. Он всё время мурлычет себе под нос песни, подтрунивает над Ванькой. Под вечер бабушка накроет стол в передней, нальёт зятьюку на посошок маленький гранёный стаканчик, и, с сумкой, полной гостинцев, все провожают дядю Саню на последний автобус в город. Автобус скрывается за поворотом, бабушка тяжело вздохнёт, а мамка прижмёт Ваньку сильнее, и так идут они домой рядом.

...День клонился к закату. Уже розовая кисея зацепилась за самые высокие деревья в лесу, и в домах зажигались огни. Деревенские тётки дзенькали струйками молока в подойники, освобождая полные коровьи вымя, нагулянные за день, когда Ванька, чумазый и усталый, но радостный, вернулся домой. Умылся из бочки под стёком. Мать подавала ему поесть, он полусонный жевал, не понимая чего.

Ванька засыпал с добрым сердцем. Ему представлялась новая колокольня. Как белый парус, плывёт она над округой, и малиновым звоном окликает окрест переливчатый бой колоколов.

— Вырасту — обязательно звонарём буду, — была его последняя мысль в этот счастливый день.

ТЕЛЁНОК

— Слышь, Лямоля! А чё дальше-то было?

Мы сидим с Лямолей под перевёрнутой лодкой старой и дырявой. Дождь, налетевший из-за кручи, барабанит уже целый час, отчего река покрылась пузырями и серая вода кажется вот-вот закипит.

— Чё, чё! — Лямоля затягивается очередной раз «Прибоем». — Когда из пике выходили, корове рога отшибли!

Я знаю, что Лямоля врёт безбожно, но уж больно интересно его слушать, и я уже не жалею о неудавшейся рыбалке. Долговязый и худой, Лямоля еле помещается под лодкой. Лицо у него сухое, вытянутое, с маленьким острым носом. На лоб спускается рыжеватая кудряшка. Губы толстые, короткие, отчего видны железные зубы с зажатой между ними папиросой «Прибой».

Все пацаны нашего двора ходили за ним гурьбой, слушая его рассказы и байки. Придумывал он их, или пересказывал чьи-то, не знаю, но получалось здорово. Рассказчик он был отменный — прямо артист! Разными голосами, в лицах рождались неожиданные истории, но обязательно смешные, со счастливым концом.

Дождь всё стучал споро и монотонно. Берег раскис, ручьями в реку стекала мутная жижа — смесь глины и песка. Вода у берега стала грязной. Прощай, рыбалка!

— Лямоля, расскажи ещё чё-нито!

Его не надо уговаривать, он вообще редко молчит, словно накопил в себе столько слов, что они не убираются у него внутри, и через открытый рот сами вылетают наружу.

— А вот ещё был случай. Дед мне рассказывал.

На Петров день это было. Престол у нас в деревне. Ух, весело раньше справляли! Вся деревня собиралась на задах: мужики и бабы, девки с парнями и ребятишки. Ставили на луговине столы или прямо на траве расстилали скатерти-самобранки с зелёными пупырчатыми, ещё сырыми от воды, огурцами, рыбой жареной и вяленой, копченой или просто малосольной. Горками картошечка, политая топлёным куриным жиром, посыпанная укропчиком. Пироги, ватрушки, сочни. Моченые прошлогодние яблоки, от которых потягивало холодом погребов, почти до верха забитых снегом.

Бывало, гуляли до ночи. Кто, опившись браги или самогону, падал тут же, а кто и в кулачки лез. Таких связывали и валялись они покуда не протрезвеют.

У парней с девками под гармошку танцы, пока гармонист ещё мог играть.

Лямоля замолчал. То ли вспоминал, что рассказывал ему дед, то ли придумывал историю дальше.

— Учудили однажды богатенькие мужики! Поставили на стол целую кучу водки: большую литровую бутылку, пол-литровую, чекушку, стакан и рюмку...

— Это сколько ж будет? — рассказчик будто и вправду впервые слышит про такое, начинает считать.

— Литр да пол-литра, стало быть полтора, — загибает палец и пол пальца, складывает в уме остальное.

— Ого! Больше двух литров! Во дают! — удивляется искренне Лямоля. — Привели телёнка, — продолжает Лямоля, — Кто, говорят, выпьет все, не отходя — теленок его! Тут, конечно, не до престола стало. Надо ведь — телёнка! Да ещё напьюсь досыта.

Он делает умильное лицо. Его кадык скачет вверх-вниз, глотая слюну.

— Толпа собралась! Бабы своих мужиков подталкивают к столу, подзадоривают. Да все уже выпили как следует. Никто не решается. Уж больно много!

— Жил тогда в деревне Кузя — здоровенный мужик, немного не в себе. Привели его и давай уговаривать на потеху. И ведь уговорили! А Кузя глупый-глупый, а начал с литровой бутылки. Допил, передохнул, пол-литровую опустошил. Улыбается. Чекушку осилил. Народ загудел. Надо же! Качнулся Кузя, но стакан еле допил. Опёрся о стол, поймал неуверенной рукой рюмку. Толпа ревёт. Кузя поднёс рюмку ко рту. Долго стоял качаясь. Прошептал: «Кузя больше не может!» и грохнулся навзничь с рюмкой в руке.

Лямоля с грустью в глазах ещё раз пережил свой рассказ, сплюнул: «Эх! Жалко!»

— Лямоля, а с телёнком-то как дальше было?

— Да что телёнок. Кузю жалко! Ведь чуть-чуть не допил!

Дождь перестал стучать по лодке. Лямоля вылез, расправляя согнутое в три погибели тощее тело. «Вот ведь как бывает! Жалко мужика. Ну и какая беда, что немного не в себе. Всего-то рюмку не смог, а телёнка не дали. Пошли домой».

Лямоля широкими шагами двинулся к лестнице, ведущей наверх, на кручу. По размякшей рыжей земле ноги разъезжались и было смешно смотреть, как он, ловя равновесие, взмахивал руками и покачивал головой, всё ещё переживая неудачу Кузи.

Семен Гонсалес
(Россия, г. Самара)

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЛУНА

Иерусалимские сумерки были жалкими и ничем не примечательными, не в пример нашим из глубинки — в Твери или Рязани, это явление неизменно радовало глаз и будоражило воображение романтиков, а тут... ну, что ж сумерки, как сумерки, ей-богу, я ведь не за этим приехал. Удобно расположившись на взгорке возле ничем не примечательной автодороги, я разглядывал панораму священного города, а рядом на обочине стояли два араба, или может палестинца, и оживлённо спорили, периодически открывая и закрывая капот своего заглохшего автомобиля. А я всё ждал и чувствовал — осталось совсем чуть-чуть.

Со времени последней нашей встречи прошло два года, я не видел её и даже поверил в то, что её никогда не существовало. Она просто моя болезнь, плод моего воображения и больше ничего! Но сейчас мне так её не хватало...

Она прилетала ко мне каждое полнолуние и, удобно примостившись на подоконнике, насвистывала какую-то мелодию с суфийскими мотивами. А когда я откликался на ее зов и спешил к ней, она одаривала меня своей обворожительной лукавой улыбкой.

— Ну, приветик, приветик!

— Прилетела, попрыгунья.

— Прилетела. Ты скучал?

— Ну, прям! Вот еще, — я делал сверхсерьёзную гримасу, которая неизменно её забавляла. — Вот ещё, больно надо!

Она заливалась звонким, просто девичьим, смехом и тоже пробовала построить моё фирменное «сверхсерьёзное лицо», но у неё, как правило, ничего не получалось, и тогда уже я сам начинал смеяться.

— Что ты смеёшься, наглец! Ну-ка, признавайся — рад меня видеть или нет?

— Конечно, рад, и я, конечно же, скучал — ты это хотела услышать?

— Ну, вот другое дело, гадкий Самаэль!

— Я не Самаэль, я Иван, ты меня опять с кем-то путаешь.

— Ни с кем я тебя не путаю. Если родители тебя называли Иваном, это ещё не значит, что всю жизнь тебе надо Ваньку валять, — она опять закатывалась своим звонким колокольчиковым смехом, как бы показывая, что, несмотря на явное повторение, эта шутка по-прежнему хороша.

— Не, ну, скажи серьёзно — почему ты называешь меня Самаэлем?

— Потому что ты Самаэль! Ты ведь называешь это окно окном, а вон тот стол столом, причем ты не спрашиваешь у них, как их зовут, да и сами

они не спешат тебе представиться. Хотя как забавно было бы от самого стола услышать — тут она пробовала вещать низким мужским баском: «Я не стол, меня на самом деле зовут Фёдор», — и опять этот очаровательный юный смех.

Мне так и не удалось выяснить почему она меня называла Самаэлем. Как-то я сам решил узнать значение этого имени, и «погуглил» в инете. Определение, данное Википедией, меня смутило:

«Самаэль — каббалистический титул Князя тех злых духов, которые олицетворяют воплощение человеческих пороков. Один из главных демонов в иерархии ада».

Ужас какой! Верно, она просто стебается, я ведь не могу быть князем злых духов и одним из главных демонов ада. Брр.

Но, что ещё более интересно, сама она представилась, как Наташка. Наталья? — переспросил я. Нет, просто Наташка — ответила она. Вот такая просто Наташка, которая в полнолуние прилетала неизвестно из каких волшебных краёв, неведомо как проходила через закрытое окно и, усевшись на подоконнике, будила меня своим художественным свистом.

Я как-то попробовал в шутку отплатить ей той же монетой и начал называть ее Лилит — где-то вычитал, что так звали одну влиятельную демонессу, по совместительству первую жену Адама — но она что-то странно среагировала на это имя: её лицо изменилось, с него исчезала улыбка и в глазах начала светиться настороженность.

— Не называй меня так.

— Почему?

— Это не хорошо.

— Почему не хорошо? Ты ведь называешь меня Самаэлем, как будто я какой князь демонов, а самой, видите ли, не нравится, когда её называют Лилит. Что в этом такого?

— Ничего. Но это имя святое и им может называться только одна богиня. Понимаешь, существует только одна Лилит, как существует один Яхве и один Люцифер. И Лилит не нравится, когда её имя поминают все.

— Но, может, существует где-то и настоящий Самаэль, и ему тоже не нравится, когда его именем кого-то называют? А?

— Да, он существует, Он — это Ты! — с её лица быстро исчезла настороженность, глаза опять загорелись лукаво-насмешливым светом, и она хохотала в полный голос.

Вот так мы проводили время — смеялись и легонечко флиртовали. С собой она всегда приносила маленький фарфоровый кувшинчик со странной зеленоватой ароматной настойкой, которую я поначалу принял за абсент, особенно учитывая то, что эту жидкость она поджигала, прежде налив в маленькую серебряную ложечку, и предлагала мне вдохнуть пары. Но она уверила меня, что это не абсент; эту настойку она называла амбросией, нектаром старых богов. Что интересно, в голову эта амбросия ударяла не хуже заправского абсента и дарила эйфорию, сравнимую с небольшой дозой опиума. Когда я хмелел, она ласково гладила меня по волосам, и я счастливый засыпал, положив голову ей на колени.

У нас никогда не было никакой интимной связи. Не скажу, что я конченный однолюб и чрезвычайно верный муж, но я всё же любил свою супругу, своих красавиц дочек и семейный уют ставил превыше всего. Мог бы я изменить жене с этой прелестницей Наташкой? Наверное, мог бы, тем более что она была невозможно как привлекательна, и меня к ней просто неудержимо тянуло, но... Знаете, как бы там не было, наши отношения всегда имели оттенок чего-то нереального, чего-то такого, что представлялось простым, но прекрасным сном, который повторялся каждое полнолуние. Я начинал подозревать, что серьёзно заболел и моя душевная болезнь требует срочного лечения.

Не знаю, решился бы я сам обратиться за помощью к врачам — вряд ли, наверно. За меня это сделала супруга, которую очень насторожили мои ночные отлучения и разговоры с невидимой, или, вернее, видимой только мне личностью, сидя на подоконнике. Она меня просто силой притащила в один закрытый центр, в котором вправляли мозги душевнобольным. Этот центр славился не только на всю Россию, а, кажется, даже на весь мир; говорят, в нём лечились очень известные люди. Но я до последнего сомневался — нужно ли мне лечение? Как бы там не было, через три месяца меня признали здоровым и отпустили. На этом и закончились ночные визиты прелестной Наташки. Мне почему-то кажется, что звали её вовсе не Наташкой, ибо всякие демонессы, суккубы и феи не зовутся Наташками. Хотя, кто их знает! — может и такие есть. Да и какая разница — она просто глюк, её не существовало на самом деле. Просто плод моего больного воображения, легкое помешательство и ничего более.

Но вот, каждое полнолуние я всё равно неизменно прислушивался — не доносится ли откуда красивый мелодичный свист с восточным мотивом. Потом я подходил к окну, распахивал его настежь, и долго глядел на большую бледно-серую луну.

Не знаю почему, но я всегда вспоминал описание другой луны — иерусалимской, о которой мне поведала моя ночная гостья. Это не были её последние слова, это не было её самым примечательным рассказом... Просто как-то вдруг ни с того ни с сего она начала рассказывать про огромную багровую луну над Иерусалимом, которая освещала город в дни древнееврейского месяца Нисана. Она сказала так: «Над Иерусалимом восходит особенная луна, совсем не та луна, что показывается над твоим домом. Кто не видал той луны, тот не познал истинного единения с божеством». Вот и всё, что она сказала тогда, всё, что я запомнил.

Сейчас на моих часах было уже примерно четверть десятого, сумерки сменила ещё не совсем тёмная, но настоящая южная ночь, и над Иерусалимом выплыла огромная ярко-багровая древняя ветхозаветная луна. Арабы разобрались с неполадками своего авто и, тарахтя, умчались прочь по пустой дороге. А я сидел один на этом одиноком взгорке и любовался огромной-преогромной иерусалимской луной, с которой не могли сравниться все луны мира.

Повелитель Кубков

Повелитель Бесконечности, в твоём Кубке просторы такой тесноты,
 Что если бы вся мощь твоего голоса вырвалась наружу,
 То мир оглянулся бы в небеса и пал.
 Твой подданный — белый лист,
 Белый лист, что ждет твоей Крови,
 Той, что разбиваясь на пике Красоты, взрывается словами...
 Черное и Белое смешаны навсегда...
 Черное, Белое и красное — навсегда в объятьях.
 В твою кровь подмешаны чернила, в твои чернила — вино.
 Вино, что играет с равновесием:
 Пропасть, Пустота, Величие воздуха,
 Ритм дыхания... и снова...и снова
 Цвет обретает глубину, подводя тебя к обрывам мира,
 На острие букв разливая тебя...
 Напиток в Чаше густеет... играет... тускнеет...
 И ты обращаешь вино в Слова... Пыль... Роскошь...
 Воздух... Воду... Огонь... Дыхание ...
 Во имя всего святого, чего нет на земле!

Пришедшие ощутить вечность рождаются из ночи

И ты отдашь эти строки
 Той, у чьих ног предстоит тебе лечь.
 Той, которая никогда не будет произнесена,
 Потому, что она — Повелительница Бесконечности.
 И ты никогда не выпишешь ее, не познаешь до конца,
 Каждая строка твоя станет маленькой по сравнению с ее присутствием,
 Потому, что ОНА Бесконечна...
 Она, носящая самое простое имя...
 Она, Лилит твоей страсти, Ева твоей нежности...
 Она — чернила белого цвета на живой бумаге алых оттенков...
 Она вышита красным по отпущенному тебе времени...
 Всё, что есть у тебя — лишь ее время, отпущенное тебе,
 В мире, где все ложь, где все одолжено.

Коронуя ее губами, коронуя ее руками,
 Ты будешь вкладывать весть в ее раскрывающиеся навстречу уста,
 Ты будешь просить прощения у бедер, что остались пусты,
 Ты будешь пить ее, жадно сливаясь с ней в бесконечности.
 Любить ее ветрами и веками, зная,
 Что у вашей встречи нет первого раза, как и нет последнего.
 Ты — Напиток в Кубке Повелительницы Бесконечности,
 Той, что слагает из тебя эти Песни и Сады.

Вновь с белого листа

Вновь с белого листа
Как тихо, как безлюдно
Чернеет край строки
Хозяину пера.
Последняя звезда
Сквозь мраморное утро,
И инквизитор сна
Считает зеркала.
Прожилки тленных слов
Все саваны по меркам
Отпляшут на тебе
В свой предрассветный час.
И нежно голубой
Размажется по стенкам,
Не смея взять взаймы
Тех строк что для тебя.
Помеченным числом
Февраль упал в чернила,
И бледно в тишине
Колеблется душа...
Я наживо пишу,
Чтоб намертво остыло.

*Читающим друг друга
по губам (так присягают БЫТЬ)*

И кружево теней, как темный дождь.
Стекает сон сквозь хладнокровный вечер.
Изыщен плач разорванных о вечность.
В ожогах лампы мутное стекло.
И в бархате всемирной тишины,
Там, где остановилось слово,
Секрет игры, разгаданной игры,
Кружит глаголом невесомым.
И шепчут письма сильнее, сильнее....
Сквозь всеприсутствие теней,
причастных ночи,
Сквозь неподдельный почерк наших дней
Как будто что-то большее пророчат
Читающим друг друга по губам...
Губами в губы близость призывая...
Так в вечность падают, а может быть
взлетают,
Так присягают БЫТЬ, на пламени Огня.
Иллюзий Император — Ты Велик!
С улыбкой на простор твоих молчаний,
Где три гвоздя у повелителя печали,
И эти три, они для нас двоих.
Мир грубости. Мир боли. Мир Любви,
Руины пауз, снов растрепанные руки...
Какие ты во мне рождаешь звуки? —
Так просыпается, так молится рассвет!
Мы будем плыть по миру и терять
Всё, что само теряется по праву,
Бездомные, бездонные, без дна,
Крещенные Любовью и отравой.
И целовать, чтоб не разрушить губ,
Встречаясь через каждую бессмертность,
Сжимая в пальцах вечные слова
И проживая их скупую неизбежность.



ЛЮБОВЬ ТРЕТЬЯКОВА-ГУДОШНИКОВА

г. Бугульма



НАЕДИНЕ

Там, где в самом соку клубнику
Поливают дожди стрекоз,
Тишь, да гладь вечеров накликал,
Через речку раскинув мост...
Где светлы родники России, —
Беды вымерли, в благодать...
Затерявшись в просторах синих,
Время учится врачевать...
Каждой мелкой в траве букашке
И травинке под небом — быть!
Пить росинки певучей пташке
И красоты земли хранить...
У реки быстротечна память
Растревожила давний след...
И на сердце, хранима, завязь
Соловьями отпетых лет...
Там, где небо целует землю,
Где зарёю алеет высь,
Ты душой отдохнувшей внемлешь:
Эх, забавная штука — Жизнь!

ПЕРЕБОЛЕЛА

Душа, как выпитый фужер,
Пуста. Ни боли, ни упрёка...
Прошла цепочку виражей,
Гонима Ангелом и Богом.
Не отогреться у костра...
Ей объяснять уже не надо:
Предательство, или игра,
Или пиарная бравада...
Перегорела... Нет огня...
И даже искры нет на милость...
Лишь строчки памятно хранят
Всё, что любила и ценилось...
Перебинтовывая стон,
Порой не сдержанный и рванный,
Рассыпалось в хрустальный звон
То время, что врачует раны.
Познала Ад, познала Рай...
В конце бегущей лентой титры...
А за окном всё тот же май...
Всё те же трели, те же игры...

ОБМЕНЯЛА ЛЮБОВЬ

НА ДРУЖБУ

Обменяла Любовь на Дружбу.
Гнев сменила на милость божью.
Однокомнатную — на двушку,
От асфальта — по бездорожью.
Обменяла Любовь на Дружбу.
Планировка, раздельный узел...
Стены выложила, и в душу
Вход оставила только Музе.
Обменяла Любовь на Дружбу.
И осыпала путь цветами.
Я вернула тебя подружке
С незабудкиными глазами.
Обменяла Любовь на Дружбу,
Разве этого стало мало?
Что же ты приуныл, мой друже?
Начинай всю игру сначала...
Обменяла Любовь на Дружбу,
Чувства нежные — на подделку.
Наливай же полнее кружки,
Да обмоем такую сделку...

СКУЧАЮ

Бьётся небо о землю дождём.
В каждой капле — Ску-чаю... Ску-чаю...
Оседает в траву янтарём,
Ручейками зарю рассекая.
И кричат телефоны, скорбя:
— Я скучаю... Скучаю... Скучаю...
Расстояние в сети до тебя
Тишина разрывает немая...
Аритмично, гитарной струной:
— Я ску-чаю... Ску-чаю... Ску-чаю...
По аккордам, ударной волной,
Боль хронически отпеваю...
И сквозь сон, повторяя в бреду,
— Я скучаю... Скучаю... Скучаю...
Просыпаюсь в холодном поту,
На рассвете вишнёвого мая...

Без Любви путь один — в никуда...
Без Любви и в жару — холода...
Без Любви и Весна — не весна...
Без Любви — всё, как будто, больна...
Без Любви даже ночи глухи...
И стихи без Любви — не стихи...
А с Любовью — нога в стремяна...
А с Любовью в морозы — Весна...
А с Любовью года — не беда...
А с Любовью душа молода...
А с Любовью грехи — не грехи...
И стихи, что с Любовью — СТИХИ...

НЕТ! СИЛОЙ НЕ УДЕРЖИМЬ ВРЕМЯ

Нет! Силой не удержишь Время,
Где были счастливы с тобой.
Где, бесшабашно, ногу — в стремя...
Ветра — ударною волной...
Коней прищипоривать — пустое,
Натягивая поводок.
Несётся племя молодое,
Ему открыты сто дорог...
Нет! Силой не удержишь Время,
Не повернёшь его назад...
Тобой посаженое семя
Сегодня превратилось в сад.
А стоит ли о невозвратном
Так горевать и слёзы лить?
Не лучше ль, просто, аккуратно,
Его по полкам разложить.
На нижней будет, скажем, Детство
Со сладким вкусом эскимо....
Где сказки бабушки, в наследство,
Поинтересней, чем кино....
Повыше расположим Юность,
С ней дискотечных песен струй...
Охапки звёзд дорогой лунной,
И самый первый поцелуй...
На третьей — Зрелость, аккуратно.
Карьерный рост и интерес,
И жизнь семейная приятна,
Детсад, работа, быт, прогресс.
Наверно, Старость будет выше.
Тут мудрость — свойственный багаж.
Она в стихах всю жизнь опишет,
Издаст внушительный тираж...
Нет! Силой не удержишь Время.
Не остановишь стрелок ход....
Настанет час, и скинув бремя,
Оно само к тебе придёт...
Пока Надежда не убита,

Ещё в душе Любовь живёт...
Звенят безудержно копыта,
И кони просятся в полёт...

ТЫ НЕ ПОМНИШЬ, В КАКОМ ГОДУ

Ты не помнишь, в каком году?
Это было счастливое лето.
Мы купались с тобою в пруду,
В отражении лунного света...
Под созвездием двух близнецов,
Если точно, в начале июня...
Ты на всё был признавшись, готов,
Ради рыжей девчонки-шалуны...
То на самое дно уходил,
Там искал жемчуга ей в угоду,
Но увы!... Доставал только ил,
Взбаламутив чистейшую воду...
Отраженья ловил из воды...
Не успев загадать и желаний,
Ярким бликом летящей звезды
Укололся об острые грани...
Исчезал до слепой немоты...
Говорил: Ухожу во глубины!
И нырял до такой высоты,
Тем пугая её беспричинно...
Словно дети, рванули тогда
В тридесатое царство кувшинок...
На другом побережье пруда,
Где мы были чисты и невинны...
Я не помню в каком году...

ДВЕ КАПЕЛЬКИ ЛЮБВИ

На горизонте нОчи и рассвета,
За очертаньем неба и земли,
В реальности парили интернета
Две невесомых капельки любви...
Две жизни, и в пределах постоянства —
Два сердца, на разрыв, в немой глуши
В намеренно открытое пространство
Скатились по локальности души...
Мир оценив в зеркальном отраженьи,
Со спектром всех ошибок и побед,
В круговороте вечного движения,
Сложился незатейливый сюжет.
За гранью преломления рассвета,
Сорвавшись с неба, в часе до земли,
Летели, без страховки, два поэта —
Две невесомых капельки любви...

СОН

Час рассветной строкой
Отбелил прядь волос...
Еле слышный прибор
Свежесть моря принёс...
Чаек крик, налегке...
Мысль чиста, как хрусталь...
И следы на песке,
Уходящие вдаль...
Ощущенье тепла
В невесомости сна...
Я не шла... я плыла
По песчаным волнам...
СВЕТ ли нового дня?
Звал ли новый причал?
Разлюбила ли я?
Или ты отпустил...

Сгорало Время на листе,
Не зная роста.
Играла скрипка в темноте
Легко и просто...
На профиль милого лица
Ложились тени...
Звучали трепетно сердца
В ночном свеченье...
Пытаясь раны залечить,
Под купол храма,
Плыла Вселенная в ночи,
За шторой рамы...
О воскрешении строки
Взывали свечи...
И всё, что шло из-под руки,
Сминалось в вечность...

ЗАГОВОРИ МОИ ПЕЧАЛИ

Заговори мои печали,
Любеобильная Весна,
Чтоб строчки музыкой звучали
В стихах, проснувшись ото сна...
Заговори. Мне будь основой.
И новизной обрадуй дня...
Чтобы пилося благое Слово,
Дар исцеления храня.
Заговори на взлёт... не вылет,
Прогнозам горьким вопреки.
Где вдохновенье Небо выльет
Весенней свежестью строки.
Заговори рекой, ручьями...
Святою тайной родника...

И просолирую соловьями,
И эхом в белых облаках...
Заговори вернуться в детство
Кораблик мой. В нём странствий суть...
Там снежно тает Королевство,
Цветами осыпая путь...

КОГДА Я СПОРИТЬ И ПЕТЬ
УСТАНУ...

«А всё же спорить и петь устанет».

Марина Цветаева

Когда я спорить и петь устану...
Там, у свечи,
Присядет время на край дивана
И помолчит.
И будут мысли чисты, спокойны,
Уже ничьи.
Не страшно будет, не будет больно
В глухой ночи...
В ознобе тень на стене лампадна,
Как во хмелю...
Рука выводит на лист тетрадный —
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!..

ВЕСНА

Пригрелся лучик, солнечно играя,
И растворился в памяти светло...
Из тёплых стран вернулась строчек стая,
Души касаясь бабочки крылом...
ВЕСНА, — смешная, рыжая девчонка,
(В свободном созерцанье — озорство)...
В круговороте рифм журчащих звонко,
Плывет кораблик детства твоего...

МИРАЖ

(из цикла стихов «Поэт и Муза»)

Ночь. В сизой дымке сигаретной,
Услышишь ты её шаги...
Явленье Музы для поэта
Рождаёт новые стихи.
А шелест крыльев или платья
Поманит память за собой.
След поцелуя на запястье,
На пульсе жилки голубой.
И речи жаркие бессвязны,
В них откровений вечный май.
Там тени призрачно-прекрасны...
Блаженство льется через край...
И вот уже в объятьях строчки,
(Поэту девственна мечта),

След от прекрасных ноготочков
На теле белого листа...
Ночь миражами переполнив,
Свидетель встречи той, ночник,
Все тайны трепетно запомнил
И пониманием проник...
...Накинув белые одежды,
Читает радостный рассвет,
Целуя ПРОФИЛЬ его нежно,
Трудов ночных изливший Свет....

ТЕБЕ

(двенадцать строк)

Я ощущаю нежность твоих строк,
Как лёгкий ветерок по сердцу, зыбко...
Как в небо взлёт... Как чувственный
восторг...
Как зов в ночи... Как отголоски
скрипки...
Как жаркий шёпот в омуте берёз...
Как солнышки родные утром ранним...
Как счастье жемчужинками слёз...
Как новой жизни радостные грани...
Как ценный дар надежды и любви...
Как тёплое подснежника дыханье...
Я ощущаю так тебя вдаль,
Стирая годы... время... расстоянья...

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Я чувствую тебя на расстояньи.
Здесь не помогут лучшие врачи...
И мне знакомо это состояние, —
Немое одиночество ночи.
Там слогги разрываются до боли,
Не знаешь, где обман, а где игра...
Не в силах равнодушные такое
Развеять даже буйные ветра.
Размыты краски, онемели звуки,
И Музы вдохновения глухи.
Беспомощно ты опускаешь руки.
Не пишутся... не пишутся стихи.
Мучительно вынашивает время,
Обиду обнуляя и тоску.
А мысли, — поэтическое бремя,
Всё так же игнорируют строку.
Проходит ночь надменною царицей.
Какие силы властвуют порой?
Казалось бы, в руках перо Жар-птицы,
...Но лист невинно чист перед тобой.
А месяц за окном наставил рожки,
И звёзды подмигнули ей хитро.
Да вот они, её пути-дорожки.
По ним выводит лёгкое перо...

ЯНВАРЬ. КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Всё пуржит и порошит Январь,
Заметает дороги и крыши.
Взгляд из окон убрал под вуаль,
Что серебряной ниткою вышил.
Дорогие подарки принёс:
Белоснежные лёгкие шубки
Он накинул на плечи берёз,
Согревая их бережно хрупких.
Сласть рябин воробьям у дорог
Он рассыпал на радостный щебет...
И Крещенским морозом обжёт
Ясный месяц со звёздами в небе.
А над крышей струится дымок,
И в трубе кто-то жалобно плачет.
Тайно в детство открылся мирок,
Где нас печка с полатцами прячет.
Наигравшись досыта в снежки,
В ожидании сказок и чуда,
Там с теплом сочинялись стишки,
И лечилась любая простуда.
Где в печурке весь твой гардероб:
Рукавички, шарфы и носочки.
Чай с малиной и... выгнан озноб.
Шоколада «Алёнка» кусочки...
Слышу бабушки в сенцах* слова:
— Ой, Суук!** (это, холодно очень) ...
Разгораются в печке дрова
Фейерверком светящихся точек.
Треск поленьев, метель в унисон,
Ожидание мамы с работы...
К нам сходил удивительный сон
Добротою бесценной заботы.
Ещё тлела в подтопке зола,
От углей разгоралась лучина.
Не хватает такого тепла.
Мне бы к печке сейчас... не к камину...

НАДАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ

(из цикла стихов «Судьбы человеческие»)

Лицо худое, сеточкой морщины,
В наколах руки, видевшие зону...
Снежинки оседали на седины,
На лёгкое пальто не по сезону,
Игриво опускались на прохожих
Пушистые... отбеливали землю...
День проходящей жизни подытожен
Был, вопреки заботам и везенью.

*Сенцы — сени (разговорная речь).

**Суук (татар.) — холод, холодно, холодный.

Спешил народ с работы в супермаркет,
 Готовясь к предстоящему веселью.
 Скупалось всё: продукты и подарки...
 А на крылечке Бомж сидел под дверью.
 Бог посылал ему немного хлеба,
 Скупая мелочь падала в ладошку...
 Благодарил за то седое небо,
 Кормил с руки прижавшую кошку.
 — Спасибо, дочка... сердце золотое!
 И уходя, слышалось мне в спину:
 — Зачем жалеть о временах застоя...
 Виновен сам, чего искать причину...
 Страдания среди толпы терялись.
 Крестился на крылечке человек.
 А двери то и дело открывались,
 Шли мимо люди... Падал белый снег...

ЖИЗНЬ-ИГРА

Ты посеешь на ветер слова.
 Я полью их обильно росой,
 Не лишённая мастерства,
 Их на музыку нежно настрою.
 В чистом звуке проявится грусть
 И прольётся в скрипичные ноты...
 Жизнь твою я судить не берусь...
 Всюду тамбуры да переходы.
 Как безжалостен времени круг,
 Ведь когда-то концы разомкнутся.
 Радость встреч, как и горечь разлук,
 Не всегда в равных долях даются.
 В тусклом свете ночных фонарей
 Засыпающе дремлет округа.
 В веке бешеных скоростей
 Как же мы далеки друг от друга.
 Отлетела от слов мишура,
 И осела в пыли придорожной.
 Кто-то скажет: Всего лишь игра!
 Но играла она виртуозно...

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

Всё будет хорошо, а может даже лучше.
 От прошлого ключи я выброшу в снега.
 Глухая ревность, друг, не наш с тобой
 попутчик,
 Где перечень обид разденет донага.
 А снег идёт с утра в жемчужном
 постоянстве...
 Крылом коснусь мечты, рисуя образ
 твой.
 И вновь летит душа в открытое
 пространство,
 И музыка звучит... А значит, ты живой.
 А значит, будем жить с надеждою
 на встречу.
 Ни километры вьюг, ни снежная пурга,
 И даже уходя, нас не разлучит
 вечность...
 В твоей большой руке лежит моя рука.
 И, кажется, весь мир светлее
 на рассвете...
 Штрихую мысли строк простым
 карандашом.
 И пишутся стихи, и радуются дети...
 Всё будет хорошо! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!



АНДРЕЙ-VIKTORIA-АНДРЕЕВ

г. Санкт-Петербург



Стопка

Бумаги собираю в стопку,
Под монограммой жизнь — моя?
Стихи, как пройденные тропки,
И тайны точками стоят.

Ключи за строчками событий,
И не сказать, что жизнь игра:
Так бьёт жестокостью открытий,
Едва со школьного двора,

Шагнёшь с душою нараспашку,
С мечтою изменить весь мир —
Но смотрят не в глаза, в бумажку,
Что «тройками» пестрит как сыр, —

Дотошно объяснят дорогу,
Культуру речи подзабыв...
И ведь пойдёшь, нога за ногу,
За час ученья невзлюбив...

И многие, упав, катились
По Малой Спасской колбасой,
И по ночам слезой давились,
Иль уходили с той, с косой...

Покаюсь, сам хотел, но пули,
Не отыскал в урочный час.
Да Музы песню затянули
И мой нашёл меня Пегас.

И как итог — листами стопка,
Сомнений, поисков тома...
Меня однажды примет топка,
Ей книгами давать ума...

06.06.09 г.

A-V-A

Ветерок

Пригласит ветер камыши,
Ведя вдоль берега рукой.
Летит над озером, шуршит,
За ночью проводя покой.

Осыплет сон и сумрак с крон
И птиц заспавшихся качнёт,
И самой юной из ворон
Шептать любезности начнёт.

Он сам мальчишка-бубенец,
Студент, волочащий «хвосты»...
Забросит в небеса чепец,
И рвёт рассветные холсты...

06.06.09 г.

A-V-A

Дождь и Ко

А дождь гуляет по проспектам...
У Декабря, лишь призрак власти.
Накрывши голову конспектом,
Перебегаю от напасти
Из подворотни да в парадный:
Ещё квартал, и я в объятьях...
Ей всё равно, что не нарядный,
Мне всё равно — в халате, в платьях —
Меня встречает Дездемона
Или Офелия... Лаура...
Страницами «Декамерона»
Её пропитана натура...
И только хлопнет дверь — на части
Разделен мир... Эрот и Лира
Поют в два голоса о счастье,
Хлебнув горячего зефира...
А за окном поправит шляпу
Дождя промокшая фигура.
Толкнёт прохожего-растяпу
Под выстрел юного Амура,

И побредёт... Сенной... по кругу,
Подслушать лирику дуэта...
И, насладившись, двинет к югу
Судьбой столичного поэта...

11.12.2013 г.

A-V-A

Представилось

Рассветный сумрак... небеса в морщинах
Седых и серых туч и облаков.
И тротуаром сторбленный мужчина
Несёт рюкзак с осколками веков.
Он не завязан... вижу вазу, книги,
Портреты дамы в красных паспарту...
И вывод прост — ни капельки интриги:
Разбита жизнь, за новую черту
Идёт охотником не за добычей...
Представилось — за сонной тишиной,
Где на рассвете только говор птичий,
Поля и бор сосновый за стеной
Родной избушки, что стара, как вечность,
Как след от обручального кольца...
Мужчина сел в автобус на конечной,
И встретимся, не вызовет лица...

14.12.2013 г.

A-V-A

Ускользнуло время от погони:
Проходные помогли дворы.
Кавалькаду вёл ушастый пони,
Позабыв про правила игры.

Выбирал он тщательно дорогу,
Обходил ухабы, ямы, рвы...
Время напрямик бежало, ноги
Задирая выше головы...

24.12.2013 г.

A-V-A

Чужая - игра

...в щитом обезображенных фигурах.

Эля Григ

Пугая в переулках тишину,
Гуляет обнажённая натура.
Январь, до слёз похожий на весну,
«В щитом обезображенных фигурах»,
Испуганно сбегает по дворам —
У обнажённой пиками все страсти...
Чужая жизнь, всё кажется, игра,
А для своей и боли, и напасти...

11.01.2014 г.

A-V-A

Блистательная ночь

Блистательная ночь шуршала
крепдешинном,
Танцуя с ветром вальс на тонком
льду пруда.
Им партию играл юнец за клавесином,
Цепляя лишь едва за ноту ля в ладах.

Мелодия лилась сквозь тени занавесок
На дремлющий квартал в гирлянде
фонарей.

Под левое Кортэ* взлетал букет подвесок,
И ветер замирал над всполохом кудрей.

А ночь шептала в такт чудные небылицы,
И тоненький ледок, смеясь, трещал
по швам...

И заалел восток, и первые зарницы
По бледным облакам вели любви слова...

03.01.2014 г.

A-V-A

Следующий кто?

Не собрать разбросанных камней,
Далеко летели в лес и воды...
Сотни искалеченных парней,
И ярмо обещанной «свободы»
Поднял над Сестрою бизнес-век...
Следующий кто за свежим евро?
Чёрным лаком покрывает стек**
Предводитель... широта маневра,
Выведена в картах нужных стран —
В голос завывают от «свободы»
Сирия, Болгария, Ливан,
Бывшей Югославии народы...
Мало вам примеров? Эх, родня!
Где ума хвалёная смекалка?
Сундуки раскрыты у менял***,
Карта Украины, как шпаргалка...

24.02.2014 г.

A-V-A

* Кортэ — фигура медленного вальса.

** Стек (стэк), стека, м. (англ. stick) (спорт.).
Твердый, эластичный хлыст, употр. при верховой езде. (Значение слова Стек по словарю Ушакова).

*** Меняла — тот, кто занимается разменом или обменом денег, получая за это определенный процент. (Значение слова Меняла по Ефремовой).

Над городом

Над городом кружится вой сирен...
Брюссель и Лондон, Вашингтон, Москва.
Расколоты сознания... перемен...
Все жаждут... И крылатые слова
Сшивают над майданом в домино:
Уже не разобрать где, чья вина...
Ночами разгоняют глас дневной, —
И мерзко ухмыляется война...

09.04.2014 г.

A-V-A

Нагнетает страхи чернокожий сэр,
По линейке выстроив Европу:
Русские вмешались в ладный строй афер
И раскрыли тайную синкопу*;
Наказать бы надо, чтоб с лица земли...
Заправляем танки, самолёты...
И по Черноморью ходят корабли,
Первые доносятся отчёты:
Враг не то чтоб слабый, но и не силён,
И вооруженье слабовато.
Асы есть, но мало, вроде — батальон.
Это же слеза на форме НАТО!..
Батальон десанта... батальон «спецназ»...
Добродушные на вид комбаты...
Вытянут на спичках, выполнит приказ...
Не на тех напали вы, ребята...

11.04.2014 г.

A-V-A

Вспомнил недавнее

Парк Александровский... важно и чинно
Пара красавиц идёт под зонтами.
Следом за ними невзрачный мужчина
В белом костюме и туфлях с бантами.
Дамы беседы ведут о погоде,
О предстоящей премьере балета.
Новых покупок, последних по моде,
И необычной шнуровке корсета...
Спутнику скучно... он ищет глазами
Старых знакомых на «Малом капризе**».

* Синкопа (греч. буквально — обрубание; лингв. сокращение, стяжение <слова>) в музыке — смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение ритмического акцента с метрическим.

** Большой и Малый капризы представляют собой искусственно образованные насыпи с арочными пролетами над дорогой (называемой Подкапризовой дорогой).

Там литераторы держат экзамен,
Громко читая о море и бризе...
Вспомнил недавнее... прелести Крыма...
Домик татарки... цветы дастархана.

Танцы под дудку кальянного дыма
И поцелуй в объятьях дурмана
Губками нежными... слушала тело...
Плача смеялась... и в крик без причины...
И убивала глазами Оттелло,
Если сомненья слагала... В долины
Райских садов уносила услудой
За наслажденья и слёзы экстаза...
И уходила с вечерней прохладой
Для совершенья ночного намаза***...
Странная женщина... ЖЕНЩИНА ЧУДО.
Дом обходили её стороною.
Ведьмой считали... кусок изумруда.
Кроткой и нежной предстала женою...
Солнце присело в высокие кроны.
Время собраться в обеденной зале...
Вспомнил недавнее... шли батальоны,
И парижанки в объятьях визжали...

26-27.04.2014 г.

A-V-A

В грудь

Палец дрожит на крючке спусковом,
Враг, бывший друг, на прицеле.
Не разойтись просто так —
большинством,
Нас разделили в Брюсселе.
Словно оглохли, ослепли в момент:
Наци поднялись, фашисты.
Вором и пьяницей был Президент,
Ну, а сейчас, аферисты
Рвут на куски земли и города,
И неудобным — расстрелы.
Как на дрожжах растолстела беда,
С нею пришёл оголтелый —
Марионетка от США — Президент.
В откуп отдаст Украину...
Но на прицеле он... я — диссидент,
В грудь ему плюну, не в спину!

27.05.2014 г.

A-V-A

*** Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Лучший намаз из дополнительных намазов — это намаз, выполняемый глубокой ночью — намаз-тахаджуд». (Передал имам Ахмад.) «Выполнение ночного намаза-тахаджуд приблизит читающего к Аллаху, защитит от зла и очистит от болезней».

Коснуться высоты

Он приходил... неслышен... невесом...
 Ваял глазами облик в темноте.
 И не дышал, чтоб не тревожить сон
 Живой и близкой, всё-таки мечте...

Он не фантом, не призрак дальних лет...
 Студент... филфак... и «на носу» — диплом.
 Резвился май... и в призрачный рассвет,
 Соседку... ню... увидел за стеклом...

По рукоять вонзил Амур стилет...
 Ей восемнадцать, и живёт одна.
 Стройна, изящна, васильковый цвет
 В её глазах пьянит и без вина...

Но подойти... не мог решиться он...
 Плоть не мечта, а он любил Мечту.
 Так и ходил, пока она сквозь сон,
 Не позвала... коснуться... высоту...

Её груди... безбрежье нежных глаз...
 Под поволокой давних сказок сна...
 Он вышел в свет... гулял медовый Спас,
 А дома ждёт красавица жена.

08.06.2014 г.

A-V-A

ЭТО НЕ ВСЯ БЕДА

Утром в поля — вой!
 Боль отойдёт в пустяк...
 Был он не друг — твой,
 Если ушёл вот так:
 Татем в ночи... бег...
 Ни одного следа.
 В мае пошёл снег.
 Это — не вся беда.
 Тёмен и пуст дом.
 Стены тебе враги...
 В горле скрипел ком —
 Лживы его шаги.
 Ты всё ждала: вот —
 Молча, но сеет рожь.
 Может, взойдёт род,
 Ведь у сердечка дрожь...
 Выпросила... боль...
 Ночью... и всё — сама...
 Утром в поля — вой!
 И впереди — зима...

13.06.2014 г.

A-V-A

Не правильно

Проходило солнце над окраиной...
 Взрывы-крики, тучи-пули, дым...
 Как же это всё-таки неправильно,
 Помирать за деньги молодым.

Убивать невинного прохожего,
 Девочку, что вышла на балкон...
 Выродка подняли из «отхожего»,
 Приодели в чёрный балахон,

Рацию, винтовку в руки, оптику.
 На компАсе Юг, Юго-восток.
 Сухпайки, журнальчики с эротикой,
 И приказ: «зачистить» городок.

Без разбора — пулю на движение,
 Страх висит Дамокловым мечом.
 Не помогут выжить сбережения,
 Если вдруг столкнёшься с ловкачом...

Проходило солнце над окраиной...
 Взрывы-крики, тучи-пули, дым...
 Как же это всё-таки неправильно,
 Помирать за деньги молодым.

15.06.2014 г.

A-V-A

Словечки

На жёлтых, как свет керосиновой лампы,
 Страницах блокнота рисую словечки.
 Я видел: такие лежали у рампы...
 Играясь, бросают туда человечки...

Корявые, ровные... разного роста...
 То рыхлым выходит, то словно из стали.
 То в старенькой шали... плюгавой,
 неброской...
 Но втянешь губами и давние дали

Простором окатят...ковшом
 местечковым...
 Под «ложечкой» хлопнет от пёсего рыка...
 Бежать! Ну, куда уж?! Рисуй
 бестолковым —
 В руке твоей всадник и выппел
 на пике...

И девушка Роза на пышных перинах,
 Читает с трудом завиточки Корана.
 И ей недоступно всё то, что в глубинах...
 Аллах с ней... Вот двое... стоят у фонтана,

И взгляды бросают сквозь вееры
струек.

Она — в безупречном французском
наряде.

И шляпка, и платье и «женская сбруя»,
А он — не гусар, но при полном параде...

И плавает в чаше фонтана словечко:

Одно для двоих... кто-то должен...

смелее!

Оно заблестело! Алмазом! Колечко.

И двое ушли по тенистой аллее...

Уже не рисую... пишу троеточье...

Квадратней Малевича будет картина.

Всё белые... белые... белые ночи...

И жёлтая лампочка... от никотина...

04.07.2014 г.

A-V-A

Взгляд был — шок

Взгляд печальный и тонкие руки,

Что ладони прижали к лицу,

Отодвинул и мысли, и звуки

Барабанные... бились жрецу:

В Петропавловке праздник народов.

Незнакомка... глаза васильки...

Перманентные** губы... порода...

Блузка, шорты, цветные чулки —

Словно из позапрошлого века...

Так знакома мне эта печаль.

Подошёл... завыванье «ацтека»,

Отодвинуло к чёрту мораль

И порядковый хлам этикета.

Взял «под ручку» и вывел к реке.

«Шаркал ножкой» и в званье «поэта»,

Приложил поцелуйчик к щеке.

Взгляд был — шок... голосок —

удивлённый...

«Охмуренье» вложил в полчаса...

И какое-то время влюблённый,

Я безбожно творил чудеса...

09.07.2014 г.

A-V-A

* Перманентный макияж (или татуаж) вошел в моду не так давно — не более десяти лет тому назад.



ИРИНА ГОРБАНЬ

г. Макеевка

*Вне закона*

Господи, спаси во все века
Землю,
Воду,
Небо
И ребёнка,
Чтоб Тебя никто не упрекал,
Что равняешь под одну гребёнку
Сёла,
Веси,
Страны,
Города
И не ведаешь, что жизнь
Вторична,
Сатана людей давно продал,
Продолжая бред нести
Публично.
Господи, спаси и сохрани
И траву,
И каждую икону,
Отведи от лжи и болтовни
И воздай возмездье
По закону.

Стонет Славянск

Взрывы по городу вражь,
Боль прошибает по душам,
В СМИ это нам не покажут,
Не разрешат и послушать.
Это не для слабонервных...
Это — война за свободу.
Выстрел последний, как первый,
Прежней Державе в угоду.
Шаг из подвала — смертелен,
А до подвала — ни шага.
Кровь на разорванном теле
Двигаться в подпол мешала...
Всё ни к чему. Всё — пустое.
Жизнь и победа — вне правил.
Стонет Славянск. Громко стонет

В грязной военной канаве.
Это по СМИ не покажут.
Это стреляют по душам...
Мальчик в агонии скажет:
— Слушай, Вселенная! Слушай!..

Че-ло-век

Взгляд сквозь чужой глазок,
Вдох через дымоход...
Вот бы ещё разок
Встретить родной восход...

Только чужая боль
Впитана в кровь навек.
Хочешь пожить? Изволь!
Правильный че-ло-век.

Только не оступись,
Если идёшь вперёд.
Жизнь — это только жизнь.
Кто её отберёт?

Продолжая линию

Нареку себя новым
и - менем,
На руке дорисую
ли - нии,
Дорогой Хиромант,
про - сти меня —
От действительности
за - клинило.
Вижу линию жизни
ку - цую —
Коротышка, а жить
так хо - чется,
Всё сложилось не по
Конфу - цию —
Сволочь линия — как
проро - чица.

А вокруг всё дожди
со - пливые,
Под ногами земля
кро-вавая,
Ветке мира не стать
о-ливою,
Быть оливе петлёй
ко-рявою.
Стало быть, я смирюсь
с судь-биною,
Хиромант, ты был прав:
мой
прой-ден путь.
Буду жить на земле
Ря-биною
И попробуй тогда
Ме-ня спугнуть.

Встреча с дедом...

*Максиму Петрухину (г. Макеевка)
посвящается*

Помнишь, дед, красивые рассветы,
Тёплый дождь и росы, словно мёд?
А закат, Есениным воспетый?
Помнишь, ты сказал, что не умрёт

Та земля, что подарила миру
Маму, папу, а затем — меня?..
Для меня всегда ты был кумиром,
Я — всегда был искрой от огня.

Ну, узнал? Да это я — Серёга!
Сколько зим! А, стало быть, снегов!
Это — рана. Ты её потрогай, —
Я сегодня был среди врат.

Кто сказал, что смерть похлеще жизни?
Кто сказал, что это навсегда?
Предпочтенье отдаётся тризне,
Только тризна — это ерунда.

Знаешь, дед, я был убит за волю
(Ты ведь этому меня учил?)
Говорил, что я «корёл»! «соколик»!
И от неба подарил ключи.

Дай ладонь. Я прикоснусь щекою.
Мы — вдвоём, а под ногами — все...
Я тебя, как в детстве, успокою:
Побежали в небо по росе!..

Звонок последний

Мне молитвы в этот день запрети,
И не дай уйти в себя без причин,
Встань огромною горой на пути
И со мною, милый друг, помолчи.

А когда придут в твой дом холода,
Я возьму в ладони руки твои
И от грусти не оставлю следа,
Только душу мне свою отвори.

Колокольным звоном полнится ночь,
Жизнь калачиком свернулась у ног...
Как в себе последний вздох превозмочь,
Если ждёт тебя последний звонок?..

Даты...

Это не та планета,
Воздух не тот и ветер,
В саван Земля одета
И не смеются дети...

Это не те рассветы —
В них ничего от мира —
Песни земные спеты,
Флаг до бела застиран.

Под ноги брошен вызов
Не потому, что ближе, —
Неба скупой огрызок
Новых клиентов «лижет».

Гул колокольный замер,
Словно в строю солдаты.
Горе перед глазами,
А на надгробьях — даты...

На краешке

На краешке перистых облаков
Расположился порицатель АДА,
Не узнавая в людях земляков,
Решил, что с этим делать что-то надо.

Ещё Голгофу? Может, Страшный суд?
Открыть Врата, позвав Петра в подмогу?
А в микрофоны ерунду несут,
Тем самым пробивая в АД дорогу.

И нет тому ни края, ни конца,
Но в Божьей власти перекрыть навеки
Дыханье неразумным мудрецам
И вспять вернуть разлившиеся реки.

Сюрреальность

Такое не приснилось бы Дали:
Не кавардак, а чехарда с копейку —
С высот небесных прямо под Олимп
Маршрут протянут под узкоколейку.

Там спозаранку шум и кутерьма,
«На брудершафт» решаются проблемы,
По ком сума, по ком скулит тюрьма —
Пока не ведают. И в том дилемма.

В калейдоскопах пазлы соберут
Забавных дней. И слышится в народе:
— По ком колокола сегодня врут?
И где сюрреализм, негодник, бродит.

А что Дали? Ему ли быть средь нас?
Он — тонкий классик. Значит —
недоступен.

Кому Олимп, кому — святой Парнас,
Едино всё: толочь проблемы в ступе.

Жизнь определяет «третий»

Ни калина в саду,
Ни берёза у старого дома
Не заплачут по мне,
Если я на мгновенье уйду,
И к большому стыду
Не узнаю двух старых знакомых,
Разделив по шкале
Два понятия «враг» или «друг».

Далеко над землёй,
У границ двух отважных столетий,
Ни тропинки, ни зги,
Лишь одна на века пустота;
Управляет ладьёй
Незнакомец по имени «третий»,
Промывая мозги
Всем, кто в рост над землёю восстал.

Я дорогу ищу:
Мне бы только калины коснуться,
Мне бы знать наперёд,
Что домой есть иные пути,
Но себе не прощу
Шанса — в небе однажды проснуться,
Зная, «третий» мне врёт,
Что дороги домой не найти.



БАХ АХМЕДОВ

г. Ташкент



Диалог

Одна гора говорит другой:
«Мне до неба подать рукой.
А тебе, подруга, — конечно, прости, —
Еще веков двадцать пять расти».

Другая гора говорит ей в ответ:
«Зато во мне живет человек.
И небо живет у него внутри...
Так что гордыню свою усмири!»

А человек услышал их спор
И тихо сказал: «Все это вздор...»
И обе горы замолчали, когда
Из скал заструилась живая вода.

Разумеется, сон непрочен...
Разумеется, мир неточен.
И надежды рисунок зыбок.
И любовь — это клад ошибок.
Разумеется, мир двоится.
Разумеется, он нам снится.
Только что из того? Мы верим,
что однажды откроем двери...
А за ними — светло и тихо.
И табличка в полнеба: «Выход»,
Разумеется, сон прервется...
Но пока не устал он длиться,
пусть восходит надежда солнцем,
согревая сердца и лица.

Иногда мы нужны друг другу.
Иногда мы нужны себе.
Иногда мы — момент испуга
и провалы в своей судьбе.

Но порою, устав от роли,
наплевав на притихший зал,
мы уходим навстречу Боли,
чтоб увидеть ее глаза.

Каждый шаг — по осколкам острым.
Каждый шаг, словно в сердце — нож.
Обретать свою суть непросто,
если ты на других похож.

Пусть кликуши кричат в партере...
Пусть отныне ты одинок.
Нужно просто идти и верить,
что в руках тебя держит Бог.

Я странный человек, живущий тем,
что сам себя не знаю я совсем.
Но может, в этом и таится суть:
себя найти и время обмануть.

Всю жизнь иду к себе, за шагом шаг.
И проступает медленно душа,
как сквозь туман — неясный силуэт,
хранящий чистоты далекой свет.

Но как мне совладать с попыткой снов
размыть во мне границы всех основ,
и поселить мучительно и странно
другое имя, что болит, как рана...

Пускай обида обернется
неотчуждаемой судьбой.
Вслед за дождем приходит солнце
и в мудрость превращает боль.

Нас обнажает наша радость,
а грусть дает возможность ждать
переходящую награду —
свое присутствие понять.

И звезд холодное величье
порою лучше, чем бальзам.
Любой из нас бывает притчей,
без слов понятной по глазам.

Мы росли сквозь горькие потери...
Прорастали сквозь чужие смехи.
Переменный мир гудел за дверью,
щелкал наши души, как орехи.

Мы же все гадали по ладоням.
Говорили: линии сойдутся
там, где племя новое, младое
вырвется из рухнувших конструкций.

А младое племя не желало
быть молодым, и вместо нас старело.
Времени серебряное жало
вектором отравленным блестело.

Что нам оставалось? Жить за скобкой,
не меняя оптику надежды...
Находя извилистую тропку
к высоте, чей опыт неизбежен.

...А может, хватит, может, хватит
делить всю жизнь на явь и сон?
Мы все по сновиденьям братья,
тем паче, те, кто был влюблен.

Граница эта так условна!
И все-таки, она страшит.
И мы цепляемся за слово
усталой памятью души.

Одно нечаянное слово –
былинка, облако, мираж!..
Но кто-то нас рисует снова,
ломая хрупкий карандаш.

А в этих линиях летящих
запрятан где-то, может быть,
наш сон, в судьбу переходящий,
или бегущий от судьбы...

Поделись со мной, ласточка, воздухом
и свободой своих чертежей.
Словно эхом счастливого возгласа,
что сильнее любых рубежей.
Поделись со мной росчерком радости,
и пространством своим поделись.
Пусть летит в пустоте безоглядная
эта странная линия-жизнь.
Пусть меняется, мечется, прячется
в облаках неотступного сна.
О какое смешное чудачество:
обнажать свою нежность до дна!..
Поделись со мной, ласточка, звездами...
И надеждой своей поделись.
И предзимним разреженным воздухом,
растворяющим странную высь.

И яндекс бессилён, и индекс
уже ничего не решит.
Но что-то нечаянно выдаст
последнюю пристань души...

И сразу — слова во спасенье.
И сразу — строка за строкой...
Но все превращается в тени
на фоне надежды пустой.

А где-то пространство бормочет
на звездном своем языке
о странной судьбе многоточий
в прострелянной болью строке.

О том, как спасает нас имя...
Спасательный маленький круг.
О том, как остаться живыми
на фоне вселенских разлук.

Ефим Роговер
(Россия, г. Санкт-Петербург)

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

(Литературный портрет писателя)

Среди мастеров «женской» прозы видное место занимает Людмила Стефановна Петрушевская, яркий драматург и интересный прозаик.

Она родилась в Москве 26 мая 1938 года. Ее дед (Н.Ф. Яковлев) был известным лингвистом. Родители ее матери были репрессированы, и после этого отец ушел из семьи. Мать училась в ИФЛИ (Институте философии, литературы и истории). Детство будущей писательницы было трудным, исполненным лишений. Пришлось испытать полуголодное скитание по родственникам. Жить в детском доме под Уфой в годы войны, почувствовать тяготы послевоенных лет.

Тем не менее, девочке удалось поступить в Московский университет, на факультет журналистики, и в 1961 году его окончить. «С гитарой и десяткой в кармане» довелось «покорять целину». Затем работала корреспондентом московских газет, сотрудницей разных издательств, трудилась на радио и телевидении. Сочиняла стихи, писала сценарии для студенческих вечеров, ранние произведения попадали «в стол». В большую литературу пришла сравнительно поздно.

Только в 1972 году были опубликованы в журнале «Аврора» два ее рассказа: «История Клариссы» и «Рассказчица». Первый из них был интересен прослеживанием судьбы самого обыкновенного, по-своему заурядного человека, школьницы в очках, которая, как пишет автор, «была достаточно примитивным созданием» и плыла по течению жизни, слабо ориентиру-

ясь в том, куда несут ее волны и какое положение в суровом мире она занимает. Последовательно переживает она три замужества, последнее из которых приносит ей удачу и видимость счастья. Примечательна в рассказе была ассоциация героини с Клариссой Гарлоу из романа С. Ричардсона, хотя судьба русской девочки сложилась отнюдь не трагично, как у ее английской тезки, а также сравнение Клариссы из рассказа с персонажами Ш. Перро и Г. Андерсена — Золушкой и Гадким утенком. Здесь сказался первый опыт Петрушевской в использовании приема, который позже будет назван интертекстуальностью. В центре внимания автора — носительница «простой души», и Петрушевская создает тонкую психологическую зарисовку метаморфоз своей героини и тех ситуаций, в которые она попадает. Нечто родственное встречаем мы в рассказе «Через поля», где передавалась случайная встреча двух молодых людей, возможно, созданных друг для друга, но разошедшихся по своим дорогам по причине сложившихся обстоятельств. Публикация первых рассказов оказалась незамеченной, хотя А.Т. Твардовский, которому писательница принесла впервые эти ранние произведения, остановил на них свое цепкое внимание.

Некоторое время Петрушевская входила в состав Московской студии молодых драматургов, которой руководил А. Арбузов (начало семидесятых и восьмидесятые годы). Здесь проявился обостренный интерес молодой

писательницы к театру и одноактной пьесе. Пройдет определенное время, и Петрушевская станет неформальным лидером «новой волны» в нашей драматургии 70-80-х годов.

Она создает одноактные пьесы «Уроки музыки», «Чинзано» (1973), «День рождения Смирновой» (1977). Ряд таких пьес она объединяет в циклы. Так появляется «Квартира Коломбины», цикл, вобравший четыре одноактных пьесы: «Лестничная клетка», «Любовь» (обе 1974), «Анданте» (1975), «Квартира Коломбины» (1981). Затем формируется новый цикл «Бабуля-блюз», объединивший уже пять одноактных пьес: «Вставай Анчутка», «Я болею за Швецию» (обе 1977), «Стакан воды» (1978), «Скамейка-премия» (1983), «Дом и дерево» (1986). Возникает и многоактная пьеса Петрушевской — «Сырая нога, или Встреча друзей» (1973-1978). К ней присоединяется «большое» драматургическое произведение «Три девушки в голубом» (1980).

О чем рассказывали эти произведения?

В пьесе «Любовь» изображалась супружеская пара, вернувшаяся из ЗАГСа в свою обставленную мебелью квартиру. Но эти молодожены начинают понимать, что они совершенно чужды и неинтересны друг другу. Они приходят к решению разойтись, но вместо осуществления задуманного, ведут утомляющие их бесконечные разговоры и продолжают оставаться вместе.

В комедии «Анданте» персонажи носят диковинные имена (мужчина — Май, а женщины — Ау и Бульди) и произносят не менее странные слова, вроде «метвицы», «бескайты», «пулы», «чуртхелла», образующие словесные абракадабры, осложняющие их понимание друг друга, и без того довольно затруднительное.

В пьесе «Стакан воды» изображаются женщины разных поколений, каждая из которых переживает беспросветное одиночество, а столкновение их усугубляет и обнажает безысходность их жизни.

В «Чинзано» трое мужчин проводят время за продолжительной выпивкой и достаточно прозаическими разговорами о семейных неурядицах, квартирных обменах и мелких долгах, хотя собравшиеся относятся к научно-технической интеллигенции. Но за суетой застолья и разговорами об алкоголе и бутылках стоит человеческая драма: у одного из собеседников в кармане лежит извещение о смерти матери. Ему бы следовало спешить на последнее прощание с той, что дала ему жизнь, но деньги пропиты, и мысль о долге и безденежье не дает покоя.

В пьесе «Три девушки в голубом» романтическое и живописное по своему характеру название резко противостоит содержанию, в основе которого лежит борьба за дачу и земельный участок трех женщин, ведущих утомительные словесные препирательства. История притязаний на долю в полуразвалившейся избе осложняется недолгим увлечением одной из героинь женатым мужчиной, из-за чего ею забыты и больная мать, и нездоровый ребенок. Казалось бы, скучная проза овладела душами женщин. Но не зря пьеса ориентирована на чеховских «Трех сестер»: в «Трех девушках» тоже звучит тема нереализованных надежд, мечтаний о высоком, преодолении обыденного. Героини Петрушевской тоже способны грезить о своей «Москве», подняться над тоскливыми обстоятельствами жизни и вырваться за границы того, что уготовано судьбой. Им вторит в пьесе нежный голосок ребенка, повествующего свои светлые космические сказки.

Но эти пьесы Петрушевской были решительно отвергнуты государственными театрами и не допускались на сцены суровой цензурой 70-х годов. И тогда на помощь молодому драматургу пришли самодеятельные студии, «домашние» и клубные театры, полупрофессиональные сцены. Пьеса «Уроки музыки» была поставлена Р. Виктюком в студенческом театре МГУ и в театре-студии Дворца куль-

туры «Москворечье» (где почти сразу была запрещена). Одноактную пьесу «Любовь» в 1981 году поставил Ю. Любимов в Театре на Таганке в составе трех коротких пьес. Комедия «Стакан воды» ставилась в 1983 году в малоизвестных московских театрах. Пьеса «Чинзано» демонстрировалась только нелегально — в Таллинне и в студенческом театре «Гаудеамус» во Львове.

Пьеса «Надежды маленький оркестр» была поставлена А. Володиным и С. Злотниковым. Спектакль по пьесе «Квартира Коломбины» был осуществлен в театре «Современник» О. Ефремовым в 1985 году, принеся Петрушевской всеобщее признание. Когда М. Захаров решил поставить пьесу «Три девушки в голубом» в Ленком, ему пришлось представлять пьесу цензуре пять раз. С нее началось движение Петрушевской в сторону пост-модернизма.

В печати пьесы драматурга появились лишь в следующем десятилетии. В 1980 году вышел сборник одноактных пьес «Озеленение»; в 1983 году в альманахе «Современная драматургия» была напечатана пьеса «Три девушки в голубом». В 1988 году вышел сборник «Песни XX века. Пьесы»; в 1989 г. — сборник пьес «Три девушки в голубом» (сюда вошли «Уроки музыки», «Сырая нога», «Чинзано», «День рождения Смирновой», «Бабуля-блюз»).

Широкое признание сказалось в том, что Петрушевская была принята в члены Союза писателей СССР. В 1984 году в Лос-Анджелесе мультфильм Ю. Норштейна по сценарию Л. Петрушевской — «Сказка сказок» — был удостоен премии Гран-при. В 1991 году писательница стала Лауреатом Пушкинской премии фонда А. Темфера, чуть позже — лауреатом премий журналов «Октябрь», «Новый мир» и «Звезда».

В 90-е годы Петрушевская после некоторого перерыва возвратилась к драматургии. Она вновь пишет одноактные пьесы — «Что делать?» (1993),

«Опять двадцать пять» (1993), «Мужская зона» (1994).

В последней из них автор обращается к постмодернистской форме искусства и осуществляет перестройку классических текстов Шекспира и Пушкина, а также деконструкцию имиджей реальных исторических лиц (Бетховена, Ленина, Эйнштейна, Гитлера), сделав их узниками закрытой зоны и участниками спектакля за колючей проволокой. В заглавие пьесы вводится название книги С. Довлатова «Зона», имеющее расширительный смысл. Петрушевская показывает, как в лагерной зоне осуществляется изоляция от мира, отсутствует свобода, царит насилие над личностью. Ставится спектакль «Ромео и Джульетта», в котором участвуют эски Ленин (он изображает Луну), Бетховен (он исполняет роль Джульетты), Эйнштейн (он должен играть роль Ромео) и Гитлер, исполняющий роль Кормилицы. Режиссура принадлежит лагерному Надсмотрщику, который спит во время репетиции. Исползованный Петрушевской прием триколажа помогает ей создать абсурдистское, балаганно-буффонадное представление. Репетиция становится жуткой пародией на классическую постановку, а пьеса в целом — вызовом насилию и подавлению свободы.

Своеобразием драматургии Петрушевской в целом является установка автора не на описание событий, а на раскрытие личности, оказавшейся в самых неожиданных ситуациях. Драматург нередко показывает безысходность и абсурд быта «маленького человека», мир которого двухмерен, замкнут и лишен духовной вертикали, этого третьего измерения. По словам литературоведов Н. Лейдермана и М. Липовецкого, «драматическая ситуация у Петрушевской всегда обнажает искаженность человеческих отношений, особенно в семье или между мужчиной и женщиной, ненормальность и патологичность этих отношений неизменно приводит ее персонажей

к отчаянию и чувству непреодолимого одиночества». Но в финалах пьес автора нередко происходит преобразование действующих лиц и превращение их в своих антиподов. В драмах и комедиях Петрушевской осуществляется чередование реального и ирреального, подлинного и абсурдного, бытового и фантастического. Но нередко эти начала соединены автором в чудесный, нерасторжимый сплав. Мы порой даже не замечаем, как реалистическая ткань пьесы Петрушевской «повертывается» своей сюрреалистической подкладкой.

Автор по-своему наследует чеховский драматургический принцип: ее герои на сцене живут в привычных жизненных обстоятельствах: едят, пьют, разговаривают о незначительном, а в это время слагается их счастье и разбиваются их сердца. Так происходит в пьесах «День рождения Смирновой», «Чинзано», «Уроки музыки». Пьесы Петрушевской строятся на напряженном диалоге, в котором бытовая речь сгущена и сконцентрирована, насыщена лексикой улицы и толпы и как бы воспроизведена на магнитофонной пленке. Но эта стихия устного языка причудливо соединена с книжно-газетной фразеологией, что делает драматическую речь уникальной по своей выразительности.

В 1991 году Петрушевская прочла в Гарварде лекцию «Язык толпы и язык литературы», где обосновала принципы обогащения языка своих произведений и остановилась на категории ужасного в литературе, значимой в ее пьесах. В 1993 году она прочла в Гарварде вторую лекцию — «Язык Маугли», где остановилась на теме семьи, трактуемой в ее произведениях, семьи «кривой», а любви трагичной.

В 1996 году вышло Собрание сочинений Л. Петрушевской в пяти томах. Стало очевидным, что автор давно рекомендовала себя как блистательный мастер прозы.

Вслед за первыми рассказами 1972 года, в той же «Авроре» писательница публикует рассказ «Сети и ло-

вушки» (1974), в котором героиня повествует о том, что произошло с нею в двадцатилетнем возрасте, когда она приехала с Дальнего Востока в незнакомый город, где стала женой будущего аспиранта. Автор рассказа сосредотачивает внимание на двусмысленном положении повествовательницы, оказавшейся в доме матери мужа. Ситуация — вот то, что более всего заинтересовывает здесь Л. Петрушевскую. Она предлагает читателю заявку на нечто большее, чем это происходит по ходу разворачивающегося сюжета, и озадачивает концовкой, не оправдавшей ожиданий. Все ограничивается бытом, лишенным того возвышенного или трагического начала, на которые читатель рассчитывает. Так происходит не только в «Сетях и ловушках», но в рассказах «Удар грома», «Бессмертная любовь», «Элегия», «Темная судьба». Мы чувствуем, что героям этих новелл хочется преодолеть вязкую тину быта, прорваться сквозь его толщу, но это им не удается. Поэтому персонажи этих произведений живут и внешним существованием, погруженным в быт, и внутренней жизнью, обращенной к широкому и вольному бытию. И нам необычайно интересно следить за этим непрекращающимся борением двух разнородных начал, за этими судьбами героинь, столь конкретными и в то же время в чем-то похожими. Ведь они чаще всего завершаются тупиком, одиночеством, несвободой, хотя в душе героев этих рассказов живет неприятие мрачных сторон существования, отторжение от суеты и тоскливых неурядиц, властное тяготение к подлинному, а не мнимому счастью.

Так, в рассказе «Бессмертная любовь» женщина переживает рождение ребенка-инвалида, измену любимого человека, безумие матери и, словно желая освободиться от всех этих тяжелейших испытаний, героиня (Лена) исчезает из своей семьи и на семь лет уезжает в другой город. Хотя название произведения звучит патетично,

но возвышенность быстро снимается автором и никакой «бесмертной» любви героиня не обретает. В рассказе «Дитя» повествуется о преступлении молодой женщины, которая своего новорожденного младенца «похоронила» близ роддома, заложив его камнями. Но автор сосредотачивает свое внимание не на этом варварском поступке и не на мотивах, приведших женщину к преступлению, а на реакции окружающих людей, за которой стоит очевидное равнодушие. Новелла «Страна» изображает одинокую женщину-алкоголичку, которая пьет на виду у своей дочери, играющей на полу со своими ветхими игрушками. Но каждое утро женщина отводит девочку в детский сад, заранее приготовив для этого ее скромные вещички. И никто — ни соседи, ни яркий, но жалкий блондин, отец этой девочки — не знает, как живет эта пьющая женщина, как она считает каждую копейку и какие божественные сны она видит, попадая в некую страну, где ей так тепло, сытно и привольно. Петрушевская не делает широких обобщений, довольствуясь нарисованной ею картиной. «Тайна дома» — так называется очередной рассказ автора. На первый взгляд, тайна состоит в том, что это шершни издают столь загадочные звуки, слышимые в доме. Но более глубокий смысл, заключенный в названии, состоит в разрушении добрых, подлинно человеческих отношений между людьми, живущими здесь.

Рассказ «Рука» объединяет реальное и ирреальное содержание. Полковник, похоронивший жену, теряет свой партбилет. Во сне пришедшая к нему умершая жена сообщает о том, что билет он уронил, когда целовал ее в гробу. Следует откопать гроб, открыть его, найти там утерянное, но нельзя снимать покров с ее лица. Герой поступает, как повелела жена, но не удерживается и снимает покров. Вскоре в лесу у костра он видит свою жену, которая сетует на поступок мужа. «Теперь у тебя отсохнет рука», — говорит она. И дей-

ствительно, когда полковника находят у могилы жены лежащим без сознания, обнаруживается, что его рука повреждена и, вероятно, скоро отсохнет. Этот рассказ предвещает переход Петрушевской к новой, так называемой «другой» прозе.

Для этой разновидности прозаического творчества характерны следующие особенности: отсутствие дидактики и наставительности, «указательного перста» и учительства по отношению к читателю; непривычный уровень правды, характерный для таких писателей, как В. Пьецух, Т. Толстая, Е. Попов, В. Сорокин, Д. Пригов; установка на игру и передача игровых форм жизни; раскрытие абсурда, обнаруженного в действительности и основанного на нарушении жизнеподобия, смещений реальных плоскостей; интерес к ситуациям, в которых оказываются герои; литературность персонажей и традиционность сюжетов («История Клариссы», «Теща Эдипа», «Карамзин», «Новые Робинзоны», «Медея», «Новый Гулливер»).

Этой прозе присущи также аллюзии на мифологические и фольклорные образы; реабилитация быта и прозы жизни; повышенный интерес к судьбе «маленького» человека; запечатление гула и языка улицы; раскрытие ужасов, злобы и грязи жизни; шоковая терапия при помощи слова; повышенное внимание к теме судьбы, рока, предопределенности поступков; интерес к мистическим случаям, таинственным встречам, ранним смертям; уход героев в «божественные сны», прекрасные мечты, полуфантастический рай, иллюзию счастья, миражи благополучия («Мост Ватерлоо», «Страна», «Бог Посейдон», «Два царства»); разработка категорий трагического, страшного, ужасного; разобщенность, изолированность персонажей; превращение диалогов в слабо связанные между собой монологи («Изолированный бокс», «Свой круг»); гротескность образов («Роза», «Сны одиноких душ»).

Так, в рассказе «Медея» античный сюжет об убийстве женщиной собственных детей на глазах мужа (из глубокой ревности) перенесен в современность. Но читателю остается неясным, идет ли речь о кровосмешении или об особой привязанности отца к дочери. Эта непроясненность и возможность различных осмыслений конфликта сказывается на структуре рассказа и на его финале, при котором гибнет дочь, мать теряет рассудок, а муж обречен на терзания.

В «Новом Гулливере» повествование ведет прикованный к постели мужчина, которому кажется, что его окружают бесчисленные лилипуты, крадущие у него еду и лекарство. Но в финале рассказа в лилипута превращается сам герой. Рассказ «Новый Фауст» переносит соглашение героя и Мефистофеля в наше время. В новых обстоятельствах герой обращается к носителю зла не с требованием удовлетворять его жажду познания, а с желанием стать известным читателям и получать телесные наслаждения. Очевидна моральная ущербность главного героя, хотя он склонен прикрыть свои сексуальные устремления высокими тирадами. Союз писателей, куда попадает новоявленный Фауст, весьма похож на отделение ада, тем более, что вход в него доступен лишь причастным к греху. Деревенский дневник, носящий название «Карамзин» (1994), обнаруживает намерение Петрушевской воскресить традиции русского сентиментализма. Карамзинские сюжеты она весьма своеобразно наполняет реалиями современного быта. Так, «Бедная Руфа» Петрушевской, желая достать бутылку водки, спрятанную от мужа, тонет в бочке с водой. «Новые Робинзоны» — любопытный вариант антиутопии, стремления убежать от цивилизации в природу. Для этого семья горожан уезжает в глухую деревню, где оказывается в положении первобытных людей, вынужденных осваивать земледелие и разведение коз, чтобы в итоге оказаться в полной

изоляции от людей и большого мира и отказаться от любых эстетических переживаний и наслаждения красотами природы. В «Песнях восточных славян» (1991), ориентированных на «Песни западных славян» Пушкина, изображена женщина «низовой» культуры, которая полна веры в чудеса и тянется к «московским слухам» об оживших мертвецах, об умершей жене, превратившейся в кошку, и другим подобным историям. Рассказ полон литературных мистификаций и пародийного смысла, речевых неправоподобностей и гротескных конструкций, голосов толпы и образцов советского новояза.

Постепенно Л. Петрушевская начинает объединять рассказы в циклы. Так возникает цикл «Монологи для театра», куда входят рассказы «Слабые кости», «Бал последнего человека», «Сережа», «Сети и ловушки». Цикл «Истории» объединяет рассказы «Козел Ваня», «Мост Ватерлоо», «Элегия», «Страна» и другие. Циклом становятся и «Песни восточных славян». Далее Петрушевская соединяет циклы в книги рассказов. Так появляются сборники «По дороге бога Эроса» (1993), «Тайны дома» (1995), «Реквиемы» (2001), «Богиня Парка» (2004).

Со временем Петрушевская обращается к крупной эпической форме. В ее творчестве возникают первые повести. К ним относятся «Смотровая площадка» (1982), «Свой круг» (1988) и «Время ночь» (1992). Эти произведения можно отнести к лучшим художественным достижениям писательницы.

В центре повести «Смотровая площадка» — новоявленный Ростиньяк, алчный и циничный, завоеватель большого столичного города, панорама которого открывается на смотровой площадке на Ленинских горах. Здесь хорошо видно, как город лежит у его ног, мирно помаргивая огнями; «все открыто завоевателю». Андрей (так зовут героя повести) готов производить «погрузку города полными вагонами — и все в себя, все в себя». Он

«надвигает» себя на город, поглощая его. Неприкрытый цинизм этого человека особенно явлен в его рассуждении: «мир населен педерастами и онанистами, а женщины все либо проститутки, онанистки и лесбиянки, либо старые девы...». Сейчас он занят «поглощением» преимущественно девиц и женщин. Перед ним (и перед читателем) проходит вереница жертв Андрея: матрона Соня, с ее «непередаваемой крупной грудью, с ее страхом и жадой»; Таня, «недосягаемо» прелестная и милая чудачка; Лидка, «проворная, легкая, нежная», «летающая как парусник»; Артемида, профессорская дочь, длинная, прекрасная и юная... Всех он приводит на смотровую площадку, всех их просит погладить его по голове. Со всеми проводит деловитые краткие встречи, проявляя «экономичность движений», демонстрируя отсутствие эмоций, неизменно воображая свое обладание их квартирами, мебелью и иными вещами. Ему хочется «переть на рожон», «как бы испытывая судьбу». В повести звучит мотив лермонтовского паруса, жаждущего ветра и борьбы. Энергия же Андрея уходит на обладание, покорение во имя последующего желанного покоя. Автор не разоблачает этого героя, Петрушевской достаточно лишь обнаружения его сути. Ведь смотровая площадка — это место, где не только он обзореваает и готовится к очередной победе, но где и его мы хорошо обзореваем, где видна его внешность, суть и подноготная.

Не менее интересна повесть «Свой круг». Здесь нарисовано сообщество сравнительно молодых людей, считающих себя интеллигентными, образованными, знающими жизнь. Они собираются по пятницам, чтобы предаться разгулу, вакханалии, грубым забавам и иным проявлениям свободы нравов. Они обретают в своем кругу чуждые роли, чтобы забыть о своей малозначительности и чтобы почувствовать себя на вершок выше того, чем являются они на самом деле.

Кто составляет этот «свой круг»?

— Андрей, по прозвищу и по сути «стукач». Стукачом он стал за включение его в атлантическую экспедицию. В свое время он был изгнан из «своего круга» за то, что заехал в пьяном виде в глаз Сержу, которого здесь считают личностью неприкосновенной. Был женат на Анюте, за которой трогательно ухаживал, пока она из-за болезни не могла рожать.

— Анюта, обладательница «ядовитой матки». Но поскольку она неожиданно родила, семейная идиллия ее прервалась. С этого времени у нее образовалось много приятелей, привлеченных ее свободой.

— Коля, муж героини повести. Тихий на людях, он дома грубо орет на сына Алешу и бьет его. Уйдя от повествовательницы, он становится избранником другой женщины, посещающей то же общество.

— Левка, «американский русский». Он уже год живет с закончившейся визой, скитается по частным квартирам и притонам, скрываясь от властей. «Случайно» лишил невинности Нинку, дочь министра.

— Ленка Марчукайте, «красивая девка» с бюстом пятого размера. В двадцать лет — «экспортный вариант». Исчезла, заняв деньги, но потом вернулась без четырех передних зубов. Бегала по разным притонам, хотя «существо совершенно холодное». Любит садиться на колени мужчинам. Играет в сексуальные игры «с большим хладнокровием».

— Надя, вторая жена Андрея. Восемнадцатилетняя нимфетка, «испорченная» школьница, рыжая, с «выпадающим глазом».

— Серж, считающийся гением за то, что вычислил принцип полета летающих тарелок.

— Таня, «валькирия, метр восемьдесят росту», чистит зубы три раза в день по 20 минут. Ее сын ползает по матери и сосет то одну, то другую грудь. О муже ничего не известно.

— Жора, отец троих детей, в «своем кругу» изображает ненасытного

эротомана, выкрикивает в форточку проходящим школьницам скабрёзные реплики.

— Рассказчица, неизлечимо больная женщина, человек жестокий и злой. Повествуя, она выписывает в собравшихся людях что-нибудь грязное, мелкое, низкое. Говорит окружающим гадости. Избивает на людях семилетнего сына за то, что он заснул на лестнице, будучи отправленным на дачу без ключа. Завистливая, расчетливая и пошлая особа. Устраивает спектакль во имя приобщения сына к этой компании, не думая о цене своей акции. Она должна бы знать, что в «своем кругу» не найдется жалости, доброты и участия к мальчику. Таков этот «свой круг», который Петрушевской не осужден, а лишь освещен. Читатели должны вынести свои оценки сами.

В повести «Время ночь», вошедшей в шорт-лист «Русского Букера», рассказ ведется главной героиней, Анной Андриановной. Она поэт, но ей приходится выступать со стихами в различных клубах, чтобы заработать деньги и прокормить внука, подброшенного ей беспутной дочерью. Она живет в страшной нищете, неустроенном быту, в обстановке растущей отчужденности от людей. Впрочем, она и сама сознательно рвет зыбкие нити, связывающие ее с внешним миром. От нее уходит муж, затем распадается оставшаяся семья. Мать — Серафима — больная и выжившая из ума старуха, страдающая манией преследования, отправлена в больницу для психохроников, а после закрытия последней на ремонт, ее направляют в интернат для психических больных, что означает для Анны потерю пенсии матери. Дочь Анны — Алена — любящая женщина, отдающая мужчине все без остатка, всегда остающаяся обобранной и оставленной. Она беззаветно предана Сашке, своему мужу, отцу Тимочки, но безраздельно принадлежит своему замдиректора по науке, от которого рождает толстую Катю,

а, возможно, и Колю, но возлюбленный женат и разводиться не собирается. Дочь уходит от Анны к своему мужчине, чтобы в свою очередь быть брошенной. Уходит от Анны и сын Андрей, спившийся, сломленный после тюрьмы человек. Требуется денег от матери, зол, обижен на жизнь и абсолютно никчемный. Рядом с Анной остается любимый внучек Тимочка, но, когда он оставляет ее, на долю женщины выпадает одиночество, неприютность, страдание. Время и сама жизнь кончается для нее. Рядом с ней только дневник и глухая ночь. Петрушевская дает понять, что трагическая разобщенность людей — порождена не волей отдельного человека, не холодностью чувств, а абсолютной замкнутостью людей и изолированностью их от жизни. Именно тогда и по этой причине наступает время духовного мрака — время ночь. Но остается дневник, дополняемый записями «у края стола». И остается внук, абсолютная ценность этого мира. Поэтому есть шанс одолеть безысходность, обступившую человека.

Тенденция прозы Петрушевской к крупной эпической форме нашла свое выражение и в появлении первого романа, причудливо названного писательницей так: «Номер Один, или В садах других возможностей» (2004). Существует определенное родство этого произведения с тем, что Петрушевская писала ранее: здесь снова ощущается тяготение к компьютерной игре, снова реальность и мистика накладываются друг на друга. Не случайно А. Латынина назвала этот роман «мистическим триллером». Он повествует о переселении душ, начавшемся в глухой тайге, там, где остаются еще люди уходящей цивилизации энты. Сюжет переселения воскрешает картину Ада, поэтому актуальными становятся реминисценции из гениальной поэмы Данте — «Божественной комедии». Осуществляя переход из «этого» в «тот» мир, герой романа выбирается из вечного льда и мрака, но попадает он не в Чи-

стилище и не в Рай, а на землю, чтобы пройти здесь новые, нам знакомые испытания. Ему предстоит пережить здесь немало страданий и преодолеть даже смерть, чтобы выйти победителем. Герою нужно столкнуться с характерным для земной жизни преступлением и наказанием, серией краж, орудованием бандитской шайки, главарем которой оказывается начальник института. Главный герой, однако, переигрывает этого главаря, наказывает своих убийц, возвращает похищенные деньги, находит средства для излечения больного сына и тем самым находит дорогу из посмертия в жизнь.

Роман Л. Петрушевской несколько схож с романом В. Сорокина «Лед». В этих созвучных произведениях родственным оказывается мотив переселения душ и тема преодоления льда. Но если в книге Сорокина живые становятся мертвыми, то у Петрушевской наблюдается иная метаморфоза: герой с игровым знаковым именем «Номер Один», пройдя через ледовую толщу, преодолевает смерть и рождается к жизни, обретая способность в ней действовать и быть свободным. Воскресают и умершие дети, внося в роман пафос светлого гуманизма. Одновременно завершается и компьютерная игра, введенная в структуру этого произведения. Приемы игровой поэтики позволяют автору заглянуть в глубины измененного сознания ее героев.

Но Л. Петрушевская проявляет себя не только как драматург и прозаик, пишущий для взрослых, но и как замечательный детский писатель. Она создала пьесы-сказки «Два окошка» (1975), «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает» (1975), «Золотая

богиня» (1986), киносценарий «Сказка сказок», «Лингвистическую сказку» «Пуськи бятые». В 1991 году вышла ее книга «Лечение Василия и другие сказки», в 1997 году — «Настоящие сказки», в 2003 году — «Дикие животные сказки», в 2008 году — «Загадочные сказки. Стихи. Пограничные сказки про котят».

Вот одна из них: «Жил-был будильник». Она о том, что ничего не надо откладывать на потом; о том, что никто не властен над судьбой; о том, что будильнику, задумавшему жениться, нужно было сначала выбрать невесту, а уже потом трезвонить об этом окружающим. Сказки Петрушевской вводят ребенка в волшебный мир чудес и приобщают к добру, погружают детей в игру и стимулируют их сочинительство.

А еще Людмила Петрушевская — замечательный поэт. В ее недавнем сборнике «Парадоски. Строчки разной длины» (2008) напечатаны короткие поэмы-истории, которые она назвала «Провенансы», и шуточные правила, по которым строится этикет и — шире — жизнь. Этот цикл стихов получил название «Парадоски». Автор пишет свои стихи в традиционной манере (с рифмами и нужным ритмом), и в свободной форме, называемой верлибром, а также скоморошным стихом старинного раешника. Вот один из примеров парадосок: «Золото — /это вечная боль серебра. Зло/есть начало добра. Слабость —/это самый сильный диктат. Стихи — /это с пропусками диктант».

Творчество Людмилы Петрушевской, как видим, очень разнообразно, необычайно интересно, глубоко поучительно и ярко талантливо.

Примечания

1. Громова М. Драматургия Людмилы Петрушевской // Громова М. Русская современная драматургия. М., 1999.
2. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 2-х т. М., 2009, Т.2. С. 610-625.
3. Прохорова Т.Б. Как сделан первый роман Л. Петрушевской // Вопросы литературы. 2008. № 1. С. 259-261.

*Наталья Менендес
(Россия, г. Кинешма)*

ПОТЕРЯЛА Я КОЛЕЧКО

(ПОВЕСТЬ)

*Посвящается памяти моей бабушки
Лебедевой Александры Степановны*

От автора

Как много общего в судьбах моих современников и тех, кто жил на нашей земле раньше. И главное — это умение выстоять в тяжёлых испытаниях, которые выпадают на долю почти каждого поколения нашей страны. Эти потрясения нашей Родины проходят через судьбу человека, и в личной трагедии так ярко проявляются все его душевные качества — всё, что характерно непростой русской душе.

Моя самая первая повесть «Потеряла я колечко» написана в память о моей бабушке и её многочисленной родне. Все мои родные по материнской линии были родом из деревни Починок и Велизанец Кинешемского района. В начале 20-го века они переехали в Кинешму и долгие годы работали на фабрике Коновалова.

Повесть основана на исторических фактах и воспоминаниях моих родственников, но не является документальным произведением.

Жизнь моей семьи во многом характерна и для других русских семей, которых опалила, ранила, оставив след на всю жизнь, Гражданская, Великая Отечественная война и другие потрясения, которые произошли в России и в мире.

История каждой семьи — это часть истории всей нашей страны. Любить и беречь свою Родину мы будем только тогда, когда будем знать свою историю, помнить о своих ошибках.

В центре повествования главная героиня — простая русская женщина со сложной драматической судьбой, пережившая трагические потери, но не растерявшая большой духовной силы.

Наш народ скрывает в тайниках своей духовной сути могучую энергию, которую только нужно умело использовать для созидания, а не для разрушения. А выстоять нам может помочь только любовь — всеобъемлющая и милосердная!

Эта повесть о любви, которая является стержнем и сущностью человеческого бытия.

У околицы слышались призывные разливы гармонии. Уходящее солнце на прощание взмахнуло розовым шарфом и прихлопнуло его в узкой дверной щели горизонта.

Шура торопливо поправила косынку на плечах и откинула назад длинную русую косу.

— Шурка — кошка, ты куда намылилась? — притворно сердито сказала ее мама.

— Мама, ну что вы ругаетесь, я все уже сделала, сегодня же праздник.

— Ну ладно, беги, только чтобы Дуняшка за тобой не увязалась, ей еще рано ходить по вечёркам.

— Да на что она мне сдалась, я пойду с Дашуткой Голубевой.

— И что ты себе за подругу нашла, они, чай, считают нас неровней, у них ведь купеческие замашки.

— Ха, неровня, они Голубевы, а мы Романовы.

— Романовы-то, Романовы, но ведь не родня царю-батюшке.

— А как знать!

— Ох, дура, ты дура! Довеселишься, отец-то тебе даст деру.

Шура весело чмокнула мать в щеку.

— Не даст, тятя меня любит.

Она выскочила на улицу через задний двор и быстро зашагала по направлению к высокому новому дому с резными наличниками. Из окошка уже выглядывала ее подруга.

— Ну, ты чего как долго, я тебя жду, жду.

— Да мама задержала.

— Пошли скорей, чай, уж все собрались.

И, словно в подтверждение ее правоты, от края деревни послышались звонкие девичьи голоса, выводившие веселые частушки.

Через несколько минут две подружки слились с этой веселой толпой.

— Смотри, смотри, — толкала ее Дашутка, — как твой дядька отплясывает, — ох, Шурка, до чего же он хороший!

— Ты чего?

— А что, только тебе можно влюбляться!

— А я разве влюбилась?

— Это и дураку понятно. Как к тебе Мишка Чумаков подойдет, ты аж в лице меняешься.

Словно услышав ее слова, к ним действительно подошёл красивый парень. Из под его щегольской фуражки выглядывал темно-русый с каштановым оттенком чуб. Пронзительно смотрели серо-голубые глаза, нагловатые и насмешливые.

Она не увидела, но почувствовала его присутствие, и сразу щеки ее покраснели яркой краской.

— Ага, — сказала подруга.

Шура сердито посмотрела на нее.

— Не буду, не буду, ладно уж.

— Разрешите присоединиться к вашей веселой компании, — сказал Мишка.

— Стой, место не купленное, — ответила за нее Дашутка.

Ох уж эти деревенские вечерки. Какой бы ни был тяжелый рабочий день, молодых трудно удержать дома. Даже те из девчат и парней, которым уже приходилось работать в городе на фабрике по двенадцать часов в день и проходить две длинные дороги пешком туда и обратно, хоть ненадолго, но заходили на этот пятачок у околицы.

А работать в городе приходилось почти всем семьям из деревни. Скудные земли Нечерноземья не могли прокормить крестьянскую семью на их крохотных наделах, а налоги за них приходилось платить слишком большие. Многие бы навсегда порвали свои связи с землей, ведь их земельный надел был для них разорителем, но это категорически запрещалось. Вот и приходилось отцу семейства и старшим сыновьям работать одновременно и в городе на фабрике, и дома в деревне. Иногда рук на обработку своей земли просто не хватало. Особенно тяжелыми были неурожайные годы, и тогда многие семьи полным составом уезжали вниз по Волге в более хлебобородные губернии, чтобы наняться в работники и как-то перезимовать.

Вот и этот год, одна тысяча девятьсот шестой, судя по всему, будет голодный. Но молодость в любое время остается молодостью, и в ней всегда есть место любви, мечте, надежде.

А проблемы? Пусть о них думают родители, которые, охая и кряхтя, укладываются спать, и перед сном обязательно, хоть парой слов, но обмолвятся о том, что придется нынче зимовать на чужом дворе, ведь дома до весны не продержаться.

Вечёрка постепенно затихала, небольшие группы или пары отделялись и расходились. Кто по направлению к деревне, кто к речке, кто к небольшой рощице у околицы.

— Шурка, пойдем, поздно уже, от родителей влетит и мне и тебе — тянула Шуру за рукав Дашутка.

— Барышни, разрешите проводить?

— Пойдем, кавалер, — хихикнула Дашутка и посмотрела на молчавшую подругу.

Дорогой разговорчивая Дарья трещала без умолка, к Шуриному дому подошли быстро, он был на краю деревни.

— Нет, так не пойдет, — затахтела Дашутка, — мамка моя всегда у окна дожидается, увидит — убьет, пойдёмте вместе.

— Ты — хитрюга, — сказала Шура.

— Она не хитрюга, а молодец, — одобрил Мишка и подмигнул Дашутке. Когда Дашуткин подол мелькнул в дверном проёме, они остались одни.

— Не торопись, — сказал Мишка, — пойдем погуляем.

— Домой надо, поздно уже — ответила Шура, но расставаться с тем, кто был ей действительно очень дорог, не хотелось.

Это было уже второе лето, когда рядом с этим видным парнем она чувствовала что-то неведомое и непонятное. Ее тянуло к нему, как магнитом, внутри ее все замирало и сверху что-то обрушивалось, отчего она становилась будто глухая. Рядом с ним она даже плохо понимала, что он ей говорит.

Миша чувствовал это, и ему было приятно. Шура ему тоже нравилась. Молоденькая семнадцатилетняя девушка, с волнистыми светло-русыми

волосами, с серьёзными, умными глазами, перед которыми он иногда даже робел. Всего две девчонки из их села были грамотными: Дашутка и Шура. Дарья — весёлая круглолицая девушка была полной противоположностью своей подруги. С ней не нужно было стараться быть умным, что не скажет — всё нравится. Засмеётся заливисто, засветятся серые глаза, и лицо, вроде и не такое красивое, как у Шуры, станет приятным и симпатичным. С ней просто и весело, да к тому же она из состоятельной крестьянской семьи, даже более богатой, чем у его отца. Шура из большой многодетной и среднеобеспеченной. Отец Шуры решил обучить дочку грамоте на удивление всему селу. Именно в школе, куда они вместе ходили, и подружались две совершенно разные и по характеру и по своему положению девушки. Мишке было интересно с ними. С ними он чувствовал себя совсем не так, как с другими девчонками из их деревни, которые не прочь были с ним погулять. Парень он видный, да и обеспеченный. Только зачем они ему, если есть Шура, правда, Дашутка тоже ничего, но все-таки Шура — это совсем другое дело.

Он не первый раз провожал ее до дома. Веселой компанией гуляли у реки, но остаться вдвоем надолго им не удавалось, всё время что-то, да мешало: то Дарья не уходит долго, то Шурин дядя Владимир пристанет к их компании, а то её брат — Александр. Иногда ненадолго уединятся на берегу, обнимет любимую и почувствует, как вздрогнет трепетное девичье тело, и тут же рядом или брат, или дядя. Будто стерегут. Сегодня, наконец, они были одни. Миша крепко сжал ее похолодевшую ладонь и потянул к реке. Шура, хоть нерешительно, но сопротивлялась.

— Мне ведь завтра вставать рано, отец хотел взять меня на фабрику, показать управляющему. Если не уедем на Низ, пойду работать вместе с ним.

— Шур, ну когда еще придется погулять, пойдем, — он решительно обнял ее за плечи. Ночь была тихой и светлой. Загадочно мерцала лунная дорожка на реке, у кромки воды и берега переплетались странные тени. Его жаркие губы обжигали ее и уносили в неведомые дали.

— Милая, милая, будешь моя и только моя, — шептал он. Никому тебя не отдам, а завтра папка сватов зашлет, куда ты не поедешь, ни на какой Низ, и на фабрику работать не пойдешь. Хозяйкой в доме, вместе с мамой, будешь.

К нежным цветочным ароматам примешивался запах полыни и ни с чем не сравнимый запах тела самого любимого человека.

Домой Шура пришла под самое утро, постаралась прошмыгнуть незамеченной, старательно припрятала нижнюю перепачканную юбку и переоделась в чистое.

Она не знала, заснула она или нет, но над ней стоял отец:

— Шура, вставай, пора идти.

— А, да, надо идти в город. А как же сваты, если ее не будет дома? — подумала она. — Но ничего, это ведь будет вечером.

Шура любила, когда отец брал её в город, а брал он ее нередко и за покупками, и в дни зарплаты. Потом, когда она сама будет жить в городе, поймет причину этого. Недалеко от фабричной проходной стоял трактир. Многие рабочие частенько заходили туда. Хлебнут рюмку водки после

тяжёлого трудового дня, вроде и легче становится. А налить водки могли и в долг до получки. Отец к числу таких мужчин не относился, но в день зарплаты редко кто проходил мимо, да и Шури́н отец боялся соблазна. Он думал, что ему легче будет отказать своим товарищам и обойти злополучный трактир. Отец не хотел тратить деньги на выпивку, ведь семья была не маленькой, и нужды было много. Шура рядом — есть уважительный предлог, и друзей не обидишь.

Идти было не близко, даже быстрым шагом около полутора часов. По дороге они всегда с отцом разговаривали, и Шура узнавала много нового о жизни в городе, о работе на фабрике, о городских, не привычных для деревенских жителей, обычаях. Отец говорил с ней, как со взрослой, и она этим гордилась.

Дорога сначала петляла среди полей и небольших рощиц, а потом, нырнув в лес, выходила из него только у самой Кинешмы, но Шура никогда не замечала этой длинной дороги, потому что не уставала любоваться этой удивительной красотой. И хоть люди проложили дорогу, но по сторонам её лес выглядел целомудренно-девственным. Вот наклонилась аркой тоненькая берёзка, словно открывала дверь в неведомое; сбились в стайку зелёные ёлочки; растопырила руки россомах — осина. Тихая музыка леса: и посвистывание, и постукивание, и шелест — расслабляла и уносила высоко.

Сегодня девушка ничего этого не замечала, в душе была какая-то тревога.

— Ты чего, дочка, грустная? — спросил отец.

— Нет, тятя, просто голова болит.

— Да в твои ли годы голове болеть, чай, не выспалась, прогуляла?

— Может и так.

— Ну, ладно, ладно, скоро уж придём.

Происходящее в городе не оставило у Шуры никаких воспоминаний. Мысленно она была далеко и очнулась только тогда, когда показались знакомые домики родной деревни. Дорога из города шла мимо Дашуткиного высокого дома. Проходя, они слышали звуки гармошки и громкие голоса.

— Что у них за праздник? — подумала Шура.

Дома с порога она спросила:

— Мама, а что за праздник у Голубевых.

— Ба, вот так подруги! Ты что и не знаешь? Сватовство у них.

— А кто сватается?

— Да кто может из нашей деревни, кроме Мишки Чумакова, да и то не совсем ровня будет. Нелегко придется парню.

Глухой стук упавшей сумки даже не проник в её уши. Она оцепенела.

— Шура да что с тобой дочка, — взволнованно спросила мать — а, неприятно, что подруга даже не сказала. Я ведь тебе говорила, что дружить вам не надо. Ну, да теперь дружба сама собой разладится, тем более что скоро уезжать.

«Скорей бы, — с какой-то безысходной тоской подумала Шура, — хоть не придется видеть их свадьбу».

— А на вечерку ты не пойдешь? — спросила мать.

— Нет, мама, я очень устала сегодня.

И снова у околицы играла гармонь. Но сегодня художник-закат прибавил к своей картине вызывающе яркие, багряные ляпки.

На берегу Волги у пристани толпился народ. Многие были целыми семьями, прихватив с собой самое необходимое из своего имущества — плетенные сундуки, мешки, котомки. Эта пестрота и скученность напоминали летние и осенние кинешемские ярмарки. Волнение то и дело пробегало по многолюдью. Ждали, когда объявят посадку.

Шура была абсолютно безучастна ко всей этой суете.

— Да что с тобой? — в который раз спрашивала ее мать.

— Мам, ну отстань ты от нее, не видишь, человек расстроенный, — сказал старший брат Александр.

— А чего ей расстраиваться?

— Кавалер женится на другой.

— А какой у неё кавалер? Что-то не припомню.

— Да что ты, мам, вся деревня знает, что сначала Мишка Чумаков за нашей Шуркой ухаживал.

— Да полно тебе ерунду то молоть. Чего можно ждать от этого ухажерства? Разные мы. Видишь, мы уезжаем, а они с Голубевыми остаются.

Из толпы послышался голос Дашутки.

— Шур, можно тебя на минуточку.

— Чего тебе? — не поднимая головы, сказала Шура, сразу по голосу узнавшая свою подругу.

— Ну, иди, скажу чего, — просяще, пискнула Дарья.

— Иди дочка, нехорошо, — послала мать, — может, она попроситься хочет, ведь все вместе бегали, дружили, хоть я и не хотела вашей дружбы.

Шура встала навстречу Даше, пробирающейся к ней из толпы. Подруга схватила ее за руку и потянула в сторону серого здания, у крыльца которого стояла скамейка. Шура села и обессилено прислонилась к стене.

— Ну, что тебе надо?

Дарья, наклонившись к ее уху, зашептала.

— Шурочка, родная, я ей Богу, не виновата. Родители приказали, куда мне деваться?

— Тебе приказали, а ему?

— Не знаю я. Я звала его попроситься, он не пошел. Струсил, наверное.

— Наверное, трусил.

— Ну, родненькая моя, ты ведь знаешь, что я тебя взаправду люблю и его мне и не надо совсем. И вообще, мне дядька твой, Володька Романов, люб. Думаешь, тебе одной плохо?

— Ну, чего уж теперь. Мы уезжаем, а вам к осени свадьбу играть.

— А когда приедете-то?

— Не знаю, весной, наверное. Я, может, и не приеду.

— Как не приедешь? Нет, уж ты не придумывай чего плохого. Мишка-то, конечно, дурак, ему, чай, у нас не сильно сладко будет. Отец у меня, сама знаешь, какой, это ему не дома.

— А что, он в примаки пойдет? Его родители не разрешат, он ведь один сын.

— Да я ещё не знаю. Бог с ним. Ты-то меня прощаешь?

— Если тебе от этого легче, то тебя прощаю, — она специально сделала ударение на слове «тебя», но Дашутка как будто этого не заметила.

— Спасибо, спасибо, родная, как камень с души ты у меня сняла, — она крепко обняла и поцеловала Шуру.

— Шура, Шура, — тянула её за руку Дуняша. Чёрные кудряшки выбились из косы, глаза округлились от страха, на длинных ресницах блестели слезинки.

— Ты чего тут расселась, наши уже на пароходе, опоздаем, ведь, — таторила она.

— И правда, пора, — сказала Шура, — пойдём Дуняша. И повернувшись к подруге, добавила.

— Приветов ему не передаю, да и проклятий тоже. А тебе счастья, подруженька моя сердечная.

Она пошла, не оглядываясь, только перекрестилась, когда поднималась по трапу на палубу, где их уже ждал брат Александр.

— Ну, ты сестрёнка, даёшь, мы уж Дуняшку за тобой посылали, — громко сказал он, но, увидев её побледневшее лицо, уже тише добавил, — да не бери ты в голову, было бы из-за кого расстраиваться. Хоть и дружили мы, но скажу тебе правду — пустой он. Вари воду — вода и будет.

— Идите к родителям, а я постою здесь, сказала Шура.

Она облокотилась на поручень и смотрела на родной берег, который с каждой минутой становился всё дальше. Вот уже неразличимы стали дома и деревья, сливаясь в одно серо-зелёное пятно, и лишь белоснежный собор с величественной колокольной смотрел им вслед, как мать, вышедшая на дорогу благословить и проводить своих детей.

Низ Волги встретил их не очень приветливо, но найти работу и перезимовать было можно. Здесь было много сильных хозяев, которые с удовольствием нанимали себе работников, так как сами в своих больших хозяйствах не управлялись. Это были новые крестьяне, таких в Нечерноземье на одну деревню, даже очень крупную, было не больше одного-двух, а то и совсем не было. И так уж повелось, что крепких хозяев, которые держали батраков, стали называть кулаками. К началу двадцатого века их по всей России было немного, два-три процента от всех крестьян. В деревне никогда не путали крепкое трудолюбивое семейное хозяйство, в котором было много сыновей, с кулацким, в котором достаток зарабатывался изнурительным батрацким трудом. Большая часть таких хозяйств была в южных плодородных районах. Именно туда и устремлялись голодающие с Верхоньев Волги — с нечерноземья, где даже работа на фабрике в некоторые голодные годы спасти малоземельных бедняков не могла, слишком тяжелым было налоговое бремя крестьянского хозяйства.

Через несколько дней гудок возвестил, что они приехали. Мрачные, настороженные люди спускались по трапу, неся в руках корзинки, кошельки, узелки. Толпа закрыла берег ярким лоскутным одеялом, смешавшись с многочисленными телегами, на которых приехали покупатели за работниками. Начиналась уборка урожая, и рабочие руки были нужны.

Кто-то нетерпеливо теребил Шуру за рукав.

— Слушай, красавица, поехали к нашему хозяину, — говорил ей крепкий парень с хитрыми глазами.
— Я не знаю, будет решать тятя.
— Э, да ты со всем семейством.
— А ты как думал?
— А я думал, дай, помогу такой красивой девице.
— Ну, так помоги.
— А слушай меня, вон видишь, мужик улыбочивый такой, смотрите, не ходите к нему. Впроголодь держит и обязательно обманет, недоплатит. А мой, вон там, — он махнул рукой в сторону хмурого мужика в коричневом скюртуке, — обещает мало, но что говорит, выполняет.

— Шура, ты где? — окликнула ее мать, — иди, отец пошел наниматься.

— А куда?

— Да вон, видишь?

Шура повернула голову по направлению, указанному матерью. Отец уже направлялся к мужику, которому её новый знакомый дал нелестную характеристику. Она обернулась, чтобы ещё что-то у него спросить, но разговорчивого парня рядом не было.

— Тятя, а тятя, — закричала Шура очень громко.

Тот услышал голос дочери,

— Чего тебе, доченька?

— К кому ты хочешь наняться? — запыхавшись, подбегая к нему, говорила она.

— Да вон к тому, тот, вроде, поубреет.

— Нет, нет, не надо.

— Почему? — отец внимательно посмотрел на дочь.

— Не надо, да и все, не нравится он мне, пойдем вон туда.

Отца часто поражала удивительная для него смышлённость Шуры, которую он связывал с её образованностью, и которая, на самом деле, была особой интуицией, данной его старшей дочери. Да и сама Шура всегда отчётливо понимала, кому можно доверять, а кому нет. Она очень злилась на саму себя, что охваченная своим первым чувством, не разглядела Михаила, доверилась ему. Почему-то, что она отчётливо видела для других, для себя она рассмотреть не сумела? Раньше, когда отец уходил на фабрику, а в деревне должен быть сход, он всецело доверял дочери и даже говорил жене: «Пойдешь на сход, возьми не только Александра, но и Шуру». В их местности, где очень многие мужчины были на заработках, присутствие женщины на сходе было не в диковинку, явление, которое здесь, на юге, было в то время невозможным.

Отец сразу понял, что Шура права, он взял ее за руку, и они пошагали в противоположную сторону.

Хозяин её случайного знакомого внимательно оглядел их.

— Семейство большое и дети еще малы, много не заработаете.

— Нам перезимовать, да семян на следующий год. Хочется успеть на посевную домой. А старшие дети у меня трудолюбивые.

— Ну, поехали, проживем — увидим. Ехать не близко.

И потянулись дни, наполненные работой, и вечера с разговорами, надеждами и той же залиистой гармошкой, но выводившей новые, неизвест-

ные им раньше, мелодии, которые местные называли «саратовскими страданиями». Работников в хозяйстве было много, даже странно было думать, что отец их хозяина когда-то был крепостным. Первые годы после отмены крепостного права он у своего помещика стал правой рукой, смог прикупить к своему наделу земли у крестьян, не справлявшихся с выкупными платежами, и даже у некоторых помещиков. На общинных землях многие годы переделов не производили. Приобретенную землю новые хозяева считали своей. Народа в деревне становилось больше, и все чаще стали возникать настроения о переделе земли. Сильные хозяева об этом не хотели и слышать. Нехватка земли была неразрешимой проблемой. Число крестьян, недовольных безземельем или малоземельем росло. Вот и здесь, несмотря на то, что их хозяин слыл справедливым, не обижал ни зарплатой, ни едой, вечерами, отужинав, все чаще мужики заводили разговор о волновавшей их теме. Многие считали, что распределение земли несправедливое: у общин земель мало, а у помещиков и новых хозяев много. Да и новые хозяева владеют землей незаконно.

— Нужен передел, — говорили мужики, — вон сыновья подросли, а куда деваться?

— Мои пойдут на фабрику — говорил отец Шуры.

— Это у вас — фабрика, а здесь куда?

— Если даже все разделим, на всех не хватит, — возражал отец Шуры, — у нас в деревне народа вон сколько, да всё прибывает, а земель у общины мало.

— А мы устроим другой передел, — надевая чистую рубаху и хитро улыбаясь, говорил Андрюха, новый знакомый Шуры.

— Это какой? — спрашивали мужики.

— А чтоб не мы лишними были, а другие.

— И что бы вы, мужики не говорили, а всему нужен хозяин, и хороший.

— Какой? Как наш?

— А хоть бы и как наш, может, кому и не люб, а хозяин, — утвердительно сказал отец. А вот как мы: чтоб и на фабрике, и на земле, — так нельзя. Была бы возможность продать землю, я бы продал.

Говоря это, отец не знал, что как раз в этом году такая возможность у него появится. И такие разговоры могли быть просто бесконечными, но кому-нибудь надоедало, и тогда обязательно просили Шурину маму:

— Степановна, спой лучше.

Мать стеснительно улыбалась, но не отказывала. Садилась на лавку, поправляла волосы, выбившиеся из-под косынки, спина её выпрямлялась, она как-то разом преображалась, молодела, а вся её поза приобретала удивительную стать. Красивым, грудным голосом она выводила протяжные, волнующие душу мелодии.

— «На Муромской дорожке стояли три сосны...», «Когда б имел златые горы...»

А сестренка Шуры Дуняша хватала мать за руки и, глядя на неё восторженными и умоляющими глазами, просила: «Мам, спой любимую». И звучала та песня, которая сейчас больше всего ранила Шурино изболевшееся сердце.

— «Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь.
Я по этому колечку
Буду плакать день и ночь...»

Андрей, глядя на грустное лицо Шуры, обычно начинал звать их с Александром погулять.

— Пошли, погуляем, чего вы тут со стариками да ребятей.

Мать с отцом тоже их выпроваживали, а особенно Шуру, которая, хоть и старалась быть спокойной, но напряженное ее состояние было очень заметно родителям.

— Шура, хватит тебе вздыхать по несбыточному, иди, повеселись.

— Мам, можно я тоже пойду гулять? — просилась Дуняша.

— А тебе ещё рано, будешь мне помогать, Ванюшку с Машей надо спать уложить, а я буду с тестом заниматься.

Шура нехотя, но уходила. Ей не хотелось, чтобы родители обращали внимание на неё. Но и на посиделках молодёжи находиться было сложно. Здесь её не отпускало внимание Андрея. Его серые, юркие глаза выхватывали её из толпы и словно пробуравливали насквозь. Он старался всегда быть рядом. И Шура поняла, что парень не на шутку влюбился. Однажды, провожая Шуру, он сказал ей:

— А оставайся здесь, Шур, чего тебе домой-то ехать, я ведь чувствую, что тебе туда не хочется. Моей женой будешь. Только вот венчаться я не хочу, я попам не верю.

— А я не попам, я в Бога верю.

— Ну, это ты как знаешь.

— Нет, я не могу.

— Так не могу или не хочу?

— Сейчас, может быть, и хочу, да не могу.

— Почему?

Ну как ему сказать «почему»? Это «почему» очень скоро будет заметно по животу, — думала она, хорошо, что пока ещё ничего не подозревают отец и мать.

Но её тайна открылась для них совершенно неожиданно. Пронырливая Дуняшка стащила со стола тёплую булочку. Мать редко строжничала со своими детьми дома, но здесь, на чужих хлебах, ей было очень неудобно за её поступок, поэтому она её отшлёпала ремнём, да ещё ей сказала.

— Будешь так делать, станешь толстая, как Улька-дурочка.

Это была слабоумная девочка, которая жила в их деревне.

Дуняшка захныкала и от боли, и от обиды:

— И ничего не буду, это ваша любимая Шурочка стала такой. Вон какой живот отъела.

— Ты что говоришь глупости, — сказала мать.

— Не глупости, а правду, сами поглядите.

Мать ничего не сказала Дуняшке, но сердце её тревожно кольнуло. Поздно вечером, когда старшие дети пришли с гулянки, она позвала Шуру для разговора, и той ничего не оставалось делать, как признаться во всём матери.

— Горе-то какое! — запричитала мать, — Как отцу скажем? Не переживёт он позора.

— Мам, а меня Андрей замуж зовёт. Что делать?

— Ну и выходи дочка.

— Обмануть его не могу.

— И не надо. Скажи правду. А там как Бог подаст.

На другой день Шура решила поговорить с Андреем, но смелости ей не хватило. Они провели весь вечер вместе, но Шура никак не могла начать страшный для неё разговор. Андрей проводил её до дома. Они уже стояли на крыльце, когда он сам по её взволнованному виду понял, что она хочет сказать ему что-то важное.

— Что случилось, Шура? Скажи мне.

— Я бы хотела, Андрюша, остаться здесь, но вот тебе жизнь портить не должна.

Андрей внимательно посмотрел на нее.

— И чем же ты мне её испортишь? Какая у тебя причина? Может, откроешься? Я ведь чувствую, что-то неладное с тобой.

И она, сама не зная почему, доверилась этому, совсем, казалось бы, незнакомому парню, рассказала обо всем, что произошло, обо всем, что мучает ее эти месяцы.

— Не переживай, — сказал он, — знаем мы этих кулаков поганных, отольются им наши слезы. Устроим мы им еще передел, девятьсот пятый год не последний раз был.

— Давай я к твоим родителям приду и посватаюсь. Ну, а ребенок что, он ведь не виноват. Я вот сам в батраках вырос. А с мамкой как мы мыкались, и никто не помог. Думаешь, я знаю кто мой отец? А твоему пацану — я отцом буду.

— Почему пацану, может дочка будет?

— Нет, сын у нас будет. И это «у нас» — всё для Шуры решило.

— Ну что, согласна? — настойчиво спросил Андрей.

Шура молча кивнула, наклонила голову к нему на плечо и первый раз расплакалась.

— Ну, ладно, ладно, — утешал он ее и гладил по голове.

Зима пролетела быстро, а весной родители Шуры успели познакомиться со своим крикуном внуком.

Уезжая, они даже были рады, что на какое-то время Шура остается здесь, свои деревенские ни о чем не узнают и не догадаются.

А что вышла замуж за батрака, что ж. Ведь парень собой прикрыл позор их любимой дочери.

Уезжая, отец Шуры сказал новоявленному зятю:

— Вы все-таки приезжайте к нам через годик-другой. Помогу устроиться на работу. Будете работать на фабрике, дадут каморку, ну, а потом, может, и домик поможем сладить.

— Да не переживайте вы, — говорил Андрей, — я Шуру не обижу.

К зиме они с Шурой получили известие, что как раз после их отъезда, в ноябре одна тысяча девятьсот шестого года в их деревне многое изменилось: из общинного поля самый хороший надел был выделен Голубевым

и Чумаковым, остальным разрешили свои наделы продавать. Родители продали свои земли братьям отца, купили домик рядом с фабрикой. Они звали Шуру с Андреем к себе.

Шуре хотелось домой, и она стала уговаривать Андрея.

Ночью, когда рядом с ней мирно посапывал ее маленький сын и засыпал муж, она вспоминала родную деревню. Она видела речку, рошу с белоствольными березами и огромное поле, посреди которого почему-то пролегала глубокая межа. Она смотрела на это поле и думала: «А где же наша земля, с какой стороны межи?». Она бежала по полю, а чужие мужики гнали ее с той и с другой стороны, и она не знала, куда ей бежать. Просыпаясь и стараясь забыться, женщина думала:

«Как хорошо, что это только сон».

Прошло несколько лет. Шуре всё больше хотелось домой. Здесь, на юге, день ото дня становилось беспокойнее. То там, то тут вспыхивали пожары. Горели хутора. На пожарах очень часто гибли ни в чём не повинные люди.

Шуру удивляло одно, что ее муж как будто и не переживал, а иногда даже удовлетворенно потирал руки.

— Так и надо, — говорил он.

А она все чаще просила его: «Уедем». Наконец, он сдался: «Собирайся, завтра поедем».

Тот же гудок парохода, тот же необъятный простор Волги.

Она опирается на поручень, смотрит вниз на волну, поющую тихую песню: «Домой, домой, домой».

«Ну, вот скоро я буду дома, — думает она, — только где теперь будет он, мой дом?»

Глава 3. ФАБРИЧНЫЙ ГУДОК

Родной берег встретил их ясным солнечным утром, колокольным звоном, доносившимся с разных сторон города, и разноголосьем фабричных гудков.

— Что это? — удивлённо спросил Шуру ее муж.

— Так это — фабричные гудки, смена начинается, — ответила она, — ты разве не знаешь?

— А откуда мне знать, я и фабрик-то отродясь не видел, — сказал Андрей.

— Теперь увидишь, только вот добираться надо самим, давай наймем повозку.

Вступив на землю, Шура вскинула голову, посмотрела на знакомый ослепительно белый собор, возвышавшийся на волжском берегу, и перекрестилась.

— Господи! Помоги мне и всей моей семье.

Она крепче прижала к себе теплое тельце своего сына, который крепко обнимал ее маленькими ручками за шею.

— Опять ты с поклонами, — недовольно поморщился Андрей. Шура ничего ему не ответила, она была поглощена своими мыслями и думами.

Ей было и радостно, что они приехали на родину, и тяжело оттого, что ехать приходится не в родной деревенский дом, а на окраину города,

да и жить, возможно, не в привычном деревенском доме, а в огромной каменной казарме. Но о своих тревогах она мужу не сказала. Чтобы добраться до места, пришлось нанимать извозчика, но небольшой домик родителей в близлежащей от фабрики деревне они нашли быстро.

Деревня называлась Дерябиха, но фактически уже давно перестала быть деревней, превратившись в небольшое поселение для работающих на фабрике рабочих. В совсем недавнем прошлом они переехали сюда после продажи своего хозяйства и земли в родных местах. Ежедневная многочасовая дорога отнимала не только время, но и силы, и люди старались приобрести новое жилье поближе к работе. Новые дома, вытянувшиеся в несколько улиц, назвали Новой Дерябихой. Такие новостройки появились и в соседних деревнях, расположенных вдоль Волги, ведь именно здесь, за городом, фабрикантами Коноваловым, Севрюговым и Разорёновым были построены три фабрики. За речкой Казохой, отделяющей город от промышленного района вверх по Волге, обновлёнными поселениями стояли деревни: Ильино, Балобониха, Дерябиха, Цибиха, Алексеиха, Матвеиха. Рабочие, живущие здесь, еще не совсем оторвались от привычного деревенского уклада, старались иметь хоть небольшой, но огород и какую-нибудь мелкую живность. Да и деревни эти, слившись почти в единое целое, долго ещё сохраняли многие деревенские традиции: годовые праздники, общинную взаимовыручку совместного труда, особенно, когда случались такие несчастья, как пожар или смерть. Выходцы из деревень считали за счастье иметь хоть небольшой домик и своё хозяйство. Гордились, если это у них получалось и не приходилось жить в казармах при фабриках.

Родные встретили Шурина семью радостно: отец обнял дочь и пожал руку зятю, а мать запричитала, заохала над своим, пока еще единственным внуком.

— Сегодня отдыхайте, — сказал отец. — А завтра пойдем к управляющему, я с ним договорился насчёт работы. Поживёте пока у нас, а потом вам дадут место в казарме.

— В казарме? — расстроилась Шура. — Ой, мама, как не хочется в казарму.

— Не расстраивайся, дочка, потом поможем построить вам домик. Вместе-то нам всё полегче будет. А в выходной день пойдём на годовой праздник в Ильино, вот радости-то у Ванятки будет. Купим ему сладких петушков, да шариков цветных на резинке.

— А что, мама, там годовой-то большой?

— Большой, дочка, со всей округи народ сходится. Да не переживай ты о житье-то, как-нибудь с божьей помощью образуется.

На другой день Шура с мужем в сопровождении отца пошли на фабрику. Взяли на работу пока одного Андрея, в тот же цех, где работали отец и старший брат Шуры. А их семье выделили место в казарме.

Шурины переживания оправдались. Ей пришлось жить в казарме, которую она всегда очень боялась.

Казарма. Это громадное здание из красного кирпича всегда пугало и поражало, оно казалось ей огромным муравейником. В нём она чувствовала себя маленькой песчинкой, совершенно незащищенной, несмотря на то,

что стены были толстыми, как в хорошей крепости и, наверное, очень надежными. Но они давили на хрупкую женщину своей тяжестью. Длинные гулкие коридоры были мрачными и полутемными, по обе их стороны многочисленные двери, за ними комнаты, которые называли каморками. Высокие потолки, полати. Каморки перегораживали полами, занавесками, так как в них жило по две семьи, а на полатах ночевал еще один посторонний человек, которого так и называли — «полатошный». Это могла быть одинокая женщина или мужчина. С ними жил мужчина. Шура ужасно стеснялась, особенно вечером, ложась в кровать с мужем. Еду приходилось готовить на общей кухне. Кухня была на каждом этаже, огромная, с большим количеством печек.

Первое время, когда муж был на работе, она все же больше была не в казарме, а в родительском доме, но постепенно стала привыкать: познакомилась с соседями, особенно с теми женщинами, которые не работали, но таких в казарме было очень мало.

Медленно и очень тяжело Шура входила в эту чуждую ей жизнь. Она увидела очень близко все ее стороны, и хорошие, и плохие. Много в поведении рабочих, в их привычках было ей знакомо и в деревне в общине: и исконное, коренное «всем миром» и пугающая ее ненависть, ярость, желание сокрушать все на своем пути.

Иногда Шура начинала спорить со своим мужем, который здесь, на фабрике, становился все более нетерпимым и всегда был солидарен с теми рабочими, кто готов был идти на крайние меры.

— Хозяева — наши враги, — говорил он.

— Не бывает так, — возражала Шура. — Сегодня он враг, а завтра может быть другом. Вспомни, как помог нам наш хозяин, когда мы уезжали.

— Помог! А сколько я на него работал.

— Ну, так что же. Да и здесь нам сразу и жилье дали.

— Это жилье!?

— Ведь не на улице.

— Ты вроде грамотная у меня, а мысли у тебя темные, поповские, — смеялся Андрей.

Немного погодя Шура и сама пошла работать на фабрику.

Рабочий день после событий девятсот пятого года был немного сокращен, но все равно оставался длинным, поэтому сына приходилось отводить к матери. Шура собирала две маленькие корзиночки с едой — одну мужу, одну себе. Обедали прямо в цеху. Умная и трудолюбивая, она быстро освоила непривычную работу. Мастер был очень доволен смышленной и старательной молодой женщиной.

Относился он к ней по-доброму, и Шура удивлялась: «Ну что Андрей все недоволен, все воду мутит?»

И если бы не случай, который произошёл в её цеху, она бы считала, что жизнь у них вполне нормальная.

Это был самый обычный день. Шура, как всегда, пришла в цех пораньше. Она подошла к окну и поставила корзинку с едой на подоконник. Посмотрела вдаль. Рассветало, но солнце ещё не взошло. Рассвет выползал на землю нежным розовым боком. Она замерла, интуитивно предчув-

ствуя минуту восхода солнца. Ещё секунда и из-за горизонта выско-
чил огненный мячик.

И в то же мгновение раздались душераздирающие вопли. Это кричала женщина, которая работала рядом с Шурой. Шура обернулась и увидела её всю окровавленную на полу.

Накануне вечером у женщины поднялась температура, и Шура уговари-
вала её идти в больницу. На фабрике Коновалова для рабочих была постро-
ена больница, и этим она очень отличалась от предприятий других хозяев.
Но если рабочий болел, то оставался без зарплаты, а у женщины было трое
детей. Воспитывала она их одна, её муж умер несколько лет назад. Она еле
сводила «концы с концами», как говорили в таких случаях. Из-за болезни
у неё была сильная слабость, и, когда она включила станок, у неё закружи-
лась голова. Падая, она бессознательно оперлась рукой на машину, и полу-
чила тяжелую травму рук.

Почти теряя сознание от боли, она всё шептала:

— Господи, как же жить-то?

Дети остались без кормилицы, и помочь им было некому.

В деревне в таких случаях заботу о детях брала на себя община. Здесь,
у рабочих, возможность помочь осиротевшим семьям была ещё меньше,
чем в деревне. С трудом уговорили взять на работу старшего сына женщи-
ны. Посочувствовать сиротам, конечно, могли, но выживать им нужно было
самим. У рабочего за душой не было ничего, в любую минуту его могли вы-
селить из казармы, и тогда — иди по миру.

В деревне, даже в тяжелые голодные годы кое-как можно было продер-
жаться своим хозяйством. Во многих семьях была кормилица — корова,
была другая живность: козы, поросята, куры. На огороде выращивали ка-
пусту, свёклу, морковь, лук. Можно предположить, что именно в голодные,
неурожайные годы научились местные крестьяне квасить зелёные щи, ко-
торые потом так полюбились. А ведь от бедности они делали, чтобы даже
зелёный лист не пропал. В других местностях — это были отходы, идущие
на корм скоту. И знаменитая тюря: ржаной хлеб, лук, да вода — еда отнюдь
не аристократа. Скучная пища, но всё-таки давала возможность выжить.

У рабочего, живущего в казарме, не было ничего. Он был заложником
своей заработной платы, а значит, он был во власти хозяина предприятия
и переставал быть хозяином самому себе. Шура видела, как оторванные
от земли люди, бывшие раньше рачительными, умелыми хозяевами, теря-
ли свою хозяйскую жилку, иногда даже интерес к самой жизни. И безыс-
ходность своей жизни заливали водкой, которую услужливо предлагали им
в трактирах и чинках.

«Да, — думала она, — наверное, человеку обязательно надо иметь
что-то свое, чему бы он был хозяином. Может, и прав Андрей. Хозяин дол-
жен быть на земле, значит, и рабочий должен быть хозяином. А как?» Она
часто ломала над этим голову. Но выхода так и не находила.

Андрей все больше сближался с революционно настроенными рабочи-
ми и скоро стал среди них своим. Они о чем-то шептались, и теперь он ча-
сто даже не говорил Шуре о чем. Она все ясней понимала, что они с мужем
слишком разные.

Лето пролетело быстро. На пороге стоял сентябрь. Две недели он медлил и лишь осторожно, как художник, пробовал провести кистью, оставляя первые яркие мазки. Началось «бабье лето», и его поначалу незаметная работа до неузнаваемости преобразила город. Казалось, что прямо на улицах открылся великолепный вернисаж с удивительными, радующими глаз полотнами. И каждая картина своеобразна и неповторима.

Шура стоит, как заворожённая, не налюбуется.

Вышла на берег Волги, а там знакомые берёзки, подростшие за лето, вплели в свои длинные косы жёлтые ленточки. Спустилась в овражек за ключевой водой, а там, у тропинки, на самом краю, две осинки, недавно были совсем незаметные, а теперь накинули на плечи шали с красной оборкой, словно на праздник нарядились, стоят подбоченясь и о чём-то шепчутся. Остановилась Шура, поставила ведёрко на скамеечку. Звенит вода, шелестят листочки: «Звень-тишь, тишь-звень». Кружат голову осенние мелодии. Идёт Шура домой неторопливо, задумалась о чём-то. И радостно и грустно! И почему-то последние дни всё о деревне своей вспоминает. Давно не была, соскучилась. «Ну да ладно, — успокаивает она себя, — скоро увижу всех своих деревенских родных и знакомых, сами в город приедут».

В следующее воскресенье начиналась Воздвиженская ярмарка.

Шура с детства любила её яркие краски, сутолоку, суетню.

Три дня шли приготовления. На площади возводились торговые лавки, прилавки, балаганы для представлений. Семнадцатого сентября утренний молебен возвещал открытие ярмарки. В Кинешму съезжались купцы из Ярославля, Костромы, Судиславля, Юрьевца. Да, в общем-то, из всех ближних городов и окрестных деревень. Товаров видимо-невидимо! Здесь и балахнинская посуда из красной глины, и деревянная утварь, и железоскобяные изделия, разнообразные поделки и игрушки. Из окрестных деревень везли, кроме выращенного урожая, и изделия разнообразных домашних ремёсел. Работа, заполнявшая долгие зимние вечера, сейчас давала неплохой дополнительный доход, беднякам, да и середнякам без домашнего ремесла выжить было сложно. А тут на вырученные деньги можно было и красного товара, привезённого из Судиславля, прикупить, да и нашить обновок на всю семью. И каждая семья непременно стремилась попасть на ярмарку, особенно в первое воскресенье, которое называлось «гулящим». В этот день купить товары можно было гораздо дешевле. Купцы стремились пораньше закончить торги, чтобы вдоволь насладиться широким ярмарочным гуляньем.

Шурина семья собиралась пойти на ярмарку в воскресенье.

С утра у Шуры было прекрасное настроение. Хлопочет у плиты, а сама чего-то себе под нос напевает. Подбежит к окошку, выглянет на улицу, полюбуется в окно. Радует глаз ранняя осень, наряжает природу, как на праздник. И на душе становится светло, будто предчувствует что-то хорошее.

— А и правда, надо принарядиться, — думает Шура.

Откинула крышку сундука, перебирает свои немногочисленные наряды. Что надеть? Не знает.

Рука сама тянется к любимому платью из девичьей поры.

— Давно я его не надевала. Нет, надо что-нибудь поскромней.

Или всё-таки примерить, а вдруг мало уже.

Примерила. Смотрит в зеркало: «А и не располнела совсем, ну, разве, чуть-чуть».

Поверх надела шёлковую душегрейку, а на голову голубой платок.

Повернулась перед зеркалом в одну сторону, в другую. Перехватила удивлённый взгляд мужа.

— Ты как на свиданье наряжаешься!

— Так ведь ярмарка!

— И что тут у вас за ярмарка, в Нижнем что ли живём?

— А у нас не хуже Нижегородской!

— Неужто? — ехидно скривился Андрей.

— А вот сам увидишь!

— Да, посмотрю, посмотрю! — согласился муж.

На ярмарку они пошли вместе с родителями.

Шура торопила мужа поскорее закупиться и отправить покупки на отцовской подводе, чтобы можно было погулять налегке.

Андрей, хотя ничего не говорил своей жене, но был очень удивлён и размахом, и богатством Кинешемской ярмарки. Чего только здесь нет! И своими товарами местные прилавки полны, и заморскими. Рядом лежат и картошка с грибами, и апельсины с лимонами. Манят к себе балаганы представлениями и выступлениями, удивляет выставка восковых фигур. Всё посмотреть хочется!

Купив Ванюше обновки на зиму, уж больно быстро он вырос из всей одежды, и прикинув, что остаются деньги только на продукты, они направились к продуктовым прилавкам, заваленным россыпями золотистого лука, мешками с картошкой и овощами. Всё это, заботливо выращенное крестьянскими руками, соседствовало с тем, чем щедро одаривала Волга и окружающие леса.

Судаки, лещи, шуки, налимь, даже стерлядь, которая так высоко ценилась в столице, здесь можно было купить гораздо дешевле.

На грибном прилавке ведрами стояли солёные грузди, длинными бусами свисали белые сушёные грибы.

Это было любимое Шурино лакомство. Раньше в деревне она и сама много запасала грибов на зиму, а сейчас здесь, в городе, в лес ходить было некогда. Шура старалась сделать побольше закупок, чтобы наполнить свою кладовку на всю зиму. Нагруженная авоськами и корзинками она стояла и озиралась, ища мужа. На площади царила весёлая суетня и толкотня. То тут, то там мелькали знакомые деревенские лица. Родители часто останавливались, здоровались, знакомили деревенских со своим зятем.

Встречи эти не так бы и волновали Шуру, если бы не любопытные взгляды, особенно женские.

— Ох, Степановна, внучек то у тебя какой ладный, да и Шура совсем красавица стала. Не портит её фабрика.

Шуре похвалы были приятны, но её сердечко невольно ёкало под пытливыми взглядами.

— Господи! Не дай то Бог, заметят сходство с Михаилом, — думала она.

А это сходство с каждым годом обозначалось всё явственнее. Вот Ванюша топнул ножкой и лихо, совсем по взрослому, откинул назад волнистый чуб. Такой знакомый Шуре жест! А может и не только ей.

Волосы у Ванюши светлей, чем у Михаила, а вот глаза, цвет и выражение, точь в точь. Осколочки неба смотрели на неё то ласково, то лукаво.

— Ох, ох, не выдали бы Ванюшины глаза, — мучалась она.

От этих дум даже померкли яркие ярмарочные краски и глухо, как издалека слышались голоса зазывал.

— Ну, покупай, красавица. Что стоишь?

— И, правда, что стоишь, ни на кого не глядишь? — окликнул её тоненький визгливый голос.

Шура оглянулась и увидела знакомое, улыбающееся лицо молодой румянощёкой женщины. Из-за небольшого роста её полноватая округлая фигура выглядела снежной бабой, наряженной в сарафан. Яркий платок был заколот под подбородком булавкой. В руках у неё была небольшая плетёная корзинка.

Конечно, это была её подружка — Даша.

— Ха-ха, Шурочка, здравствуй, родная.

Весёлая хохотушка оставалась всё такой же жизнерадостной.

— Видно, сладко живётся, — невольно подумала Шура.

— Здравствуй, Даша, давно я тебя не видела.

— Ой, Шурочка, а я как рада тебя видеть. Я так соскучилась. А сын-то, акой у тебя большой! Сколько ему?

— Скоро шесть.

— Ой, какой взрослый!

От её слов у Шуры опять что-то в груди ёкнуло.

«Ну чего допытывается? Это просто любопытство или что-то другое?» — мучили её сомнения.

— Ой, а я накупила всего, Шурочка. И шёлка, и сукна, и платок французский. Вот, смотри! — тархтела Даша.

— Да, красивый.

— Ты тоже нарядная. А платье-то знакомое. Неужели ещё то! А мне уже ничего не влезает. Ох, и интикуресная ты, Шурочка.

— Полно тебе, Даша, всё такая же. Да и ты не изменилась, и слова всё так же коверкаешь. Интересная, надо говорить.

— Вот-вот, это ты у нас грамотная, а я что.

— Так ведь вместе в школу ходили.

— Ходить-то ходили, да, видно, меня плохо учили, а тебя хорошо. Ха-ха-ха! — рассмеялась подруга.

— Кого это плохо учили в школе? — раздался до боли знакомый голос.

И Шуре показалось, что земля уходит у неё из-под ног.

— Господи, это он! Только бы не выдать себя. Помоги мне, Господи!

— А-а-а! — удивлённое и протяжное, и пауза, давшая Шуре взять себя в руки.

— Здравствуй, Миша, — сказала она, изо всех сил стараясь быть спокойной.

Он окинул её оценивающим взглядом и пристально посмотрел в глаза. Ей удалось не выдать своего волнения. Она спокойно отвела взгляд, уголком зрения отметив про себя его статную фигуру. Михаил был одет в новенькую синюю чуйку из дорогого сукна, которая прекрасно сидела на нём.

— Да вот Даша говорит, что её плохо в школе учили.

— Что верно, то верно. Да и я, видать, её ничему не научил, — ответил Михаил.

— Уж молчал бы, учитель! Болтаешься невесть где! Чай деньги в фортунку просаживаешь, или в балаган ходил развлекаться!

— И ничего не просаживаю! Смотри, какую лошадку выиграл. Шур, а можно я её твоему сыну подарю.

— Зачем? Не нужно его баловать, да и потом у вас свой ребёнок есть. Отвезите в деревню.

— Так игрушка для мальчика, а у нас дочь. И есть у неё уже лошадка. Дед прошлую ярмарку купил.

— Бери, Шура, у нас и правда есть. — вмешалась Даша.

А Ванюшка уже радостно ухватился за гриву.

— Бери, бери, сынок. Как звать то тебя?

— Ваня.

— Ваня, а давай я тебя посажу.

Руки Ванюшки доверчиво протягиваются навстречу.

Михаил опускает глаза.

— Ваня, а сколько тебе лет?

— Шесть, — гордо отвечает он, даже прибавляя себе пару месяцев.

Шура стояла ни жива, ни мертва.

Спасение пришло совершенно неожиданно. Совсем близко раздались голоса её мужа и отца. Они пробирались к ним через толпу. Андрей недовольно ворчал.

— Фу, в этой толчее и потеряться можно.

— Пап, смотри, смотри, какую мне лошадку дядя подарил! — теребил Ванюшка за рукав Андрея.

Тот посмотрел на подарок совершенно равнодушно.

— А пойдём, сынок, я тебе лучше живую покажу. Там у балаганов волтижер и девочка-акробатка представление дают.

— Андрей, подожди, познакомься. Это моя подруга с мужем, наши деревенские.

Андрей машинально подал руку, кивнул и поторопился распрощаться. Шура и Даша на прощанье обнялись и расцеловались.

— Шурочка, ну не забывай родную деревню, приезжай почаще, — на прощанье сказала ей подруга.

Для Шуры разом померкли все ярмарочные краски. Андрей звал её на гулянье, но она поехала домой с родителями. Вечером к ним в гости должны были приехать братья.

Хлопоты по хозяйству немного отвлекли её грустные мысли. Но какая-то непонятная тревога нахлынула вновь, как только все родные расселись за стол. Братья живо обсуждали ярмарочные новости, и на этот раз их мнения сходились далеко не во всём.

— Мой хлеб, за сколько хочу, за столько и продаю.

— Да и не ты тут главный-то продавальщик, а купец.

Спорили, не уступая друг другу, братья. Шуре всегда удавалось скрасить неприятные моменты, но на этот раз она была безучастна. Ей очень захотелось побыть одной, и она вышла в сад.

— Господи, и когда же отпустит меня эта боль? — думала она.

Быстро темнело. Становилось всё прохладнее, и Шуру слегка знобило, но уходить с улицы ей не хотелось. Она смотрела на молодую яблоньку, которую несколько лет назад посадил отец. Тоненький ствол и две вытянутые ветви в вечерних сумерках были похожи на человека с протянутыми руками. На одной из веток висело большое розовое яблоко.

— На меня похожа, — подумала Шура, — такая же незащищенная.

Рука сама потянулась к ароматному шарiku.

Запах этот ещё острее напоминал всё старое, деревенское.

— Как я хочу в деревню. Поеду, обязательно поеду. Что, я не могу навещать родных? — решила она.

Даже самой себе она не хотела признаться в истинной причине неожиданного своего желания. Но, возникнув в этот вечер, оно не покидало её всю зиму, хоть осуществить его она смогла лишь весной, на Пасху.

Глава 5. СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ.

Длинная и тоскливая зима закончилась сразу и неожиданно. Ещё вчера дул холодный пронизывающий ветер, переметая узкие тропинки, тянувшиеся с разных сторон к казарме, а сегодня с крыши свесились длинные сосульки. Они заплакали звонкой капелью. Около красной кирпичной стены с солнечной стороны появились первые лужицы и кучи льда из упавших сосулек.

Отпуская Ванюшку гулять, Шура беспокоилась и каждый раз предупреждала:

— Смотри, не подходи близко к стене. Вон сосульки-то какие!

Шла последняя, самая тяжёлая, неделя поста — страстная. Обычно, в деревне к этому времени управлялись со всеми хозяйственными делами, связанными с уборкой, которой занимались в предыдущие дни. Тщательно, с мылом и щётками, были вымыты деревянные стены и потолки, побелены печки, постираны половики, покрывала, занавески. В эти дни в домах был особенный воздух, с незабываемым запахом свежести, с которым ничто не может сравниться. Светились янтарём стены, смотрели по-особому иконы, обрамлённые кружевами или вышитыми полотенцами в начищенных, блестящих окладах. Светлые полы застилались полосатыми половиками, по которым хотелось ходить только босиком. Идёшь как по облаку!

Такой же чистой становилась и душа человека за время поста. Её как будто тоже скребли щётками и кирпичами. И она являлась обновленной, освобождённой от старой грязи. Чем больше и усерднее молился человек, тем выше поднималась его душа, устремленная в небо. Даже в последние дни недели, когда пеклись румяные куличи и пироги, делались пасхальные сыры, именно молитва помогала избежать соблазна попробовать всю эту вкуснотищу.

Шуре пост давался легко, тем более, что с домашними делами она к страстной неделе не управилась, и все её дни были заполнены работой и на фабрике, и дома.

Она старалась не обращать внимания на ворчание её мужа по поводу «поповских бредней» из-за недовольства постной пищей. Шура мыла, стирала, готовила, она торопилась управиться хоть к субботе. И вот наступил долгожданный день. Она окинула взглядом свою каморку: на окнах строчёные занавески, на столе белоснежная скатерть, обшитая кружевом, на кроватях накрахмаленные подзоры. «Хорошо, — подумала она, — но всё-таки дома, в деревне, было уютнее».

Вздохнув, она разложила на столе большой клетчатый платок и стала собирать всё необходимое к поездке: вещи и гостинцы для родных.

В полдень скрипучая телега медленно ехала по просёлочной дороге. Шура сидела рядом с сынишкой. Отец что-то спросил её, она ответила машинально и невпопад.

— Да ты что сегодня, Шура, очумела, что ли? — рассердился он.

— Оставь ты её в покое, отец — урезонила его мать, видимо более чутким женским сердцем понимая Шурино состояние. Шура благодарно посмотрела на неё, она была рада, что после долгого отсутствия едет в деревню с родителями, а не одна. Муж на Пасху в деревню категорически ехать отказался. Его неверие ещё больше укрепилось теперь, после того, как он здесь, на фабрике, сошелся с другими рабочими, которые, считала Шура, забыли Бога.

Они постоянно будоражили и без того непрочный покой в отношениях с хозяевами фабрики, устраивали то забастовки, то маевки, то читали какие-то непонятные ей книги. Шура сердилась на мужа:

«Опять готовятся к забастовке. Добром это не кончится, — думала Шура, — ещё больше нужды будет в семье, да и только, а он все не угомонится. Ох, Андрей, Андрей».

Проехали Велизанец, соседнюю с ними деревню, за которой показалась знакомая деревянная церковь и кладбищенские кресты. А вот и поворот к их родной деревне. Шура встрепенулась, когда проезжали мимо нового пятистенка, возле дома Дашуткиных родителей.

— Их дом, — с тоской подумала она, — в достатке живут, это сразу видно.

Грустные мысли были прерваны голосами её дяди и двоюродных братьев и сестёр. Телега въехала и остановилась во дворе. В доме пахло куличами и пирогами. Но трапезничать не стали. Отдохнув с дороги, переодевшись во всё чистое, они отправились на всенощную — самую длинную службу.

Небольшая, но уютная церковь была заполнена полностью, ведь на праздники съезжалось много родных из города. Даже те, кто уехал из деревни, оторваться насовсем не могли. В небольшом волжском городе рабочие отличались от рабочих крупных промышленных городов: их связь с деревней была тесной — это и родные, которые остались в деревне, и друзья, которые по-прежнему жили в деревне, но каждый день ходили на работу на фабрику, а таких здесь было немало. Родная земля не отпускала своих детей — крестьян превратившихся в рабочих. Зелёные луга, лес, пропах-

ший малиной и грибами, волны спелой пшеницы, резные наличники и крик петуха в будни снились по ночам, а в праздники звали приехать в гости. И хоть в городе был большой светлый собор, а здесь маленькая церковь, но она была родней. На её территории был дом, в котором всегда могли остановиться те прихожане, у которых уже не было родственников в деревне, и люди из далёких мест. В храме была икона Богородицы «Всех скорбящих радость», слава о которой разошлась очень далеко. Икону считали чудотворной, исцеляющей от болезней и других скорбей. В большие праздники церковь даже не вмещала всех желающих.

Шура усердно молилась. Мерцали свечи, пахло ладаном, песнопения отрывали от земли и уносили в небо. Её страстные молитвы, о чем они были? Вряд ли сама она точно могла сказать, что же она просит: то ли освободиться от любви, которая принесла ей одни несчастья, то ли обрести ее вновь, но она все просила и просила: «Господи, помоги, Господи, помоги!..»

В полночь начинался крестный ход. После церкви свежий воздух опьянял, и у Шуры слегка кружилась голова. Она облокотилась о чугунную решётку ограды, оглянулась на выходящих из ворот людей. Ей показалось, что среди них мелькнул знакомый силуэт, но она отогнала от себя ненужные в такой торжественный момент мысли.

Уже совсем рассвело. Народ, христосуясь, расходился по домам, где их ждали румяные куличи, крашеные яйца, вкусные сладкие пасхи.

И Шура тоже пошла домой со своими родными. Немного разговевшись, все улеглись отдыхать, а она все ворочалась.

Было душно: то ли народа собралось в доме дяди слишком много, то ли ее думы не давали ей заснуть, то ли старое и забытое, казалось бы, превратившееся в горстку пепла, разгоралось снова жарким пламенем, которое жгло ее нестерпимо и мучительно. Она встала, стараясь не потревожить спящих, вышла на крыльцо. И снова она почувствовала присутствие дорогого ей человека.

— Мне уж мерещится, — прошептала она вслух.

— А кто мерещится, не я ли?

Он, он. Конечно, он. Все такой же, красавец, не берет его время. А, вроде, и не такой, взгляд уже не такой уверенный, — думала она, ничего ему не отвечая.

Мысли путались, сердце глухо стучало.

Рука в руке. Её рука в его руке. Он тянет ее куда-то. Темно, пахнет сеном и чем-то знакомым, дорогим.

Сладкие запахи любви, горькие запахи раскаяния, но не сейчас, они придут позднее. Сейчас главное — его губы, его руки и то, что оба они растворились в этом бездонном, головокружительном падении с огромной высоты, и пусть упадут и разобьются, но они летят. Главное, пусть этот полет продолжается дольше.

— Господи, что со мной?

— Родная, родная, не могу без тебя, плохо мне без тебя. Знаю, знаю, молчи. Виноват сам, думал, ерунда все это. А Господь Бог наказал меня, он знает, как наказывать, наказал любовью.

— Господи, да что же мы делаем, пусти, иди мне надо.

— Не уходи, ну хоть чуть-чуть побудь ещё.

— Не могу, скоро все встанут, уходи же.

Она буквально вырвалась из его рук, вбежала в дом. Лежала и смотрела в окно на небо, на белые облака, на веточку пушистой вербы. Она думала: «Нам всем так немного надо для счастья. Лишь бы любимый человек был рядом, лишь бы жить и трудиться с ним бок о бок, только не впроголодь, чтобы рожать и растить ему детей, чтобы их обуоть, одеть, чему-то научить. Так много это или мало? Господи, видно на всех нас у тебя счастья не хватает. А мы все просим и просим, а того ли просим? Прости нас неразумных, Господи». Она молилась, взгляд был направлен в правый угол на иконописный лик. Когда она немного успокоилась, ей показалось, что выражение божественного лица стало мягче и добрее.

На другой день, не дождавшись родных, она поехала в город, несмотря на все уговоры ее близких.

— Муж, наверное, так и не приедет, так что надо ехать самой.

А в июле началась война, которая многое изменила и в ее жизни, и в жизни всей России.

Последний раз она увидит Михаила перед отъездом на фронт. Он разыщет ее в городе. Последний раз она будет пить сладко-горький мёд его поцелуев. Она не выдержит и признается ему, что у них есть сын.

— А я нисколько и не сомневался, что это мой сын. Жди меня, после войны все изменится.

— Изменить уже ничего нельзя, — сказала она.

Но война действительно всё изменила и в её жизни, и в жизни всей страны. Она развела в разные стороны дорогих ей людей, верней, не сама война, а то, что было после: ее муж стал красным комиссаром, ее любимый — белым офицером. Глубокая межа разделила дорогих ей людей, ее сон стал явью. На стороне красных воевал ее отец и брат, на стороне белых оба родных брата отца. С войны не пришли ни муж, ни любимый, а отец и брат вернулись уже не Романовыми, а Лебедевными, взяв фамилию ее мужа. И долгие годы, даже уже после того, как сама советская власть простила ее родственников, отец все никак не мог помириться со своими братьями.

Глава 6. НАДО ЖИТЬ

Утренние лучи солнца заглянули в маленькое окошко через строчечную занавеску. Шура отдернула ее и выглянула в окно. Вставала она рано и без будильника.

— Пора, — подумала она, — надо будить Ванюшку.

Она встала с кровати, вышла в сени, чтобы зажечь керосинку и поставить чайник. Ее домик был совсем маленький: комнатка, кухонька, почти поддома занимала большая русская печка. Родители, как и обещали, помогли построить ей этот маленький домик, он прислонился, стена к стене, сзади их большого дома. Но это было не важно, все-таки у нее был свой, отдельный от родителей дом, в котором она была полной хозяйкой. Вот только жить в этом доме ни с мужем, ни с любимым ей не довелось.

Всем смыслом ее жизни стал сын, которого она любила самозабвенно и самоотверженно. К её счастью, больше он был похож на неё, а не на отца.

Конечно черты Михаила проглядывали, но это еле заметное сходство их знакомые из деревни не замечали. Только тот, кто точно знал, кто настоящий отец этого мальчика, мог бы разглядеть их общие черты, жесты, выступающие за схожестью с матерью и до боли знакомые Шуре. Улыбка, интонация, поворот головы — все это открывала она в нем уже с детства. Возможно, это видела и её подруга Дарья, но она молчала и не говорила об этом, по-прежнему оставаясь близким человеком. Дарья была ей всю жизнь благодарна за то, что Шура спасла её в 1918 году во время подавления кулацкого мятежа. Прошло много лет, но подруга не забывала ту светлую июньскую ночь и то, что Шура не побоялась открыть ей дверь, когда она прибежала к ней.

Даша, бледная и растрепанная, держала тогда за руку свою дочь:

— Шурочка, родная, ты не представляешь, что в деревне делается. Люди как озверели, друг на друга кидаются. Отца кулаком называют, а он ведь старался никого не обижать, а особенно своих — деревенских, ты ведь, Шурочка, знаешь.

Это действительно было правдой. Отец Дарьи всегда старался помочь своим деревенским, тем, кто жил в городе. Вот и их семье он ежегодно, после сбора урожая, привозил продукты, очень часто продавая их в долг. А в том году он не стал брать деньги, которые привёз отец Шуры, чтобы расплатиться. Видимо, предчувствуя, что грядут тяжёлые времена, в которые станет гораздо выгоднее быть бедным, чем богатым. Но их семья всегда была состоятельной, и изменить это мнение в сознании людей за один год было невозможно.

— Ладно, успокойся, проходи. Здесь тебя никто не тронет. А лучше оставайся насовсем.

Она уговорила Дарью переехать к ней в город и помогла устроиться на работу. И этот переезд второй раз спасёт ей жизнь, ведь в двадцать девятом году её семья подлежала раскулачиванию.

Сама Шура продолжала работать на бывшей фабрике Коноваловых, там, где работали её отец и братья. В коллективе ценили эту спокойную, работающую женщину, многие мужчины продолжали на нее заглядываться, несмотря на то, что у нее был уже большой сын. Находились и те, кто не прочь был бы к ней посвататься. Но решиться на это им было сложно. Рядом с ней женихов охватывала непонятная нерешительность. Нет, её нельзя было назвать гордой и неприступной, или суровой и холодной. Она вела себя естественно, но лишь только заговаривали с ней о женитьбе, как возникал барьер, невидимый, но и непреодолимый.

Лишь один мужчина решился переступить этот невидимый барьер. Шура знала его давно. Они работали на одном предприятии. Она всегда чувствовала его взгляд, даже если он был мимолётным. Он выделял её из всех женщин, и как-то по особому внимательно и ласково относился и к ней, и к её сыну. Уже несколько лет он был вдовцом, но жениться не торопился, один растил двоих детей. С Ванюшей у него были общие интересы, оба они были активистами и работали вместе. Сын считал, что продолжает партийные дела своего отца.

Как-то раз, рано утром, выглянув в окно, Ванюшка, видимо зная что-то, улыбаясь сказал:

- Мам, смотри, кто к нам пожаловал.
- А кто?
- Да дядя Федор с утра пораньше.
- Так это он не к нам, а к тебе.
- Думаю, мама, ты ошибаешься.
- А что так?
- А ты у него спроси.
- Здравствуйте, Федор Петрович, у вас, ко мне — дело?

Кряхтя и переминаясь с ноги на ногу, смущаясь, как неопытный молодой юнец, перед ней стоял солидный седоватый мужчина. Ванюшка хихикал и подталкивал его.

— Александра Степановна, вы ведь знаете, как я люблю вашего Ванюшку.

- Знаю, конечно, а что? Что-то случилось?
- Да нет, не случилось, просто, мне помочь вам хочется.
- Мам, да не мучай ты его, это он так к тебе сватается.
- Господи, сватается! Да что вы, Федор Петрович! Вы, конечно, мужчина видный, самостоятельный, да разве вам такую невесту надо. Поздно мне уже замуж выходить.

Она ответила отказом, но, конечно, как любой женщине, ей было приятно, что нравится, что еще, видимо, по-женски привлекательна, и что сын даже гордится этим.

Нет, конечно, ей никто был не нужен, ее сердце принадлежало только одному человеку, а выходить замуж без любви, как это она сделала в молодости, второй раз она не хотела.

— Вот только Ванюшу бы женить да с внуками поводить, — думала она.

Но жизнь распорядилась по-другому. В 1929 году ее сыну было всего 22 года. Ах, как ее материнское сердце хотело, чтобы сын никуда не уезжал. Она просила его:

— Не надо, сынок, не делом вы хотите заниматься. Пусть люди живут, как знают. Ведь есть же у вас желающие идти в эти колхозы, конечно, бедным-то там сподручнее, легче им всем вместе. Вот вы им и помогите, а что ж сильных-то хозяев трогать.

— Ох, мама, и темная же ты у меня. Не сильные хозяева, а кулаки.

— Да неужто я не знаю, кто такие кулаки. В наших деревнях один-два и обчелся, а у вас вон списки-то какие.

— Ничего ты, мам, не понимаешь. Отец с ними боролся, и я должен.

— Господи, сынок, что ты знаешь про отца-то?

— Что ты, мам, хочешь сказать?

— Да нет, ничего, Господь с тобой, родной. Бога только не забывайте.

— Не переживай ты, мама. Всё будет хорошо. Зря никого не обидим.

И она молилась, глядя ему вслед. Да видать, не дошли её молитвы до Бога. Пришлось ей испытать и это страшное горе, страшней которого нет для матери: потерять собственного сына. Обстоятельства этой смерти оставались ей неизвестными всю жизнь. Кто-то говорил, что застрелили его сами милиционеры, кто-то говорил, что его арестовали, а кто-то утверждал, что он погиб в драке, когда стал за кого-то заступаться. В общем, дело было тёмное.

Но самое страшное было то, что у неё даже не осталось могилы сына. Пропал и пропал. Никто ей даже не объяснял, что случилось и при каких обстоятельствах.

Белый свет померк в её глазах. Она пережила потерю любимого человека, а потом и потерю мужа, но не могла смириться с потерей собственного ребёнка.

«Не по-божески это, — думала она, — дети должны хоронить родителей, а не наоборот».

Как тень ходила она по своему домику, постоянно натываясь на то, что напоминало ей сына. Вот на гвоздике висит душегрейка, она сама шила её Ванечке, а сейчас и дотронуться страшно, она ещё хранит его запах. В горке лежит тетрадка, он всё чего-то писал в ней. Можно ли прочесть, а вдруг он бы не захотел? И опять в голове: «Ванечка, Ванечка, что же ты родной наделал, на кого ты меня оставил»? Никого не хочет ни видеть, ни слышать. Ноги куда-то идут сами, руки что-то делают сами, а её как будто и нет. Думала ли она, что через двенадцать лет, когда начнется другая война, во всей стране почти не останется дома, где бы мать не оплакивала своего сына. Горе отдельных семей сольётся в одно общее, которое всем миром переносить будет всё-таки легче. А сейчас ей казалось, что она осталась одна во всём огромном мире, и это горе поглотило её в тёмную пучину.

В эти страшные дни и прибежала к ней Дарья, у которой погибла вся родня. Она застала Шуру сидящей в углу под иконами. На почерневшем, разом состарившемся лице не было ни слезинки. Руки её были безвольно опущены вдоль тела, которое раскачивалось из стороны в сторону, как маятник.

— Шурочка, Шурочка, — причитала Дарья — ты хоть поплачь.

Сама она поминутно вытирала мятой выпцветшей тряпкой распухшие от слез глаза.

— Ох, ты, Господи, горе-то какое. У- у - у, — выла Дарья.

Шура будто окаменела и ничего не слышала.

Хлопнула входная дверь. Шура вздрогнула и подняла голову. В комнату вошла её мать.

— Шура, Даша, хватит, девоньки, их уж никого не поднимешь. Соберайтесь-ка в Велизанец к «Божьей Матери». Может, она поможет.

— Мам, а может он и живой ещё, — встрепелась Шура.

— Всё, дочка, в жизни бывает, ведь не хоронила ты его.

Маленькая надежда затеплилась в душе потерявшей всё женщины. Она спешно засобиравшись в родную деревню, а верней, в их сельский храм, в котором была большая чудотворная икона. Именно к ней со всех окрестных и даже дальних мест спешили православные люди, очень часто получая исцеление, утешение, а иногда и настоящее чудо.

На другой день она была в храме ранним утром, ещё до начала службы. Она стояла на коленях и горячо молилась. День был не праздничный, и народа в храме было мало. Пахло ладаном, мерцали свечи. Блики и тени причудливо меняли выражение на лицах. Её сознание куда-то уплывало. Она увидела перед собой лицо своего сына. Он смотрел на неё с иконы спокойно и умиротворённо, как будто говорил ей:

— Мама, я с тобой.

Шура не могла понять, реально ли то, что она видит, или нет. Она почувствовала прикосновение чьей-то руки и подняла голову. Над ней стоял священник.

— Утешься, дочка. Каждому в жизни свой крест. Убиваться по тем, кто там, нельзя. Им лучше, чем нам. Мы только помолимся за них можем, да помогать другим. А они за нас радоваться будут и ждать нас. Срок-то невелик.

— Что же я могу, батюшка?

— Да много можешь. Я верю в тебя. У тебя сердце не только доброе, но и мудрое. Ступай с богом.

Шура вернулась домой. Нельзя было сказать, что она успокоилась, но она смирилась и безропотно понесла по жизни свой крест. Боль осталась у неё в сердце, но она её никому не показывала. А после того, как её любимый брат Александр стал с семьёй жить у неё, всем стало казаться, что она окончательно вернулась к жизни.

Ранним утром он перешагнул через порог, наклонив голову, низкий проём не соответствовал его высокому росту.

— Шура, сестрёнка, помоги. Жить с семьёй совсем нелегко.

— Что ж, приходите ко мне, — сказала она тихо.

Её дом снова заполнили детские голоса. Это было для неё спасением.

До конца своей жизни Шура будет уже жить не для себя и своего сына, а для всей своей многочисленной родни.

Она никогда никому не отказывала в помощи: водилась, лечила, брала к себе жить. Почти все родственники, незаметно для себя, стали называть её «крестная», а дети ласково «кока», хоть мало кто и мог сказать, кого же из них она крестила.

Вокруг ее домика вырастали новые дома, превращая деревню в небольшой район частного сектора недалеко от фабрики. Место это по-прежнему звали Дерябихой, сохранились названия и соседних деревень, но все они слились почти в одно целое. Рядом были построены деревянные двухэтажные дома. Для строительства этих домов люди объединились в кооперативы, поэтому и улицу называли «Кооперативной». Соседняя с ними фабрика носила новое горделивое название «Красная ветка», но Шура по-прежнему работала на бывшей фабрике Коновалова, которая теперь называлась фабрика № 1.

Все больше разрасталась семья ее родителей. Вышла замуж её младшая сестрёнка Дуняша, теперь уже видная и красивая девушка. Появился на соседней улице небольшой домик, в котором они жили с мужем. Друг за другом родились трое их детей: две дочки и сын. Брат Иван и сестра Мария уехали из родного города.

Наступили тяжёлые для страны предвоенные годы. Ее дяди, когда-то воевавшие на стороне белых, снова были арестованы. Многие тогда считали: раз арестовали, значит, действительно враги. Шура не отвернулась от своих родственников. Ее маленький дом всегда гостеприимно открывал двери для всех: и «красных», и «белых». И все находили здесь и теплое слово, и приют, и тарелку горячих щей.

Как знать, если бы ее сын был в это время жив, не вспомнил бы кто-нибудь о том, что настоящий его отец был кулаком и белогвардейцем. Но сына уже не было, и ни к чему, видно, было копаться теперь в его родословной.

Жизнь шла вперед, и на пороге уже стоял 41 год, и еще четыре страшных года надо было выстоять.

Глава 7. «СКОРБЯЩАЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ»

Война поселила странные ощущения в сердцах людей. Огромное горе обрушилось на страну, но оно не озлобило, не отстранило их друг от друга, не разорвало на маленькие кусочки отдельных семейных бед. Это горе было общее, как общей стала и главная цель: выстоять. Общим стал и тяжелей изнурительный труд здесь, в тылу. «Всё для фронта, всё для победы!»

Сопричастность, сопереживание, то, что раньше было естественными качествами Шуры, теперь стало свойственно большинству людей огромной страны. По очереди, одного за другим, проводила Шура всех своих братьев на фронт. Вместе с Александром призвали младшего брата отца, её дядю Владимира. Родные братья Шурино отца после гражданской, отсидев положенный срок за службу белым, тоже переехали в город. Они жили в другом районе города, но не это было главной причиной того, что родственники не хотели больше знать. Предвоенное время было тяжёлым: неосторожно сказанное слово могло быть причиной ареста, а иногда и «без права переписки». Эти страшные слова означали, что твоих близких уже нет в живых. Осторожничали братья отца, да и сам Степан не хотел с ними встречаться. И вот сейчас, здесь, на шумном вокзале они оказались рядом — три родных брата, три непримиримых врага. Один уезжал на фронт вместе со своим племянником. Когда-то они были лучшими друзьями, ведь по возрасту Владимир и Александр были ровесниками. Да и росли они фактически вместе. Владимир — последний, самый маленький в семье, рано лишился родителей, и фактически воспитывался старшим братом Шурино отца. Всё детство и юность прошли у них вместе: ходили в лес за ягодами и грибами, бегали на вечерки.

Шура теребила отца за рукав, просила: «Ради Бога, попрощайся!» Но он оставался безучастным. И его старший брат не подошел к Александру.

Раздался пронзительный свисток. Мелькали перед глазами лица, рюкзаки, русые, темные, рыжие головы. И две светлые головы рядом. Они повернулись как-то разом, и Шура увидела родные лица любимого брата и своего дяди. Они были вместе. «Господи, благослови их», — попросила она.

Через месяц пришли первые треугольнички писем, которых с таким нетерпением ждали. Вся родня сбежалась их послушать. Перечитывали многократно, радовались, что пока все живы и здоровы. Вскоре писем не стало. Прошло всего несколько месяцев войны, но к соседям то и дело приходили похорожки. Хмурый ходил отец, тихая с красными глазами мать. Истомилось и истосковалось и Шурино сердце. «Где братья, живы ли?» Она вставала и ложилась с горячими молитвами.

Хотелось сходить в церковь помолиться, но не в городской собор, а в родную деревенскую к «Скорбящей Божьей Матери». Это было несбыточной

мечтой, ведь перед войной церковь закрыли — невосполнимая потеря для всех верующих округи. Сейчас это стало особенно ясно, но все боялись не только выступать против, но и даже что-то говорить об этом. Были закрыты и разорены почти все храмы города и района. Из церкви Велизанца была вывезена вся церковная утварь, кроме больших настенных икон, среди которых осталась нетронутой и чудотворная «Скорбящая Божья Матерь». С церкви были сняты её небольшие, но звонкие колокола, которые неизменно каждое утро возвещали о приходе нового дня. Во всей округе вместо утренней разногласой переключки колокольных звонов и фабричных гудков установилось только однотонное гудение. Это гудение как будто бы провозглашало: «Работать! Работать! Работать и не думать о душе!»

Безбожие творило свои чёрные дела, захватывало в плен молодые беззащитные души. Сколько молодых людей стало искренне верить, что «религия — опиум для народа», а кто думал по другому, чаще молчали и не перечили. Разорением церкви в Велизанце руководила председатель сельского совета из Тарасихи. Это была молодая, задорная женщина. Шура её хорошо знала, вместе когда-то на вечерки бегали. «Вроде, хорошая девушка была, что с ней произошло? — гадали они с подругой. — Это ведь придумать надо, в храме зерновой склад сделать! Вот, поди-ка, нечистый-то рад. Ну да ладно, Господь ведь всё видит, даром такое не проходит».

И словно подтверждая их опасения, вскоре после этого события эта женщина тяжело заболела. Жители окрестных сёл шептались, что это её наказал Бог. Но страшное дело было сделано. Людям негде было молиться, крестить, отпевать, венчаться.

Всю округу поглотила тишина, которую не нарушил колокольный звон, даже когда на нашу землю пришла война, во время которой для многих людей лишь один Бог и давал какую-то надежду. Шуре и её близким особенно было жаль «Скорбящую Божью Матерь». Они были уверены, что она бы помогла им спасти их близких, защитила на поле битвы. Но ведь не пойдёшь молиться в склад, да и не пустят.

«Эх, люди, люди, — сетовала Шура, — искушают нас тёмные силы, а мы так легко поддаёмся! А ведь ответ всё равно держать придётся. Грехи наши тяжкие, вот и ноша по жизни тяжёлая».

В этот поздний вечер тяжёлого лета сорок второго года ей было особенно плохо и тоскливо. Она зябко ёжилась, кутаясь с головой в тёплую клетчатую шаль. Пробирали озноб. Накануне была сильная гроза, а сегодня с утра резко похолодало. Шура всегда была рачительной и экономной хозяйкой, но решила затопить подтопок. Крайне редкое явление для лета. Чтобы согреться, она присела на маленький сундучок и прислонилась спиной к печке. В окно постучали, и она увидела на крыльце свою мать с какой-то женщиной. Это оказалась их родственница из деревни.

— Шура, дочка, послушай, что тебе тётя Лиза-то расскажет. Случилось-то что!

— Что, мама? Кто-то погиб?

— Да нет, слава Богу. Только вот беда в деревне. Церковь-то наша сгорела.

— Как сгорела?

— А так! Молния в неё попала, не захотел Господь на поругание отдавать, к себе забрал.

— Господи! Господи, — запричитала Шура, — а «Скорбящая...» тоже сгорела?

— Спасли, спасли, вон Лизин сынок Валентин, он и спас. Да ведь? — обратилась она к женщине.

Та кивнула и начала рассказывать о том, как это произошло. Вечером во время грозы молния ударила в церковь, и пламя мгновенно её захватило. Люди, работающие в ней, а вернее теперь уже зерновом складе, выбежали и стали звать помощь. Сбежались все жители. Сначала тушили водой, но она разгоралась всё сильнее, тогда люди понесли из дома молоко и стали заливать молоком, но и это не помогало. Огонь под куполом, двери — сплошное пламя. Лиза смотрела на пылающую церковь, и слёзы текли по её лицу. В голове стучало, как будто её клевал дятел: «Скорбящая... горит, Скорбящая... горит». И вдруг страшный крик, как будто все закричали разом: «Скорбящая... горит!» Рядом сын, совсем подросток, плечики узенькие. А одно окошечко без огня.

— Валечка, сынок, спасти бы «Скорбящую...»

— Я сейчас, мама.

Она даже не осознавала, что послала своего сына, кровиночку, в огонь. А маленькая юркая фигурка была уже в проёме окна. Валентин прыгнул внутрь. Всё кругом пылало, языки пламени были и справа и слева, как шипящие змеи, они почти дотягивались до него. Вот-вот ужалят. Но ему почему-то не было жарко. Он смотрел на икону и понимал, что такая огромная в окно не пройдёт. Что-то шептало ему: «Разруби», и в руках у него уже был топорик. Икона разломилась легко, как по маслу, на ровные три части. Он стал передавать их в окно. Ему показалось, или это было на самом деле, что рука Богородицы с иконы погладила его по голове. Когда все три части оказались снаружи, он и сам легко пролез обратно. На нём не было ни царапинки, ни ожога.

— Богородица помогла ему, — сказала тётя Лиза.

— А где сейчас икона? — спросила Шура.

— В Введение. Ой! Да опять ведь настоящее чудо было! Сначала-то хотели вести в Кинешму в собор. Погрузили все три части на телегу, прикрыли тряпьем, чтоб не видно было. Кучер лошадь понукает, а она ни с места, сама разворачивается на другую дорогу. Смекнули люди, что надо вести в Введенскую церковь, там храм не осквернённый. Вроде, слава Богу, доехали. Церковь там за овражком стоит, и к ней мостик проложен. Лошадь на мосту встала и опять ни туда и ни сюда. Мужики хотели икону на руках перенести, так поднять её с телеги не могут, как стопудовая стала. Вышел тут батюшка из храма, на колени бухнулся перед лошадью, да давай молиться. Молится, ползёт на коленях к храму, а лошадь за ним идёт. У входа сняли икону с телеги, а она лёгкая, спокойно внесли, да установили. Правда, следы на ней остались от топора. Но ведь не это главное, а то, что теперь она при месте.

— Слава тебе, Господи! — невольно выдохнула Шура.

— И действительно, дочка, — поддержала мать, — хоть сходить помолиться можно будет.

— Да, да. Вы слышали, послабление церкви-то пошло, открывать начали. Видать, отступает от нас Антихрист, — добавила Лиза.

Через некоторое время Шура сходила в Введенье, в церковь, где обрела новую жизнь их Заступница. С трепетом вошла она в храм и сразу же увидела родную икону. Она преклонила колени и стала молиться: «Богородица заступись за моих братьев, не дай им погибнуть. Я уже и так дорого заплатила за свои грехи. Возьми мою жизнь, но не отбирай у меня братьев. Пусть мои родители дождутся своих сыновей, а мои племянники не станут сиротами». Она молилась, теряя реальность, время, почти не существуя, теряя свою телесную сущность. И она видела, что тепло и свет излучают глаза Богородицы и Сына Божьего в ответ на её молитву.

Икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и сейчас находится на самом почётном месте в этом храме, который, несмотря на скромность и небольшие размеры, пользуется большой популярностью не только у местных жителей. Люди несут сюда свои скорби, и Богородица простирает над ними руки, а верней свой благословенный покров, даря облегчение страданиям и радость обновления, а иногда и просто возможность жить.

После войны, когда взрослый Валентин Крылов отслужил в армии, он неожиданно для всех и для себя самого выиграл по лотерейному билету автомобиль. Редкостное явление, да просто чудо по тому времени, чтобы у простого деревенского парня была машина. И все, кто знал его, говорили, что это благодарность Богородицы.

Люди приставали к нему с вопросами: «Ты попросил Её?», а он только улыбался в ответ. Иногда совершенно посторонние люди начинали расспрашивать Шуру об её родственнике. Случай и правда был диковинный. Но она относилась к этому очень спокойно. «Господь лучше нас знает, чем нас награждать, чем наказывать. Просить Бога с Богородицей надо, чтобы вразумлял нас неразумных, не оставлял».

Во время войны для многих людей чудотворная икона была последней надеждой на спасение своих близких.

Сама Шура всю жизнь прожила с Богом в душе, не отступая от него и в самые трудные атеистические времена. Несла свет божий в сердца всех тех, кто был с ней рядом, своей добротой, состраданием — всем тем, что отличает истинного православного человека.

Глава 8. ГРОЗНЫЕ ЧАСОВЫЕ

За плечами остался первый год войны. Небольшой волжский город жил своими трудовыми буднями, жил ожиданиями и надеждами на лучшее. И если первые месяцы войны принесли разочарования и растерянность, которую большинство людей старалось скрыть, то холодная зима, после разгрома фашистов под Москвой, дала людям уверенность в победе, пусть не быстрой, и это тоже было теперь понятно, но победе. Кинешма была тыловым городом, который ни разу не бомбили. И об этом ходили среди народа какие-то невероятные слухи о том, что где-то здесь живёт бывшая приятельница Гитлера, поэтому город и не бомбят. В это, конечно, здравомыслящие люди абсолютно не верили, но факт остаётся фактом, фашистские самолёты облетали город стороной. Иногда слышались глухие

отдалённые раскаты взрывов со стороны Костромы или низовья Волги. Многие предприятия города, которые были в основном текстильными, работали теперь на военные нужды. Хоть фронт был и далеко, но их начали готовить к эвакуации. Рядом с фабриками на берегу стояли наготове специально подготовленные для этой цели баржи, благо предприятия в большинстве своём располагались на берегу Волги. В фабричных районах копали глубокие противотанковые траншеи. Любопытные мальчишки бегали смотреть на перекопанные вдоль и поперёк улицы, хоть их и прогоняли оттуда с грозной руганью. Было тревожно и интересно, гораздо интереснее, чем скучные уроки, с которых они сбегали. И среди этой шумной ватаги неизменным заводилой был Шурин племянник Виталик.

Сестра Евдокия, уже не прежняя маленькая Дуняша, а зрелая женщина, давно жила своей семьёй, с мужем и детьми, в небольшом доме на соседней улице. Сейчас, когда мужа забрали в армию, а сама она целыми днями была на работе, стало тяжело справляться с непослушным мальчишкой. Старшая Валентина — бойкая красивая девушка, поступила в ремесленное училище в Заволжск. Раньше она могла влиять на своего младшего брата, с которым, несмотря на разницу в возрасте, дружила больше, чем с сестрой. Вторая дочь тоже уже работала. Всем было некогда, и подросток был на своей воле.

Поздно вечером Евдокия прибежала в дом к Шуру.

— Ой, крёстная, не знаю, что и делать? Совсем Виталька отбился от рук. В школу не ходит. Тут недавно учительница приходила, ругала. А он заладил: «Пойду работать, а не устройте, так на фронт убегу», и всё. Прогуливает все уроки, а от безделья как бы беды не натворили. Поговорила бы ты с ним.

— Ладно, Дуняша, не причитай. Конечно, поговорю. Ну, уж если всё будет, как прежде, то может и правда определить его на работу? И тебе будет полегче. Всё ж, ещё рабочая карточка.

Разговор состоялся нелёгкий, хоть Витя и побаивался строгую свою тётку, но рос очень своевольным мальчишкой. Как убедить его не делать глупостей, не убегать из дома, подождать немного устройства на работу? Шура боялась, что в этом году его ещё не возьмут по возрасту.

Мальчишки и девочки военных лет. Как рано им пришлось стать взрослыми! Они восхищались своими сверстниками — героями, о которых писали газеты, вещало радио, теми, кто совершал героические поступки на фронте и здесь в тылу, работая наравне со взрослыми. Они мечтали походить на них. Они бегали в кинотеатры, чтобы посмотреть хронику с фронта, в которой показывали наших героических солдат, и там, в кино, всё было не так страшно, как на самом деле. А ещё они видели, как солдат кормят кашей, как они аппетитно уплетают хлеб. Вечно голодные дети войны, им так хотелось совершать подвиги, а ещё им очень хотелось есть. И это был также верный аргумент, почему нужно обязательно убежать на фронт.

«Ох, Виталька, Виталька, только бы ты не наделал глупостей, — думала Шура, — надо обязательно постараться устроить его на работу, там сразу повзрослеет, скорей бы ему исполнилось четырнадцать».

Но времени ни на что не хватало. С 26 июня 1941 года рабочий день был увеличен до одиннадцати часов, но фактически почти каждый день работали и сверхурочные часы. Домой Шура приходила очень поздно, усталая

и разбитая, и ей было не до чего. Судьба мальчишки очень тревожила, ведь чем-то очень неуловимо он напоминал ей незабываемого сыночка. Та же бесшабашная удаля, тот же непослушный завиток у виска, светлые проникновенные глаза. «Только бы не пропал мальчишка, нужно ему обязательно помочь», — думала его заботливая тётушка.

Текстильные фабрики в войну выпускали или ткань для военной одежды, или марлю для медицинских нужд и работали круглосуточно. Договориться о работе для племянника на своём предприятии Шуре так и не удалось, пришлось устроить его на соседнюю «Красную Ветку», где в отделе кадров работала её хорошая знакомая Мария Петровна.

Неуёмный характер её племянника не давал ему осознать всю серьёзность этого шага. Детство было закончено, теперь спрос с них, с этих мальчишек, был как со взрослых. Его определили в ремонтную мастерскую, которую называли попросту «медницкой». Мальчишки вроде Вити занимались подготовительной работой, чистили кирпичом и песком то, что нужно было ремонтировать. Работа не сложная, но очень изнурительная. После месяца работы стала кружиться голова, и однажды он потерял сознание. Подростка отправили в больницу, а когда выписали из неё, его трудовая пруть куда-то пропала.

Рано утром мать разбудила его: «Виталька, вставай, пора на работу».

Перечить было бесполезно, и он нехотя оделся и вышел из дома.

С Волги дул холодный, порывистый ветер, оскалив зубастую пасть, бежали по тёмной воде беяки. Подняв воротник фуфайки, он зашагал по направлению к проходной, но вдруг резко развернулся и зашагал к причалу. Недалеко от него качались привязанные к кольшкам лодки. Он сел на нос лодки, достал из кармана припрятанные самокрутки и закурил. Солнце поднималось всё выше, пригревало. «Наверное, прошло много времени, — подумал он, — всё равно опоздал».

Он не ходил в мастерскую уже несколько дней, болтаясь на берегу со своими прежними товарищами, которым он не стал объяснять, что прогуливает не школу, а работу. Как-то к их ватаге подошёл незнакомый мальчишка. «Наверное эвакуированный, — подумал Витя, — уж больно худой».

— Ты от куда, парень?

— Из Луха.

— Фью! А я думал эвакуированный, а ты приехал из соседней деревни.

— Ну, во-первых, не из деревни, Лух древний город, а во-вторых, не приехал, а пришёл.

Витя был поражён этим «пришёл», зная, что путь из Луха не близкий, и не обратил внимание на обиженное «во-первых».

— Ну ты даёшь! «Пришёл!» И сколько времени шёл?

— Немного сбился, наверное неделю.

— А зачем к нам в Кинешму?

— Город у вас красивый, и Волга. А ещё говорят, что Кинешма заговорённый город. Кострому бомбили, Нижний тоже, а Кинешма между ними, а её нет.

— Просто у Кинешмы часовые грозные.

— Какие часовые?

— А вон смотри налево и направо. Видишь трубы высокие.

Парень кивнул.

— Вижу, ну и что. Трубы и трубы.

— Нет. Это наши часовые, они город охраняют. И пока они дымят, город никто не тронет. И не улыбайся.

— Ну, сказки какие-то мне рассказываешь. Лучше объясни, куда мне на работу устроиться. Мне работать надо, а то мои все голодают. Да и стыдно в такое время, когда взрослые мужики воюют, не работать. Ты сам-то работаешь?

— Да, — соврал Витя. Почему то ему стало неудобно рассказывать этому мальчишке, что уже несколько дней как работу он прогуливает. Объяснив, куда можно пойти, Витя поскорей побежал домой. Что-то сегодня после этой встречи не давало ему покоя. Дома потихоньку прошмыгнул на полаты и затаился, горестно обдумывая как ему быть.

В это время по направлению к их дому шла Шура с Марией Петровной.

— Дунь, — с порога заговорила она, а ты знаешь, что Витька-то не работает?

— Как не работает, — запричитала Евдокия, — каждый же день уходит.

— Не знаю, куда он у тебя уходит, только на работе его нет, хорошо ещё пока думают, что болеет. Вон видишь, Мария Петровна пришла, хотела его навестить в больницу, а его уж неделю там след простыл.

— Витька, а ну-ка слезай с полатей! — закричала испуганная Евдокия.

А пугаться было чего, пусть он ещё был подросток, но невыход на работу в военное время мог закончиться только колонией для несовершеннолетних. А это, возможно, была бы полностью искалеченная жизнь.

— Мария Петровна, сжался, не ломай жизнь пацану, колония не лучшая школа жизни, — умоляла Шура, а рядом навсхлип рыдала Евдокия.

Пожалела пацана женщина. Рискуя и своей судьбой, скрыла его поступок и определила его на другую работу.

Там он подрос, возмужал и встретил конец войны со своей матерью и заботливой тётушкой, которая благодарила Бога и их спасительницу, наставившую племянника на путь истинный.

Глава 9. ПРИМИРЕНИЕ

Война шла по стране. Её жадная пасть проглатывала и перемалывала жизни и души людей. В некоторых семьях погибали все мужчины, терялись дети и жёны. Иногда ей, ненасытной и прожорливой, нужно было жертву покрупнее, и она сметала целиком сёла или города.

Маленького городка на Волге разрушения не коснулись, но чёрные вести заглядывали почти в каждый дом. Семью Лебедевых почтальон обходил стороной.

Наконец, в конце сорок второго пришли письма от Ивана и Александра. И только через год пришло письмо от Василия. Александр в своих письмах нередко писал о своём дяде Владимире, о том, что они вместе, что помогают друг другу. Отец слушал письма молча, хмурился, кряхтел и уходил курить в сени. Мать брала прочитанные письма, прижимала к сердцу и потом прятала поближе к иконам, в правом углу, обрамлённом белыми кру-

жевами. А Шура уходила в свой маленький домик и снова молилась: «Господи, не отнимай их у меня, у меня и так уже никого нет. Пусть они вернутся живыми».

И они вернулись. Все три её брата и дядя. Это был очень редкий случай. Первый приехал Василий, приехал инвалидом, почти ослепший. Он долго лежал в госпитале и оттуда, после долгого молчания, семья получила от него первую весточку. В мае приехали Александр с Владимиром. А вот Ивану пришлось надолго задержаться в Прибалтике.

Слёзы радости были в их семье и во многих других семьях. Радость выплеснулась из домов на улицы: ведь люди не могли удержать её в себе. И вместе с ними радовалась природа. Горьковатые ароматы черёмухи сменила сладкая сирень, благоухали акация и жасмин. И было очень тепло.

Шура подошла к крыльцу родительского дома и услышала спор Александра с отцом. Она тяжело вздохнула и перешагнула через порог.

— Господи, ну что вы опять?

— Шур, скажи хоть ты ему, Володька спас меня, кабы не он, так я бы и не сидел здесь. Пригласить их надо, победу надо вместе отпраздновать.

— Тять, — как в детстве, назвала отца Шура, — может, и правда пригласим Романовых?

Отец хмуро качал головой. И тут вмешался Василий, который до этого сидел молча: «Папа, время пришло простить друг друга, ты должен это понять». И отец сдался.

И вот, через столько долгих лет, они впервые сидели за одним столом. Поблескивали два ряда медалей и орден на груди молодцеватого, подтянутого Александра, смущенно поглядывал на своего старшего брата балагур Владимир, зеркально отражали стены толстые линзы очков Василия. Два старших брата, седые, состарившиеся, смотрели друг на друга молча. Иней посеребрил за эти годы и виски их племянников. Натянутость первых минут продолжалась недолго, а потом беседа потекла плавно и мирно. Александр с Владимиром сидели рядом, рассказывали о войне. И странное дело, они вспоминали сейчас лишь то, над чем можно было посмеяться.

— Представляете, стрельба неожиданно началась, а он под кустом, и с голым задом. Невтерпёж ему. А мы кричим: «Ползи за бугорок!» Он ползёт, а штаны-то сваливаются. В общем, отбились мы тогда удачно, и говорим ему: «Это ты всех фрицев своим голым задом напугал!»

За столом все засмеялись, а Шура подумала: «Счастье-то какое, все вместе мы».

— Василий, а ты чего молчишь? — сказал кто-то.

— Наверное, и у тебя есть что рассказать?

— Не знаю, повоевал я немного, попал к партизанам, а после освобождения, с осени сорок третьего года, всё по госпиталям. Вот и все приключения.

Говорил Василий как-то неохотно, и с другого края стола уже слышалась знакомая: «На Муромской дорожке...», так что его последних слов многие и не слышали. Песню дружно подхватили, её сменили другие, среди которых были и новые, военные, про синий платочек, смуглянку, — в Шуриной семье всегда любили петь. А потом снова потекла оживленная беседа, и никто, кроме Шуры, не обратил внимания на то, как Василий встал и ото-

шёл в глубину сада. Он присел на корточки, прислонившись к толстому и корявому стволу старой яблони. Её давно надо было спилить из-за бесполезности, но больно уж раскидиста была. Подрастающие внуки любили привязывать к толстому сучку веревочку с дощечкой и делать себе качели, да и взрослые предпочитали посидеть именно здесь. Вот рука ни у кого и не поднималась срубить, хоть иногда отец и ворчал, что яблоня занимает слишком много места. Густая тень падала от неё на лицо Василия. Он курил, в сгущавшихся сумерках трудно было разобрать выражение его лица, а тем более разглядеть глаза за толстыми стёклами очков. Но если бы кто и увидел, то не смог бы понять, что в них: боль, ненависть, страх или любовь — всё вместе соединилось в этом направленном в одну точку взгляде.

Он снова видел маленькую белорусскую деревню, притулившуюся у края леса, аккуратный домик среди пепелища целой улицы, полуразрушенную колокольню и свисавший, непонятно на чём державшийся, крест. Он вспомнил, как загадал тогда: «Если не упадет, останусь в живых». Слышались раскаты стрелявших орудий, то удалявшиеся, то приближавшиеся вновь, и вдруг он почувствовал, что рядом с ним, плечом к плечу, опять его друг Серёжка, такой бесшабашный и весёлый. Даже в эти ужасные дни отступления непонятно куда и непонятно почему, когда кругом были только хмурые и раздраженные лица ничего не понимающих людей, он не терял присутствие духа и всех подбадривал, хоть иногда и по-своему звонко и наотмашь матерился. Василий ощутил тепло его тела, и от этого ниоткуда не исходившего тепла мороз пробежал по его коже. И снова яркий свет бил в его глаза, а за ним — темнота и пустота, которая в этот страшный день посетила его дважды. Первый раз он вышел из неё под звуки немецкой речи. Прямо перед ним выросла осклаившаяся гримаса чужого, показавшегося ему очень страшным, лица. Рядом были знакомые тепло и запах. И он, скосившись, увидел сидящего около него Серёгу. На боку его изодранной гимнастерки темнели пятна запёкшейся крови. Сергей почувствовал взгляд и повернулся к нему: «Очнулся, значит, хоть попросимся, а воевать-то, друг, больше не придётся». И показал ему взглядом на деревянные наспех сколоченные виселицы. Василий привстал и увидел валявшиеся в беспорядке трупы его товарищей. Несколько уцелевших солдат сидело поодаль. Фашисты торопились, им некогда было брать в плен наших солдат. Рядом с виселицами стояли их машины и мотоциклы. Молодой длиннорукий немец гнал нескольких женщин и парнишку к виселице, где уже стояла кучка женщин, стариков и детей. Видимо, было решено устроить показательную казнь. Мальчишка лет двенадцати смотрел полными ужаса глазами, Сергей подмигнул ему и сказал: «Эй, парень, не дрейфь, тебе ещё этих гадов гнать назад, нам-то уж не придётся». На фоне звенящей тишины взвизгнул тоненький девичий голосок: «Ой, мамочки!» И снова Василия поглотила темнота, за которой мерцала узкая полоска света. Она постепенно расширялась и превратилась в ласковые серые глаза, рядом с которыми развивалась светлая прядь волос, а сквозь неё просвечивала колокольня с кривым крестом: «Потерпи, родной, потерпи». И он куда-то плыл в узкой лодке по крутым гребням волн, которые больно упирались то в спину, то в бок, то в поясницу. Он не сразу понял, что странная лодка — это обычный половик, на кото-

ром тащила его к маленькому дому женщина. Это ей он обязан своей жизнью. Когда фашисты уехали, а жители в ужасе разбежались, она стала обрезать верёвки, надеясь спасти солдат. Но спасти удалось только его. Почему она почувствовала, что он ещё жив, он так и не понял. Долгие месяцы она выхаживала его у себя в подвале, а когда он окреп, то смог уйти к партизанам. На другой день после казни жители села решили похоронить наших солдат и увидели, что одного из повешенных не хватало. Но в этой деревне предателей не было.

«Пойдем, Васенька, — тронула его за рукав Шура. — Гости уже расходятся, дядя Семен с Володиёй пойдут к Евдокии ночевать, надо попрощаться». У калитки стояли три брата в окружении многочисленных родственников. Отец и его старший брат подали друг другу руки и даже обнялись. Родственники потом утверждали, что оба одновременно произнесли: «Прости, брат». А Шура подумала: «Не было бы счастья, да несчастье помогло, видимо, вместе они ходят по жизни, и даже из большого горя иногда получается хоть небольшая, но радость. Только бы сберечь, не потерять её, быть всем вместе на родной земле. И чтобы у каждого из моих родных было своё земное счастье, а я могла порадоваться за них».

Глава 10. ВЕСНА

В этом году весне долго не удавалось прорваться через холодные ветра, непросыхающую грязь, надоедливый мелкий дождь. И вот, наконец, озорные солнечные зайчики выпрыгнули из-за серых хмурых туч, и сразу все повеселело и раскудрявилось.

Шура шла на соседнюю улицу, перешагивая через лужи, и размышляла: «Что за срочность? Зачем ее позвала сестра?»

После войны прошло уже пять лет. Дети у Евдокии выросли: старшая дочь жила далеко от родных мест, младшая недавно вышла замуж и родила ребёнка, сын тоже был уже взрослым парнем.

Дуня встретила ее у калитки.

— Гости у нас, крестная, дочь приехала с женихом, а жених-то не русский. Прямо беда! Что делать-то?

— Ну, что ты причитаешь? Конец света что ли? Разве это главное? Ты смотри, какой он человек.

— Ой, да я не знаю. Говорит-то как-то чудно, но вроде ласково. Все «мамоська» меня называет.

— Ну, ладно, ладно, пошли в дом.

В их большой и дружной семье как-то само собой повелось, что Шура была главной советчицей: ее слушались, ее обо всем спрашивали, даже когда еще живы были родители. А теперь, когда недавно их не стало, она и вправду стала всем за мать.

Знакомство с женихом племянницы не разочаровало ее. Он показался Шуре серьезным и обстоятельным, да и жил он в стране уже давно, с тридцать седьмого года, еще ребенком привезли во время фашистского мятежа в Испании. Воспитывался он в детском доме для детей-иностранцев в Ленинграде, даже попал в блокаду, а после был эвакуирован в Тбилиси, где и остался работать на текстильном комбинате. Там он и познакомился

с Валентиной, Шуриной племянницей. «Вообще, свой рабочий, текстильщик. Чего ж тут волноваться? — думала Шура. — И Валентину он, вроде, любит».

Посоветовавшись, решили, что надо пригласить всех родных в гости. Стол накрыли в саду, благо погода наконец-то установилась и дала им возможность насладиться красотой цветущего сада.

За большим столом сидели не только семья Лебедевых, но и двоюродные братья Романовы. И Шура вспомнила, как первый раз они сели за стол все вместе в первую послевоенную весну, как радовалась она примирению братьев, и как неожиданно радость эта была омрачена горем. На другой день на руках у своего брата, Шурино отца, умер его старший брат. Это было большим потрясением для всех. Получилось, что они помирились и прощались одновременно. Сейчас за этим застольем Шура так отчетливо все это припомнилось, и эти печальные воспоминания омрачали ее мысли. Она старалась быть спокойной, хотя бы внешне, внимательно слушала, о чем идет разговор за столом.

А говорили о близком и понятном каждому рабочему человеку. Какая разница, где человек работает на фабрике, в Кинешме, или в Тбилиси. Там, на далёком текстильном комбинате трудилось много рабочих из Кинешмы, Вичуги, Наволок, а также и из других уголков необъятной Родины. Вместе с Мануэлем работали его друзья, многие из которых выросли здесь, на Ивановской земле в интердоме. Молодые, увлечённые ребята: занимались спортом, в художественной самодеятельности, учились в вечерних институтах. Валентину все считали настоящей артисткой, потому что она играла в народном театре, а Мануэль занимался акробатикой, которая была в это время очень модным спортом.

— Так, значит, вы участвовали во всесоюзных соревнованиях? — спросил Виталий. — Вот это здорово!

— И не только участвовал, он занимал неоднократно призовые места, — сказала с гордостью Валентина. — Ну, чего ты молчишь, не скромничай!

— Вальсеска, сто в этом особенного? Насы все спортсмены.

— Да, правда, — говорила Валентина, — все его друзья — спортсмены.

— А где вы будете жить после свадьбы? — спросил дядя Александр.

— Нам дадут отдельную квартиру, однокомнатную, правда, на территории комбината. Там большой дом, в основном в нем живут испанцы, его так и называют — «испанский дом», — ответила за жениха Валентина.

— Это, конечно, хорошо, дочка, — сказал отец Валентины, Михаил, — но, все-таки, лучше бы вы сюда переехали.

— Ну что ты, папа, зачем? Там лучше, да и Мануэль сюда не захочет.

— Здесь холодно, папа, русская зима очень холодная, — поддержал Валентину Мануэль.

— Да уж больно далеко, дочка, забрались, — сказала Евдокия.

— И совсем не далеко, мам, в одной ведь стране.

И все сразу на секунду притихли, наверное, подумали о Мануэле. Он ведь живет, оторванный от своей родины, от своих близких. И одновременно с нескольких сторон его стали спрашивать:

— А с родными у тебя есть связь?

— Нет, никакой, — отвечал он.

— А ты знаешь об их судьбе?

— Ничего не известно. Думаю, что отец вряд ли жив, он был коммунистом. А вот мать, возможно, и жива, она из зажиточной семьи. Наверное, родные помогли ей, но где она и что с ней, не знаю.

— Неужели и писем нет?

— Нет, ведь там фашисты.

Стараясь больше не трогать болезненную тему, стали переводить разговор к другим насущным проблемам.

Шура задумчиво смотрела на молодых. «Подросли племянники. Самым бы старшим сейчас был мой Ванятка, но видать, не судьба мне понять внуков. А у Евдокии, Александра, Василия, слава Богу, все живы и здоровы. Подросли. Вон, Виталька какой красавец стал. Тоже Господь помог, уберегла. Влюбляются, женятся. Вот и Валентина нашла свою судьбу. Только что-то тревожно мне, глядя на них. Любовь соединила, но не возникнут ли обстоятельства, которые разорвут их на две половинки? Мы заговорили о родных Мануэля, о его Родине, и какая грусть была в его глазах. Наверняка он тоскует о своей матери, об отце, о всех близких, которые так далеко. А каково же матерям этих мальчишек и девчонок, волею судьбы заброшенных на чужую землю, сколько слез, наверное, ими пролито. Да и ребят этих тоже манит, наверное, назад домой».

В унисон её грустным мыслям зазвучала печальная песня.

— «На Муромской дорожке стояли три сосны...» — красиво выводил многоголосый хор, а больше всех выделялся голос Евдокии и Валентины. Мануэль с удовольствием слушал, но когда он стал подпевать, так громко и так не в такт, все сразу замолчали и заулыбались. Когда он понял, что поет один, он засмутился.

— Валеська говорит, что медведь отступил мои уши.

— Не слушай ее, Маноло, пой как нравится — говорили ему.

— Нет, пусть споют лучше мамаска с Валеськой, у них лучше получается.

— Да, правда, Евдокия, спой свою любимую.

Бело-розовые ветви яблони, слегка покачиваясь, как будто тоже просили: «Спой, спой». И полилась протяжная, трогательная до самой глубины, песня.

— «Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь,
Я по этому колечку
Буду плакать день и ночь...»

«Ох, как больно моему сердцу, — думала Шура, — видно, любовь еще живет в нем. А ведь уже выросли дети моих младших сестер и братьев. И у них своя любовь, свои надежды. Дай-то Бог исполниться им. Дай-то Бог, не случится ничего, что может это все разрушить».

А тем временем гулянье продолжалось. Гармошка заиграла веселей, и все, напевая и притопывая, пустились в пляс.

Мануэль с удовольствием махал руками, сильно топал и не спускал глаз со своей невесты. Его подзадоривали: «Пляши, пляши, Мануэль, нашу русскую!»

Его тянули в круг, но он упирался.

— Ты же испанец, а испанцы хорошо танцуют.

— У меня лучше получается другое, — сказал он и подхватил на руки сразу двоих.

— А больше можешь?

— Могу и четверых, но чтоб они сами встали сверху.

Мануэль начал делать акробатические трюки, и молодежь собралась вокруг него.

— Здорово! Молодец, Мануэль!

Веселье было еще в разгаре, но сад уже начали окутывать сумерки. Озорной весенний ветерок пробежался по макушкам деревьев. Солнце уже почти село, и становилось прохладней.

— А пойдемте гулять на Волгу, — предложил кто-то из молодых.

— Идите, идите, ребятки, — сказал отец Валентины, — и Мануэлю покажите, как у нас на Волге красиво, особенно вечером, когда идут теплоходы один за другим. Погуляйте!

Молодежь ушла, а старшее поколение тоже стали расходиться по домам.

Шура шла домой не спеша. Любимые песни, чужое счастье всколыхнули старое, то, что хранила в глубине души, но никогда не забывала. «Другое время, — думала она, — может быть, сегодня у них будет больше счастья и любви, чем у моих сверстников».

Дома она долго ворочалась в своей одинокой постели и заснула только под утро.

Это был удивительный сон. Она опять видела знакомое поле, по которому пролегла глубокая межа. С одной стороны стояло много народа. Лица ей были знакомы, но явно она различила лишь своих родителей и своего любимого, который держал за руку сына. С другой стороны от межи стояла она. Она хотела перейти межу, она звала их. Но Михаил показал ей рукой в сторону и сказал: «Иди туда, ты нужна им».

И она увидела двух маленьких девочек, которые шли к ней. Одна была беленькая, румяная и круглолицая, а другая большеглазая и темноволосая. Шура повернулась к ним, протянула руки, а потом оглянулась, но на другом краю поля уже не было никого: ни Михаила, ни сына, ни родителей.

И она проснулась. В окно заглядывали пушистые белые ветви цветущей вишни, сквозь которые просвечивали лучи солнца.

Что за девочки ей приснились, она так и не поняла, они были ей незнакомы. Да и девочек этих — её будущих воспитанниц, пока ещё и не было в этом мире. Но то, что этот сон не простой, она не сомневалась. Она всегда запоминала только те сны, которые имели для неё, как показывало потом будущее, какое-то значение.

Женщина обратилась к тем, кто так дорог её сердцу, но кого уже давно нет вместе с ней: «Рано, видно, мне, дорогие мои, к вам собираться».

Она вышла на крыльцо, зажмурилась от яркого света, и зябко поежилась от прохладного ветра, дохнувшего ей в лицо.

Шура свела руками на груди края теплой кофточки и подумала.

«Все-таки еще не лето, но хорошо, очень хорошо. Весна!»

*Валерий Орлов
(Россия, г. Санкт-Петербург)*

РОМАН НИ О ЧЁМ...

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Трое суток дороги в жарком, вонючем вагоне, летом — это адское мучение, которое мне пришлось испытать. Днем — плач детей, пьяные песни нетрезвых пассажиров, а ночью и того хуже — дикий, безостановочный храп, который не дает ни минуты отдыха. При любой остановке поезда я выскакивал на свежий воздух, чтобы передохнуть от этого мучения. Наконец, обессиленного и чуть живого поезд дотащил меня до моря. Когда я увидел из окна бескрайние водные дали, жизнь показалась мне прекрасной, забылись несносные соседи и духота вагона. От Туапсе до Сочи поезд очень тихо едет вдоль берега. У меня возникала шальная мысль — выскочить из вагона, окунуться в морской воде и снова заскочить в вагон. Но я всегда отгонял это заманчивое желание, так как с моими физическими данными на тот момент — это было чистое безумие: мне не только пробежать, но пройти без отдыха двадцать метров было тяжело.

На море, в Сочи, я был несколько раз, поэтому знаком с его окрестностями. Санаторий для военнослужащих находился не в самом Сочи, а на станции Лазаревское, маленьком поселке. Несколько двухэтажных домов давали этому населенному пункту статус южного городка. Но в основном всю территорию занимали частные одноэтажные строения с небольшими садами. В Лазаревском у меня жил приятель, и я несколько раз отдыхал в этом поселке — здесь мне было все знакомо. К станции подъехали утром, часов в десять; погода стояла великолепная: штиль на море, прохладный воздух был полон запахами южных растений и гниющих водорослей на берегу.

Я с трудом вышел из вагона, вздохнул несколько раз морской воздух, и чуть было не рухнул под колеса вагона. Голова закружилась, как после выпитого вина. Ноги были ватные, руки тряслись. Рот судорожно хватал новые и новые порции чистого воздуха и старался выбросить из больного тела всю гниль прошедших месяцев. Кое-как дополз до скамейки и плюхнулся на нее. Две пышные девицы, проходя мимо, с презрением посмотрели в мою сторону, и я услышал: «С утра уже пьян...» Да, я был пьян от юга, моря, воздуха! Через двадцать минут полностью пришел в себя и не спеша отправился к дикому пляжу, на котором не было раздевалок, туалетов и зонтиков с лежаками. Зато крупные камни и мусор водились в изобилии. На этом пляже всегда бывает немного народа, а сегодня только одна молодая женщина сидела на камне у воды. Недалеко играл пятилетний ребенок. Он строил песчаный дворец, она читала толстый журнал. Я про-

шел мимо, на меня не обратили никакого внимания. В метрах десяти от них остановился, сбросил с плеча сумку с пожитками, разделся, и так как у меня не было плавок, подкрутил свои длинные семейные трусы белого цвета, и отправился покорять морскую стихию недалеко от берега. Отходить далеко от своих вещей я не рискнул — в прошлый приезд в Сочи у меня на пляже украли брюки и рубашку. Поплескавшись у самого берега, где глубина доходила мне до пояса, я собирался на берег, но с ужасом увидел, что материал моих трусов стал прозрачным. Постояв в воде пару минут, махнул на все рукой, вышел на берег с видом победителя и отправился к своей стоянке, а краем глаза наблюдаю за реакцией моей соседки. Та, видимо, обладала хорошим зрением, и сразу заметила в каком я положении; отложила журнал и благосклонно смотрела в мою сторону. Повернувшись к ней белым, тощим задом отжал трусы, оделся и пошел в сторону вокзала; когда с ней поравнялся — сделал вид, что ничего необычного не произошло... Так, маленькое недоразумение, и что женщины в данный момент меня мало интересуют.

На вокзале у дежурного узнал, где находится санаторий для военнослужащих. Оказалось, их было два, я отправился к одному из них. Проходя через базар, купил черешни, и с огромным удовольствием принялся уничтожать спелую ягоду. Мы едим привозные плоды, вкус которых никогда не сравнится с ягодой, только что сорванной с дерева. За время перевозки их вкусовые качества резко падают. Черешня, сорванная вами — это божественный продукт, который тает во рту, отдавая все наслаждения юга.

Я перешел шоссе с нескончаемой вереницей машин, свернул направо и, пройдя метров сто, увидел железные ворота с табличкой «Санаторий Вооруженных сил», сверху, над воротами виднелась небольшая заржавленная звезда. Ворота были обвиты плющом, и только верхняя перекладина со звездой свободна от этих цепких растений. За воротами, справа, я увидел полуразвалившуюся будку с фигурой пожилой женщины в окне, та то ли вязала носок, то ли зашивала какую-то тряпку. Я почти крикнул в ее сторону: «Где канцелярия?» Женщина махнула рукой куда-то вверх и продолжала заниматься своей работой. Поняв ее, что надо идти прямо, пошел вверх по дорожке. Скоро за пышной растительностью стали видны строения санатория. Я направился к ближайшему двухэтажному строению, откуда меня отправили к одноэтажному дому с облезлыми стенами. Видно было, что все здания требуют капитального ремонта. Южный климат быстро разрушает все, что создано руками человека. Особенно достается дорогам, их надо ремонтировать каждый год. Все окна и двери канцелярии были открыты, слышен шум голосов и горячие споры; там собрались врачи на утреннюю летучку. Чей-то визгливый голос кричал: «Я — полковник, а вы мне предлагаете коридор. Буду жаловаться в Москву». Через минуту из дверей вылетела короткая, толстая фигура и скрылась за растительностью. Меня удивил ее цвет: белая голова, красно-розовые руки и ноги. Видимо, полковник недавно приехал, обгорел на солнце и имел вид красного шара. Когда собрание успокоилось, я предъявил документы главврачу, который был похож на убежавшего полковника, но только в другой одежде — в белом накрахмаленном халате. Тот внимательно изучил мои бумаги,

тяжело вздохнул и сказал молодой красивой женщине: «Вот еще один наш отдыхающий, давайте думать — куда его поселить». Та оказалась властной и резкой женщиной; небрежно посмотрев в мою сторону, произнесла: «Пока поживет в коридоре, а как освободится место — предоставим кровать в палате». Мне было все равно — была бы крыша над головой. Вызвали медсестру, и та отвела меня к двухэтажному корпусу: здание было кирпичное, старое, такие строили в тридцатых-сороковых годах. На каждом этаже располагались четыре палаты, коридоры были довольно широкие, заставленные шкафами и пустыми кроватями. Каждая палата рассчитана на три кровати, а врачи ухитрились поставить там пять-шесть. Одна из коек в коридоре была аккуратно заправлена бельем — она предназначалась мне. «Ценные вещи сдайте в камеру хранения. А то у нас — проходной двор», — сказала медсестра приятным голосом. Пока я устраивался на новом месте, она принесла листок-инструкцию, в котором был указан распорядок дня отдыхающего: с утра меня ждала встреча с врачом, который назначает курс лечения, потом — ряд процедур, и только после пяти часов вечера мне предоставляется свободное время. Массажи, грязевые ванны, физические упражнения — все это я должен получать ежедневно в санатории. Питание — три раза в день, не считая полдника, как в пионерском лагере, в моем далеком детстве. В палатах — пусто, все было на процедурах, или уехали в «Большие Сочи». По расписанию: в восемь — завтрак, в час — обед, в пять — полдник, в семь — ужин. В девять — кино или танцы, а в одиннадцать — отбой. Схема отдыха простая и четкая. Никаких нервных нагрузок, если сам себе их не придумаешь.

Устроившись, я пошел изучать расположение всех зданий санатория: всего пять корпусов, отдыхающих примерно человек сто, медперсонала — пятнадцать. У столовой лежало три здоровых, ожиревших собаки, а в тени, под навесом, дремали два кота. Кругом было тихо, только на кухне бряцали посудой. Меня особенно поразили собаки, они были закармливаемы до такой степени, что с трудом передвигались, но взгляд их всегда направлен в одну точку — дверь на кухню. «Сдохну, но съем сам, чем отдам соседу» — было написано на их мордах. На завтрак я опоздал, но на обед попал вовремя; мне указали мое постоянное место за столом, на двадцать дней. Столы — на четыре человека, еду разносили официантки; кормили — ни как в ресторане, но есть было можно. Часть отдыхающих пропускала эти мероприятия по разным причинам, и официанты предлагали их порции — я редко отказывался, особенно от двойного ужина. Недалеко от моей кровати, в коридоре, стоял холодильник, там всегда хранились хлеб и сало; я часто прикладывался к этим запасам — мой организм требовал усиленной пищи. С трех до четырех проходил «тихий час», но кровати были пусты, видимо, отдыхающие проводили его на пляже. Зато после ужина я увидел всех жильцов этого заведения на танцплощадке и в кино. Молодых мужчин было мало, но много — старых, облезлых вояк, а еще больше — молодых женщин. Откуда они приехали — для меня было сначала загадкой, но вскоре все прояснилось: одни были женами офицеров, другие — любовницами или членами их семей. Как я понял, все санатории юга были заполнены не теми, кто защищает

Россию и нуждается в лечении и в восстановлении своего здоровья, а разного рода прилипаниями. Кино крутили прямо на улице, танцплощадка была рядом. С восьми до десяти вечера — эти два мероприятия считались основными для всех отдыхающих. На танцы приходили и местные молодые люди, которые имели определенный успех у женщин. Первые три вечера я только издали смотрел на танцующих, боялся участвовать в этом мероприятии из-за слабости своего здоровья. Но с большим интересом знакомился с экзотическими танцами наших «старичков», которые, несмотря на свои большие животы, лихо отплясывали какую-то странную смесь польки и танго.

Каждый день в санатории я проводил время по определенному расписанию: сначала попадал в руки массажиста — нестарого, крепкого армянина. Он был до такой степени волосат, что издали его можно принять за обезьяну, но массажировал великолепно. К нему приходили на эти процедуры отдыхающие из других санаториев. Перед массажным столом он был похож на музыканта-виртуоза, его длинные пальцы играли по мышцам и костям, как по клавишам. После тридцати минут массажа больной мог не только быстро ходить, но и летать по санаторию. Этот армянин почти не говорил; за двадцать дней я слышал от него всего три слова — «ложись», «повернись», «расслабься». Еще я посещал водолечебницу и грязелечебницу — тоже приятное времяпровождение. В грязелечебнице установлено несколько ванн, наполненных жидкой глиной, барахтаясь в этой грязи, всегда чувствуешь себя свиньей в луже. Теплый раствор успокаивает и омолаживает тело, переломы, вывихи, растяжения быстро заживают. Один раз я так разнежился, что незаметно для себя заснул — спасибо медсестре — разбудила! Водные процедуры тоже имеют определенную ценность: теплая минеральная вода бодрит все тело, а вот резкий водный душ мне не очень понравился; он сильно возбуждает и после него хочется куда-то бежать. Больной испытывает большое нервное напряжение.

После такого усиленного лечения я вновь почувствовал себя молодым, сильным человеком, и вечером смело направился в сторону танцплощадки. Пришел довольно рано; несколько пожилых пар лениво вальсировали по кругу, группа нестарых женщин о чем-то разговаривали в беседке. Я немного времени потоптался у танцплощадки и пошел в город, на главную улицу, к вокзалу. Там с семи до двенадцати гуляли все отдыхающие: пили вино, ели чебуреки или просто «глазели» друг на друга. Мне пришлось последовать их примеру: выпить кислого вина, закусить и рассматривать красивых женщин. Минут через тридцать я вернулся в свой санаторий — танцплощадка просто гудела от народа, живая масса людей не танцевала, а терлась животами, спинами друг о друга, энергия всепоглощающей любви затягивала пришедших в этот клубок, а через некоторое время парами выбрасывала в черноту южной ночи. Обаянию юга поддался и я; протиснувшись в толпу, стал высматривать свою избранницу. В то время в моде были мелодии из «Рио-Риты» и «Марини», все танцплощадки маленького городка играли эту музыку. Меня пригласила на танец красивая молодая женщина. «Вы, извините, что так сразу пригласила, но я боялась, что слишком много женщин захотят с вами танцевать, а мне «старички» надоели —

уста от них, они как назойливые мухи — не дают прохода нигде!» — прошептала она мне на ухо. Танцевала молодая женщина легко и уверенно; под тонкой материей платья мои руки чувствовали гибкое, горячее тело, сильный мускусный запах исходил от нее. От ее прикосновений, от южной бархатной ночи у меня кружилась голова — я давно не чувствовал в своих объятиях тела женщины. Она была среднего роста, со стройной фигурой, темные вьющиеся волосы оттеняли загорелую кожу лица с правильными чертами. Говорила с каким-то южнорусским акцентом, видимо, была украинкой. Галя, так звали молодую женщину, мне сразу понравилась. Наверно, Господь почувствовал мое желание и предложил прекрасный образец такой натуры. Мы с ней протанцевали весь вечер, потом пошли провожать друг друга, сначала — я ее, потом она меня, и все время говорили о чем-то не важном, но интересном на тот момент. Больше говорила она, я только поддакивал и кивал головой. На следующее утро мы встретились, и у нас закрутился курортный роман. В конце дикого пляжа облюбовали небольшой кусочек берега, где от железнодорожного полотна до воды не более пятнадцати метров. Со стороны берега проходила бетонная стена высотой около двух метров. Я устраивал там палатку из простыней; место было пустынное, нам никто не мешал и мы никому не были нужны. В этой палатке мы занимались любовью или просто проводили курортные часы. Я был женат, Галя — замужем, поэтому наши отношения ни к чему не обязывали и не предвещали никаких осложнений — так, безобидный флирт. Мы это хорошо понимали, поэтому к настоящим событиям относились спокойно и просто. Секс не был у нас главным, но занимал значительное место в наших отношениях; основное — это времяпровождение вдвоем. Но если говорить об интимных отношениях, то Галя была на недоступной для меня высоте: темперамент южной женщины по сравнению с северным спокойствием мужчины можно сравнить, как огонь и воду, которую она заставляла закипать. И хотя я был после тяжелых ранений и четырех месяцев лечения в госпитале, как мужчина я не стоял перед ней на коленях, в делах любовных мы были наравне. Наши встречи проходили только утром, после завтрака, когда не было назойливых отдыхающих, и пустынный берег моря располагал к романтической любви. Однажды, когда Галя сидела у палатки и обнаженной принимала воздушные ванны, я в ее фигуре увидел образ другой женщины-девушки, из моей юности — Татьяны Р. Не знаю почему, но мне явственно вспомнились встречи с ней.

С Татьяной мы были знакомы по парку, она мне нравилась. Я несколько раз провожал ее домой и надолго задерживался там, отдавая дань любви через жаркие поцелуи. Ей недавно исполнилось восемнадцать лет, и она оканчивала химический техникум. Я был ее ровесником, учился на летчика в авиационном центре. Летом мы, курсанты, все время проводили на аэродроме, за городом, но в субботу и в воскресенье нам давали увольнение домой. Помню, в такую свободную субботу, прихожу в парк, где к восьми вечера собралась наша компания, выпили вина, разбились на пары и пошли на танцплощадку. Я — конечно, с Таней! Во время второго танца она мне говорит, так, между прочим, что ее родители уехали отдыхать на две недели и... квартира свободная! Я принял это к сведению; подхватил Таню под руч-

ку и мы пошли к ней. По дороге зашли в магазин, купили вина, конфет. У нее дома, не занимаясь пустой болтовней о «розах-мимозах», мы накиннулись друг на друга, содрали жалкие одежды и занялись диким, звериным сексом. Не помню, сколько любовных позиций мы сменили за вечер и ночь, но нам все казалось мало — я искал глубину там, где ее не было, она требовала твердости, которая не могла быть продолжительной. К утру наши обессиленные тела, в каких-то неестественных позах отдыхали от тяжелой работы. Но, едва пробудившись и выпив по стакану вина, мы вновь с неистощимой страстью набросились друг на друга. Наш любовный пыл не ослабевал весь день и всю следующую ночь. Только утром, в понедельник, я, наконец, оторвался от любовного марафона и поспешил на аэродром, где было построение всех курсантов в девять часов. Все мои приятели, отдохнувшие и веселые, стояли в строю, один я, с серым лицом и полузакрытыми глазами, шатался между ними. Старшина, проверив всех по списку, заметил в мой адрес, что я готов сыграть роль половой тряпки у входа в казарму — это было правильное замечание! Меня отправили отсыпаться в пристройку к казарме, где хранились парашюты. Через четыре часа здорового сна я был снова готов для решения любого военного приказа. В следующую субботу, ровно в три часа, Таня ждала меня у проходной. Через час были у нее дома и вновь утонули в любовном экстазе. Скоро приехали ее родители, наши сексуальные упражнения прекратились, и мы снова превратились в хороших друзей; потом слово «дружба» сменилось на «знакомство» и потихоньку наши отношения забылись. У меня появилась другая девушка, у нее — новый парень. Всплыли еще два воспоминания о Тане и... оба нехорошие. Первое: я пришел на танцы со своим приятелем, летчиком, он был невысокого роста, некрасивый и отталкивал взгляды местных красавиц. А мы были здорово выпивши, и я предложил ему выбрать любую красивую девчонку из нашей компании, что бы он мог с ней танцевать весь вечер. Только — танцы, никаких сексуальных последствий! Приятель указал на Таню Р. Я подошел к ней и попросил об этом одолжении. Она подумала и согласилась. Забыв о разговоре, я развлекался на другом конце площадки и случайно увидел моего летчика стоящим у входа; подошел и спросил: «Ну, как, развлекаешься?» Он с обидой в голосе мне отвечает: «Два раза к ней подходил и... отказала!» Меня охватила такая злоба к Таньке: отказать моему другу, летчику, только за то, что он лицом не вышел к ее потребностям. Я переговорил со своей знакомой, Анькой — грозой всех девиц парка, деревенской девчонке, мощного сложения, которая приехала в город посмотреть на его достопримечательности, да так и осталась в нем, устроившись на завод рабочей. Она выполняла роль паркового санитара — наказывала неудобных нам девчонок. Анька подошла к Тане, сильной рукой подцепила ее и вытащила с танцплощадки; последнее, что я видел и слышал — колыхание кустов и детский, беззащитный писк моей бывшей подруги. Я потом часто себя корил за такой поступок!

Второе нехорошее воспоминание — трагическая судьба Татьяны Р. Она вышла замуж за моего знакомого; была счастлива с ним четыре года, родила двух детей. При переезде из одной квартиры в другую оставила мужа «гулять» с друзьями; они много выпили, было поздно, все разошлись, а Володя,

ее супруг, закурил сигарету, лег на диван и уснул. Через час соседи вызвали пожарных, но было поздно — Володя сгорел. Так Татьяна в двадцать пять лет стала вдовой, с двумя малолетними детьми. Я ее как-то встретил на улице и она, с женской непосредственностью, хотела подойти, а я на нее не обратил внимания и прошел мимо. Мне потом было так стыдно за мой грубый, трусливый поступок; что стоило успокоить, приласкать несчастную женщину, а я — оттолкнул. Может, за это и наказал меня Господь, — в моих объятиях было много женщин, и ни одна не задерживалась, все исчезали во временной пустоте.

У Гали осталось всего шесть дней до окончания отдыха, я ей сказал об этом. Она усмехнулась и весело произнесла: «Мы с тобой уедем вместе, постараюсь договориться с главврачом о продлении путевки». Как она это сделала — не знаю, но ей продлили курс лечения еще на пятнадцать дней. Моя подруга говорила, что ее муж работает в Генштабе, видимо, это подействовало на главврача; я мало интересовался подробностями, для меня настоящее было важнее, чем завтрашний день. Мне от Галины, кроме загорелого, красивого тела, ничего было не надо, да и ее тоже устраивали наши встречи на берегу моря. Как-то раз, утром, мы проходили около будки спасателей, рядом с ней находился сарай, в котором хранились лодки. Там я увидел спортивное каноэ, у ребят-спасателей спросил: «Кто плавает на каноэ?» Они ответили, что их приятель, который сейчас в отпуске, только один и может сидеть в этой посудине. Я попросил разрешения покататься на ней за определенную плату. Они посмеялись, но разрешили, сказав при этом, что многие пытались это сделать, но потерпели неудачу. Я их успокоил, сказав, что когда-то имел по этому виду спорта первый разряд. Мы вытащили из сарая лодку, весло, подушку для упора ноги.

Весло оказалось маленьким, с неудобной ручкой. Своей подруге я сказал, что занимался этим видом спорта три года, до армии. Состоял в сборной города, имел первый разряд и ездил на крупные соревнования, где удачно выступал. На море был штиль, волн почти не было, и я легко сделал два гребка. Но маленькое неудобное весло и травма головы сразу сказались, я стал терять равновесие — чуть было не перевернулся. Но сумел удержаться в лодке и три минуты плескал поводе лопастью весла. Вскоре я почувствовал уверенность и потихоньку поплыл вдоль берега: пятьсот метров вперед, пятьсот метров назад. Так я плавал около тридцати минут. Мышцы спины, рук, живота получили большую нагрузку, и это для меня было полезно. Галя тоже захотела прокатиться, но я предупредил, что без тренировки — это невозможно. Да и каноэ — мужской вид спорта. Но женщины — упрямые! Она несколько раз садилась и столько же переворачивалась. Наконец, на десятый раз, ей удалось удержаться в лодке, и она сделала несколько гребков. Но произошел... конфуз, от неудобного положения ее купальник сполз и обнажил прелестную левую грудь. Она попыталась исправить положение, потеряла равновесие и перевернулась. Мне пришлось плыть за лодкой и веслом. Галя не могла их притащить на своем плече, а мне это было знакомо. Больше она не пыталась садиться в лодку. Один раз я пробовал грести в штормовую погоду, но это оказалось очень тяжело — борта лодки захлестывало водой. Галя несколько раз просила рассказать о моей спортив-

ной жизни. Я уже рассказывал отрывочные эпизоды из бокса, каноэ, парашютного спорта и легкой атлетики. Теперь, за бутылкой кислого вина «Рислинг» я вспомнил все, что было связано с каноэ.

У меня было много приятелей, среди них Серега Малышев. Нам было по шестнадцать лет, а в этом возрасте ходить на танцы довольно небезопасно — всегда надо иметь знакомого за спиной. Так как я занимался боксом и имел первый разряд, все друзья группировались около меня. Ими я не верховодил, там были и «покруче» ребята, но вместе держаться было безопасней. Этот Серега жил около моего дома, и я слышал, что он занимается греблей на каноэ. Для меня существовал только бокс, а остальные виды спорта считал забавой. Два раза мы с ним встречались в столовой, где он на какие-то «бумажки» набирал немислимое количество блюд. Я брал еды на сорок копеек, а он на два-три рубля. Меня это заинтересовало, и я спросил, в чем причина такой шикарной жизни. Серега рассказал, что занимается от «Моторного завода» в секции спортивного каноэ, тренируется четыре года, имеет первый спортивный разряд и является членом сборной команды. На время летних сборов ему выдают талоны на питание, в сумме трех-пяти рублей в день и оплачивают дорогу на соревнования. Я Сереге сказал, что имею первый разряд по боксу, занимаюсь в спортобществе от строительной организации «Труд», но кроме синяков и нокадаунов ничего не имею. Поговорили и... забыли! И вот, где то в августе мой знакомый, появляется на танцплощадке, а на груди у него сверкает серебряный значок — «Чемпион», размером с пятикопеечную монету. Все любопытные и все наши девчонки окружили новую знаменитость. Оказывается, он на всесоюзных соревнованиях из трехсот участников стал первым и получил этот значок. Вот здесь я и «загорелся», тоже захотелось кушать в столовой на пять рублей в сутки, ездить по России и получать разные другие «блага» от занятий этим видом спорта. Бокс бросать не хотел, но там занятий и соревнований летом не было. В городском парке раз в неделю гоняли мяч, немного боксировали — вот и все! С Серегой договорился, что он меня с приятелем отведет к своему тренеру. Может быть, мы понравимся, и он нас запишет в секцию спортивного каноэ. Сказано — сделано! Через два дня я стоял перед тренером, мужиком лет тридцати, высокого роста, «накаченного» спортсмена. Звали его Иосиф. Библейское имя, но он был русским. Я понравился сразу, и он отправил меня за медицинской справкой и разрешил посещать секцию. А моему приятелю посоветовал заниматься «байдаркой».

Не забуду первые занятия на воде: надо было стоять на одном колене на мешке, вторая нога согнута и опирается в днище, в руках весло, которым надо грести и рулить. Переворачивался пятьдесят раз, если не больше. Но через две недели уже мог тихонько плыть в нужном направлении. Каноэ собой представляет индейскую пирогу, только не выдолбленную из дерева, а сделанную из фанеры. Лодка прочная и красивая, нос лодки прикрывает козырек, поэтому можно грести и поперек волны. А вот если волна тебя догоняет, то может и захлестнуть. Сзади козырька нет и посадка борта не более пяти сантиметров. Поэтому волну приходится встречать или «носом» или «боком». Но на нос надежда маленькая, только если волна не большая.

Тренировки были обычные; сначала разминка — это бег по песку на пять километров, потом — гребля на каноэ десять километров. Тренер плавает на «моторке» то тише, то быстрее, а задача гребца не отставать от него. Но такую полную тренировку мало кто выдерживал: в основном три — пять километров «ускоряются», а потом плывут не спеша. Гребля на каноэ очень тяжелый вид спорта. Все мои товарищи и я попортили свои сердца. Левый желудочек у сердца от большой физической нагрузки расширяется. И когда спортсмену делают ЭКГ, всегда есть некоторые изменения в ритме. Простым прослушиванием это не слышно, когда я проходил медкомиссию на летчика, из-за ЭКГ меня забраковали. Можно было поступить только на вертолетчика. Так что, где-то выигрываешь, а где-то проигрываешь! А выигрыш в том, что получаешь бесплатную кормежку в лучшей столовой города, летом — отдых на воде, на пляже толпы красивых поклонниц; два раза в год едешь по России на соревнования, где за выигрыш получаешь приличное вознаграждение. К сожалению — это все впереди! А пока, я еле «катил» на лодке по тихой реке. Очень боялся пролетающих мимо моторных лодок, особенно с мощным мотором. Эти лодки давали большую волну, которая выбрасывала новичков из каноэ в воду. Только опытный спортсмен мог легко справиться с этой неприятностью.

В конце сентября устраивали городские соревнования по гребле. Выступали все, кто мог сидеть в лодке. Были три дистанции: пятьсот метров, тысяча метров, и десять километров. На пятьсот и тысячу метров допускались все, а на десять километров — только разрядники. На соревнованиях ребята улучшали свои спортивные результаты и получали «разряды», только до «первого взрослого», а мастеров давали на «российских» соревнованиях. Получить «первый взрослый» на городских соревнованиях было очень сложно, так как нужно было показать не место, а время. На «пятьсот метров» из десяти гребцов я был седьмым. На «тысячу метров» из пяти — четвертым. По времени вышел на второй юношеский разряд — «курам на смех». Приятели надо мной смеялись, но не открыто, а за спиной. Все знали, что у меня по боксу — «первый взрослый», и я не очень любил, когда надо мной смеются — мог шутя и ребра переломать. Но мне приходилось терпеть! Как я ни старался удержать лодку на воде — она то переворачивалась, то «лезла» вправо или лево. Тренировался два раза в неделю, надо было еще и боксом заниматься, тренироваться в Аэроклубе, и где-то подрабатывать на жизнь. В конце ноября мы ушли с реки и один-два раза в неделю плавали в теплых «канавах» за городом. Это были вырытые бассейны, размером шестьсот метров на сто и заполненные всегда теплой водой. Городская ТЭЦ выпускала воду ежедневно из своих труб. В зимнее время над водой стоял такой густой туман, что на расстоянии метра ничего не было видно, и приходилось плавать около кромки берега. Но зато тренировка на воде была круглый год. Добираться до этих каналов было неудобно, автобус ходил по расписанию довольно редко. Приходилось договариваться со старшим тренером — байдаристом, но ездить на его машине было опасно. Тренер плохо видел, а свои очки всегда забывал, но педаль «газа» жал со всей силой. Пока пять километров с ним проедешь, то вспомнишь всех святых, а в конце вылезешь из его машины весь мокрый от страха и пере-

живаний. Только со мной он два раза врезался в кучи снега и один раз мы вытаскивали его машину из канавы. Приходилось терпеть, на автобусе — один час езды, на машине — десять минут.

Зимние тренировки на воде дали мне много: «поймал свой гребок», лодка меня стала слушаться, всю свою силу направил на греблю, а не на борьбу с водной стихией. В конце апреля мы были на большой воде. Еще плавал лед, а наши лодки скользили по свободной глади реки, маневрируя между ледяных айсбергов. Река Которосль, в Ярославле, впадает в Волгу и испытывает большой напор воды под «американским» мостом. Весной в этом месте — ад! Лед и вода идут через узкие проемы, а их всего два, каждый по десять метров, и вырываются к Волге. У нас считалось особым шиком проскочить это узкое пространство. Мой приятель Серега Чагрин имел первый «взрослый» разряд, два раза продемонстрировал свое мастерство и силу. И оба раза успешно. Он предложил нам, новичкам, повторить его трюк. Все отказались, кроме меня. Я имел у ребят большой авторитет: все же — боксер, парашютист, летчик, здоровый парень — и вдруг испугался! Пришлось проходить это адское испытание силы, смелости и везения. Силы и смелости мне хватало, а вот везения — нет. Я разогнал лодку по «тихой» воде, и когда надо было выскочить на страшные, бурные воды — не сумел вовремя развернуть ее носом. Получив могучий удар в борт, я оказался в воде. Большая льдина, проскакивая через узкий проход легонько прижала мое тело к «быку» моста. Там находился выступ, по нему я благополучно обошел опору и через заторы льда вышел на берег. Как я остался жив?! Свершилось чудо! Меня могло накрыть льдиной — это смерть; могло раздавить об опору — это тоже смерть. Я же отделался только легким испугом. Господь помог! Серега выловил пробитую лодку; весло и подушку для колена не нашли. Видимо, их накрыло льдиной и втерло в берег. Я быстро добежал до раздевалки, которая находилась на барже, в двухстах метрах. Переодел сухое белье, послал одного приятеля в магазин за водкой; выпил стакан, сразу про все забыл, согрелся, а главное — не простудился.

Надо немного рассказать о Серге Чагине. Он был старше меня на два года. Окончил техникум, работал в каком-то проектном бюро. Каноэ занимался три года. Имел первый разряд, входил в сборную города. Всегда был вторым, после моего приятеля Сереги Малышева. Но когда Малышева выгнали из секции за воровство, Чагрин стал первым, и вскоре получил «мастера» на российских соревнованиях. Это был крепкий, улыбчивый парень, с атлетическим телосложением от природы. Он нам всем напоминал Геракла, которого немного «подсушили». У него был один физический недостаток — одно ухо абсолютно глухое, а второе — плохо слышало. С ним общаться было очень трудно, но мы привыкли. Он очень хотел стать офицером, поэтому всегда завидовал, что я учился на вертолетчика. Мы с ним ездили на крупные соревнования, а летом на пляже заводили мимолетные знакомства с девчонками. Да и кто из них мог отказать нам в дружбе? Когда два загорелых, красивых парня с атлетическими фигурами, лениво перебирая веслом воду, тихо проплывали вдоль берега. Все взоры девушек были обращены в нашу сторону.

В конце мая были первые соревнования, на которых отбирали спортсменов в команду гребцов. Серега Чагин был первым, а я стал вторым. На гонке в тысячу метров я был вторым из десяти каноистов; а на пятьсот метров третьим из двенадцати участников. В Аэроклубе сборы летчиков были в мае-июне; суббота, воскресенье — выходные. В эти дни я тренировался. Тренер на мои прогулы не обращал внимания, потому что на «прикидках» — маленьких соревнованиях, я показывал всегда хорошие результаты. Выездные соревнования были в начале июля и в середине августа, а в это время я был всегда свободен. Время на гонках (тысяча и пятьсот метров, показывал постоянно по первому разряду). Мне даже выписали книжку спортсмена: «Первый спортивный разряд — Мастер спорта». Все знакомые спортсмены больше не хихикали за моей спиной, их лодки были всегда далеко позади. Значок «первого разряда» я так и не одел. В спортобществе не было такого значка, правда, мне предлагали «первый по байдарке» — но я отказался. А было бы здорово видеть на своей груди два значка — боксер и каноист. Я всегда мечтал носить серебряный квадрат — «мастера спорта» и ромбик — высшего образования. Но из-за службы в армии — «Мастера» так и не получил.

Летом в Казани наша команда гребцов участвовала на российских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Всего в команде было десять человек: восемь — основные спортсмены и два — запасных. Эти соревнования мне хорошо запомнились. Сам город того времени мне не понравился. Весь центр — старые деревянные и кирпичные здания конца девятнадцатого века. Улицы узкие и грязные. Чувствовалась какая-то затхлость во всем. Озеро Кабан находилось в центре города, его размеры велики — тысяча на шестьсот метров. Для соревнований гребцов оно было идеальным. Всегда спокойная вода, ветра почти не было. Линия воды была опущена над линией островного берега метров на двадцать. На этом озере устраивали гонки на тысячу метров, эстафету (четыре по пятьсот) и на десять тысяч метров. В Ярославле такой воды не было, а соревнования на реке Коротосль — тяжелы: сильное течение, пологий берег — ветер; и на Волге такая же проблема. Так что спортсмены Казани были в большом выигрыше перед всеми гребцами России. Одно в этом озере было плохо — все живое в воде было заражено какой-то «дрянью». Когда плывешь на лодке, то в нее за один час попадает пять-шесть рыб; их изнутри едят какие-то черви и рыбы выпрыгивают из воды в поисках спасения, попадая в лодку. Был на нашей базе маленький котенок: тощий, с мутными глазами — он всегда ел эту рыбу. Перед нашим отъездом мы увидели его мертвым на берегу. Глисты и его съели. В этой заразе было виновато городское начальство. Когда проходили дожди, вся грязь с городских улиц смывалась в озеро. Сейчас может быть картина другая, но шестидесятые года оставили неприятные воспоминания. Зато, когда мы ездили за лодками в порт, вид города был другой: чистый воздух, простор Волги, новые строения — все радовало нас. Разместились в центральной гостинице: дореволюционное кирпичное здание с массой всяких железных завитушек. Около входа всех встречало огромное облезлое чучело бурого медведя. Номер на шесть человек, все «удобства» в коридоре, кроме душа. На первом этаже ресторан-столовая. В помещениях чисто, белье

свежее, клопов нет. Кормили хорошо, но мало. Спасали сало и хлеб, которые я предусмотрительно взял с собой. В магазинах, как и в Ярославле — голые прилавки. Что ели татары — не знаю!

Перед соревнованиями дали два дня на разминку, а потом — четыре дня соревнований. Участников было примерно человек шестьсот, со всех крупных городов России. Вода с непривычки показалась очень «тяжелой». Мы привыкли к движущейся воде, а там была стоячая. Но за два дня приспособились и к такой. Нам выпал жребий участвовать только на второй день соревнований. Это была эстафета «четыре по пятьсот». Четыре спортсмена, один за другим гребут по пятьсот метров — как у бегунов, только без эстафетной палочки. Наши байдаристы в этот день были первыми, а мы, каноисты, вошли в пятерку команд победительниц. Третий и четвертый день гонки на тысячу метров. Байдаристы снова были лучше каноистов. Объяснение здесь очень простое — наши байдаристы были все «мастера», а мы, каноисты — «перворазрядники». Да еще нам с Серегой устроили неприятность на старте: после выстрела судьи мы ударили веслами по воде, а наши лодки не двигаются. Казанские ребята нас держали, давая своим спортсменам вырваться вперед. Такое в спорте тоже бывает! В последний день соревнований награждали победителей. Наша команда завоевала в общем зачете третье призовое место. Первыми были москвичи, вторыми спортсмены Великого Новгорода. Я и Серега показали время первого разряда, до «мастера» мне не хватило трех секунд, а Сереге — одной. В тот день, когда мы уезжали из города, озеро Кабан подтвердило свою нехорошую репутацию — около нашей базы выплыл утопленник. Эта поездка оставила во мне удручающие воспоминания. Другие поездки на соревнования были похожи. Наша команда ездила в Москву, Великий Новгород, Казань. Везде выступали успешно, первых мест не получали, но всегда были вторыми или третьими. Один только раз наши девчонки байдаристки взяли в Великом Новгороде первое место.

В команде я был два года, но воспоминаний об этом виде спорта, о соревнованиях и ребятах — очень много. Изнурительные тренировки на лодке мы проводили три раза в неделю. В остальные дни — просто катались по реке. Если была хорошая погода — брали с собой девчонок посимпатичнее, сажали их в нос лодки и так плыли через Волгу на острова. Ширина Волги в месте переезда примерно тысяча двести метров. На соревнованиях эту дистанцию я проплывал за три минуты, а с девчонкой в лодке — за шесть минут, если нет ветра. Выплываешь из Которосли, смотришь налево, направо — нет ли больших прогулочных пароходов и рабочих катеров — толкачей с тупыми носами. Эти два вида кораблей дают волну высотой до двух метров. Когда в лодке один, такая волна не страшна, я разворачиваю к ней борт, и она поднимает меня на самый гребень, а потом также опускает — главное держать равновесие. А когда в лодке твоя «любовь», то лучше не рисковать, в противном случае захлестнет водой. И неизвестно, сумеете ли вы выплыть. А вода на Волге — густая, тяжелая. Плынешь как в масле. Возникает страшное чувство, что вода притягивает твоё тело, старается утащить в глубину. Запаникуешь, испугаешься, считай все — ты покойник! Я, наверно, раз пятнадцать плавал на острова с разными девчонками, и все мне

доверяли, и не боялись воды. Может быть потому, что я всегда с ними разговаривал и отвлекал от мрачных мыслей. Почему мы с Сергеем Чагриным плавали на острова? Да потому, что были молоды, сильны и нам хотелось. Все берега Коротосли или заболочены или заставлены складскими помещениями и пристанями, а на пляже — народ. Приплывешь на эти острова — тишина, никого нет, птицы поют, кузнечики стрекочут, трава по пояс. Вытащишь лодку, отдохнешь и занимайся «любовью» насколько позволяет твое здоровье. Только не надо забывать про обратный путь. Однажды со мной произошел такой анекдотический случай! Помните анекдот про зайца и корову? Когда ошалелый заяц выскочил на поляну, где кормилась корова. Остановился перед ней и стал вспоминать: зайчих — любил, лису — любил, один раз и волчиху любил, а корову — не приходилось! Надо попробовать! Крикнул: «Эй, корова, давай займемся любовью?» Та отвечает: «Я не против, но мне надо поесть!» Косой прыгал — прыгал, никак не получается, а корова ему и говорит: «Вон лежат кирпичи. Принеси и пристройся к моему заду». Заяц так и сделал. Притащил кирпичи, взобрался, пристроился, а корова отошла. И так раз десять косой таскал кирпичи. Наконец, корова насытилась, легла и зовет косоного: «Ну, давай зайка покажи свою силушку! Трахай меня!» А заяц, чуть живой к ней подполз и тихо говорит: «Спасибо коровушка, я уже с кирпичами натрахался!» Моя история была похожа на эту. Привез красивую девушку: груди, бедра, лицо, глаза голубые. Она говорит: «Я — пылаю!» Но, вот неудача, траву на острове всю скошили. Мы все же нашли небольшое углубление на земле и собрались отдаться страсти... как громовой голос с проплывающего парохода остудил нас: «Молодые люди, оденьтесь, не развращайте отдыхающих на корабле. Среди нас много детей!» Я натянул плавки, лежу, жду, когда проплывет теплоход. Около островов было глубоко, и все тяжелые пароходы проплывали почти у самой кромки берега. Конечно, им сверху видно не только мой голый зад, но и каждую травинку около меня. Было воскресенье, и этих прогулочных теплоходов ходило много. Может, к вечеру они возвращались со своих экскурсий? Для меня это была загадка. Я несколько раз пытался овладеть моей красавицей, но голоса с корабля «сбрасывали» меня с ее красивого тела. Наконец вода очистилась — корабли проплыли, и она легким, жеманным голосом проворковала: «Ну, что же ты... давай!» Я устало, откинувшись на спину и тихо сказал, как в анекдоте: «Спасибо. Уже... натрахался!» Когда отдохнул, отвез девушку к нашей базе и больше никогда ее не видел.

Были со мной на Волге и опасные приключения, которые чуть было не кончились трагедией. Есть картина Ильи Репина «Шторм на Волге». На небольшом полотне показаны плавщики леса, попавшие в буйство водной стихии. Огромные волны захлестывают их плот, и они с большим трудом удерживают управление, боясь, что разобьются о берег. В такое же положение попал и я на Волге. Только у них был мощный плот, а у меня утлое суденышко и одно весло. Все по порядку. Июльский выходной день. Жара. Чистое голубое небо и ветер. На речке Которостли народа на моторных лодках полным-полно. Я попробовал на каноэ проплыть посередине реки — невозможно. Все ребята еще в девять часов утра уплыли вверх по реке. Не помню, почему я опоздал?! Скорее всего, поздно пришел домой

и проспал. А были сборы перед большими соревнованиями. На базу пришел только в час дня. Промучившись на Которосли, я решил пройтись вдоль берега Волги четыре километра против течения. Ветер дул в спину, лодка неслась как сумасшедшая. «С такой бы скоростью, да на десятку, точно сделал бы «Мастера»» — мелькнула шальная мысль. Выскочил на Волгу, волна около метра, а лодка несется вперед — на середину реки. Настроение великолепное, казалось, еще гребок и... взлечу над водой. Кораблей не было, моторок тоже. Чистая вода гнала меня все дальше и дальше от берега. Но скоро от мягкой, чистой воды, что была у берега, не осталось и следа. На середине реки волны крутились в водовороте, ударяясь друг о друга. На меня сыпалась водяная пыль, «взбесившаяся» вода просто стремилась «сжрать» мое суденышко. В таком ужасном положении я еще не был. Кругом ветер, волны и я гоню куда-то в ад, понимаю, что если остановлюсь, меня тут же накроет волной и утащит в глубину. Не знаю, почему не испугался, наверное, не успел. В голове была только одна мысль — как-нибудь вырваться из опасного положения. Остановиться и развернуть лодку назад — невозможно; гнать вперед — там еще страшнее. Буруны и водовороты с сильным ветром утопят меня. Решил медленно поворачивать лодку: одним ударом весла удерживаю равновесие на воде, вторым ударом делаю небольшой гребок и поворот. И так, не спеша, сделав круг в пятьдесят метров, развернул лодку в сторону берега. Ветер и волны набросились на меня спереди. Скорость была потеряна, но я твердо держался в лодке и мог спокойно плыть к берегу. Нос каноэ закрывал козырек. Поэтому набегающая волна, до метра, не зальет лодку. Минут через десять я выскочил из водяного ада и поплыл вдоль берега по спокойной волне. Посмотрев в сторону набережной Волги, я увидел толпы народа, которые сверху наблюдали за моей борьбой со стихией. А может, они и не поняли, что я был на краю гибели? Да, Господь спасал меня не раз: и на воде, и на земле, и в воздухе. Осенью того же года к нам на базу приходила милиция и узнавала: не пропал ли кто-нибудь из гребцов байдарочников? Они выловили тело девушки-байдарочницы. Видимо, она тоже решила попробовать свои силы на волжской воде, но, увы, не повезло. Позже выяснилось, что тело приплыло из Тутаева, расположенного в тридцати километрах от Ярославля, выше по течению. Девушка была мастером спорта, но сердце не выдержало, и она умерла в лодке во время тренировки. Такие печальные последствия от занятий спортом были и с моими близкими знакомыми.

К нам в спортивный клуб пришел заниматься Володя Пешников. Он переехал из Рыбинска в Ярославль. В своем городе он занимался каноэ и имел первый спортивный разряд. Этот спортсмен на «тысяче метров» лишь немного уступал нашему чемпиону Сергею Чагину. Меня обходил на две секунды. На «десяти тысячах» мы были на равных. Володя отслужил в армии, учился в Педагогическом институте. Мечтал работать тренером и учителем физкультуры. Старший тренер дал ему «малолеток» — человек пять, и с ними он катался по Которосли. Занятия эти были бесплатными, и ему приходилось подрабатывать на заводе. Парень хотел получить «мастера» и пять дней в неделю серьезно тренировался на воде. Он себя просто изнурял физическими занятиями, каждый день ездил на лодке по десять

километров или бегал такое же расстояние по песку. Я после такой нагрузки оказался бы в больнице. Для меня такие три тренировки и то казались тяжелыми. Помню, на воде я еду не спеша, Володя меня догоняет и перегоняет; весело кричит: «Что так тихо скребешься?» Я в ответ: «Тише едешь, дальше будешь!» Он дополняет: «К тому месту, куда едешь!» И показывает мне спину в лидерской оранжевой майке. В октябре Володя простудился на тренировке, попал в больницу и... скоростно скончался в возрасте двадцати трех лет. В справке врачи написали — «Сердечная недостаточность. Инфаркт миокарда. Последствия гриппа». Мы были все в шоке, никто не ожидал такой трагической развязки. Володя сам себя загнал в могилу чрезмерными физическими нагрузками. Похожий случай произошел с одной пловчихой. Девушка двадцати лет, «Мастер спорта», чемпионка России с массой наград — заболела гриппом и умерла. Все газеты, радио и телевидение Ярославля выражали соболезнования. Недаром в физкультурном диспансере всегда говорят: «Спорт для здоровья — только до первого разряда, а дальше спортсмен сам себя убивает!»

От трагического потихоньку перейдем к комическому, правда, с небольшими неприятностями. После тренировок мы всей компанией направляемся в столовую, которая находилась в монастыре. Наша группа состояла из пяти-шести человек. К нам часто присоединялся Михаил Царев — байдарист двадцати восьми лет, пятикратный чемпион мира на дистанции десять километров. Он был выше среднего роста, могучего телосложения. Если посмотреть на фигуру Геракла, немного сгладить мышцы, можно получить представление об этом спортсмене. Жил он за Волгой, имел родных и двоюродных братьев; все занимались греблей на байдарке; пятеро из них имели результат «Мастер спорта». Но таких результатов как у Михаила не было ни у кого. Когда мы вместе приходили в столовую, занимали два-три стола, ели и пили на свои талоны, на огромную по тем временам сумму — пять-семь рублей. На такую сумму можно было покушать с девушкой в ресторане. В столовой кормили хорошо, ассортимент блюд богатый. Поэтому мы не торопились покидать ее. Любили слушать рассказы Михаила о его путешествиях по миру, а он побывал во многих странах и везде был первым или вторым на десяти километрах, а на тысяче метров выступал хуже. Помню, как он обиженно вспоминал: «Какой-то сопливый хлюпик — толстый, маленький, меня обогнал на тысяче метров на целый корпус. Правда я его на «десятке накрутил» на десять корпусов... Но обидно!» Этот рассказ обиженного чемпиона мы слышали довольно часто. Михаил Царев не любил проигрывать. Несмотря на свое могучее телосложение, он был болен и довольно серьезно: руки тряслись от напряжения, как у пьяницы после большого загула; лицо было всегда красным. Давление около двухсот единиц — это в лучшие дни, а то и больше. Его преследовали сильные головные боли. Работать приходилось на износ, в спину дышали молодые спортсмены, которые тоже хотели получить титул и полагающиеся к нему доплаты, которые были большими. Завод ему платил ежемесячно по триста рублей, Комитет физкультуры Москвы — триста рублей, за каждую победу на чемпионате мира правительство дарило ему автомобиль. И еще много чего он имел за свое чемпионство, но умалчивал. Про Царева можно напи-

сать целую книгу, но моя цель только познакомить с моими друзьями спортсменами. Интересно было наблюдать, как Михаил пьет компот или сок. У него сильно трясутся руки, берет стакан, тут же расплескивает. Как поступить? Он имел два способа: первый — стакан ставит на край стола, наклоняет голову и высасывает содержимое; второй — как в одном фильме, веревкой обхватывает стакан, тянет через шею, стакан у рта — веревка сдерживает тряску рук. Все пьяницы в столовой, а их было много, с большим уважением смотрели на этот «спектакль». И не раз я слышал их слова: «Наш мужик!» Одному из моих друзей — байдаристу, он подарил яркий плакат о чемпионате мира по гребле в Испании. Мне понравилось изображение фигуры каноиста; спортсмен как бы вылетал на зрителя, это было ново и неожиданно для меня — художника. Если заглянуть дальше, то история жизни Михаила Царева не была радужной и закончилась довольно трагично. Мы встретились снова лет через десять, я его узнал с трудом, так он постарел и осунулся. Он рассказал мне, что работает тренером с байдаристами, что мало перспективных ребят, ему с трудом удастся выбивать в спортобществе новое тренировочное оборудование. Я его слушал, вежливо кивая головой минут десять, потом извинился и пошел своей дорогой. Через десять лет узнал, что наш чемпион мира умер от инфаркта.

Вот и все, что я вспомнил и рассказал своей подруге Галине о моих занятиях греблей и приятелях спортсменах. Она меня слушала не перебивая, тянула задумчиво кислый «Рислинг», смотрела на водную гладь моря и думала о своем. Два раза мы ездили в Большие Сочи. Походили по платановой аллее, посетили дендрарий, хотели искупаться на пляже — не получилось: отдыхающие лежат вплотную друг к другу, к воде не подойти. Очень понравился морской порт — современное красивое сооружение. Один раз мы поехали из Сочи на небольшом пароходе. Для меня это было сплошное мучение. Странный у меня организм: на лодке катаюсь — все хорошо; сажусь на корабль — морская болезнь. Незаметно двадцать дней пролетели. Я проводил Галину в Москву; договорились, что она мне на госпиталь напишет письмо, куда я отправлялся на обследование и комиссию. В вагоне на обратном пути было очень мало народа — всего человек двадцать. Со мной в купе ехали два офицера — майоры. Они отдыхали в другом доме отдыха. В Сочи продолжали лечение после госпиталя, куда попали из «горячих точек» — осколочное ранение в спину и грудь. О себе рассказывали охотно, ничего не скрывали из своей армейской жизни. Особенно наш разговор стал интересен, когда мы на полустанке купили три бутылки коньяка. Одного звали Сергей, он был артиллеристом, из-за ссоры с женой написал рапорт о желании выполнить свой интернациональный долг в Афганистане. Желающих было не много и его сразу направили. В боевых действиях участия не принимал, но был тяжело ранен осколком снаряда при обстреле базы. Жена с ним так и не помирилась, видимо, ей надоела офицерская жизнь «на колесах», безденежье и безработица. Но Сергей не унывал, в госпитале познакомился с женой одного раненого офицера. Офицер умер. Женщина осталась одна с ребенком, и Сергей решил создать новую семью.

Другой майор — Андрей, скромный и застенчивый. Закончил Костромское военное химическое училище. Служил в Средней Азии. Женат не был,

однажды привез свою подругу в пески, та прожила неделю и сбежала. Адская жара, никакой работы, воду привозили в цистернах через день, банный день в субботу — после солдат, если вода останется. В магазинах ничего не было. Офицеры, кто послабее — спивались, либо стрелялись. Поэтому, как только пришла «разнарядка», он первый написал рапорт. Ему тоже не повезло в Афганистане, вместо ордена его грудь украшал шрам от пули снайпера. А на кителе появилась медаль «За боевые заслуги».

О своей жизни я тоже ничего не скрывал и подробно рассказал, как прошел весь путь от спортсмена-парашютиста до вертолетчика. Торопиться нам было некуда, и мы слушали друг друга с большим интересом. Авиацией я заразился с детства, когда взрослые меня спрашивали: «Кем ты хочешь стать?», я не задумываясь отвечал: «Летчиком, боксером, художником». В шестнадцать лет пришел в Ярославский аэроклуб, чтобы учиться на летчика. Но мне сказали, что на летную специальность принимают только с семнадцати лет, и через военкомат. Предложили заниматься парашютным спортом, я дал согласие, в сентябре была медкомиссия, которую прошел успешно. Только после проверки зрения, на своей карточке увидел вместо единицы — цифры ноль пять и ноль семь. Меня это очень удивило и испугало. Подошел к врачу и спрашиваю: «В чем дело? Вы мне сказали единица». Та еще раз проверила и извинилась за ошибку. Вот так врачебная оплошность могла нарушить все мечты мальчика в шестнадцать лет. Из двадцати желающих прыгать с парашютом — пять не прошли первый медицинский осмотр. С каждым зачисленным проводил собеседование командир звена парашютистов — А. Морозычев: среднего роста, плотный, всегда ходил в коричневой летной куртке. Я заметил, что он с юношами долго не разговаривал, а с девушками вел долгую проникновенную беседу.

Позже старшие парашютисты мне рассказали о нем подробнее: он был «Мастером» по парашютному спорту, а его жена Татьяна Морозычева настоящей звездой в парашютизме. Она была не только «Чемпионкой России», но и «Чемпионкой Европы» в ряде дисциплин этого вида спорта. Когда искали женщину для полета в космос — она была первой кандидатурой. Но медкомиссия ее забраковала, из-за беременности. Тогда взяли следующую кандидатку — будущую космонавтку Валентину Терешкову. Наш Морозычев после такого апломба «волосы рвал на голове», целый месяц ходил хмурый и злой. Этой истории я верил лишь отчасти — сам не был ее свидетелем.

Наши занятия проходили не в центральном здании аэроклуба, а в церкви, около оврага, где по приданию великий князь Ярослав убил на охоте медведя. Церковь находилась недалеко от Волги, овраг раньше выходил к реке, но в девятнадцатом веке его засыпали и сделали красивую набережную. Туристы, проплывающие на больших кораблях мимо Ярославля, видели церковь, горделиво возвышающуюся над всеми строениями. Когда я попал в церковь, то был поражен красотой фресок, которые можно было увидеть только днем. Среди этой красоты, в центре здания висели два раскрытых парашюта, рядом стоял длинный узкий стол — для сборки парашютов. Недалеко стояли пятьдесят стульев и обычная классная доска, в углу разместились стеллажи с разными спортивными принадлежностями. Теорию нам преподавала Татьяна Морозычева и еще одна Татьяна —

фамилию не помню. Мы должны были прыгать с самолета АН-2М с высоты восемьсот метров. Прыжки с принудительным раскрытием парашюта, то есть тросом, закрепленным в самолете, стягивается чехол закрывающий парашют и тот раскрывается под напором воздуха. «Механика» простая, но возникает много вопросов. Как добраться до земли безболезненно, чтобы не делать акробатические пируэты? Нам все теоретически объясняли и практически демонстрировали, как держать ноги, руки и тело при прыжке. Оказывается ноги надо держать только вместе. Говорили и про перехлест строп по куполу, такое тоже случается. Изучали два вида парашютов: основной — ПД-47; это десантный парашют сорок седьмого года, площадь купола семьдесят квадратных метров, скорость падения пять метров в секунду. Запасной парашют — ПЗ-41А, сорок первого года, скорость падения девять метров в секунду, потому что купол его всего пятьдесят квадратных метров. Основной парашют крепится на лямках за спиной; запасной — на животе спереди. Это мы изучали с подробностями три месяца. За это время человек десять прекратили посещение занятий по разным причинам. На экзамен пришли двенадцать человек. Председателем был сам командир звена парашютистов — Морозычев. Надо было ответить на два вопроса: данные парашюта и теорию прыжка. Экзамены сдали все. Нас предупредили, что прыгать будем в начале января, в это время погода устойчивая, мало ветра, небо чистое. За первый прыжок мы должны заплатить двадцать пять рублей. В течение декабря я ходил в аэроклуб и узнавал о начале прыжков. Прочитал объявление, что сбор парашютистов нашей группы будет десятого января в десять утра на аэродроме. Аэродром находился недалеко от города; добираться или электричкой, или автобусом. Когда я приехал в указанное время — объявили, что прыжков не будет, так как сломался самолет. Ждали целый месяц. Наконец, в начале февраля назначили прыжки для нашей группы. На аэродром приехали всего восемь человек. Сначала прошли медицинскую комиссию, которая заключалась в проверке давления и документов на спортсмена. Потом инструктор рассказал, как мы будем прыгать, основные ошибки новичков, как себя вести в самолете. Немного попрыгали с площадки высотой один метр. На нас надели парашюты, завязали шапки, посадили на скамейки и велели ждать, когда прогреется двигатель у самолета. Мы молча сидели в каком-то жутком оцепенении; через несколько минут решится наша участь — ходить нам по этой земле или нет! К нашей группе приставили двух парашютисток-перворазрядниц. Они пытались всякими смешными историями развеселить перепуганных новичков. Но у них ничего не выходило — все молча смотрели в сторону самолета и рассуждали примерно так: «На кой леший я сюда притащился, жил себе спокойно, тихо, а теперь влез в такую историю, что и не знаешь, как из нее выпутаться?!» Наконец двигатель самолета перестал реветь и заработал спокойно и ровно. Дали команду: «Построиться!», нас распределили на два взлета: четыре новичка и два опытных, и один инструктор. Новички прыгают с восьмисот метров с принудительным раскрытием парашюта; опытные парашютисты с высоты тысяча двести метров, с выполнением ряда фигур, и приземляются в центре поля, отмеченного брезентовым кругом. Аэродром — это пустое заснеженное поле

размером километр на километр. Взлетная полоса метров пятьсот, очищена от снега, все остальное в огромных сугробах. За аэродромом находилось кладбище, где был похоронен мой дед и два знакомых парня — спортсмена: один разбился на велогонках, другой утонул на отдыхе в Черном море. До этого кладбища было метров пятьсот от наших скамеек. У меня была мысль: «А если ветер занесет парашют на кладбище, то придется садиться на эти острые пики и будешь как цыпленок на вертеле!» Мы спросили инструктора об этом нежелательном соседстве, но услышали успокоительный ответ: «Еще ни разу такого приземления на кладбище не было!» Нас это успокоило.

Я попал в первую группу прыгающих и так как был самым высоким, то и покидать самолет должен был первым. Инструктор еще раз проверил наши парашюты, посадил в самолет, закрепил тросы от парашютов. Доложил командиру звена, что все в порядке. Морозычев занял место первого пилота. Инструктор — второго пилота. Самолет разогнался и легко взлетел. Я смотрел из маленького окошка, как земля быстро удалялась от нас. Скоро большие казармы стали размером в спичечный коробок. Разговаривать не имело смысла, шум от работающих двигателей перекрывал любой голос. Внезапно над входом в кабину летчиков загорелся оранжевый фонарь, и дикий звук сирены предупредил, что пора прыгать. Инструктор вышел из кабины и открыл дверь наружу, подтащил «Ваньку-дурачка» — мешок с песком и парашютом, сбросил вниз. Летчик заглушил мотор. Самолет плавными кругами стал планировать. Необычная тишина наступила в салоне. Снаружи доносился слабый свист — крылья рассекали воздух. На втором витке планирования командир дал команду к прыжкам, предварительно рассчитав силу ветра, высоту самолета, скорость планирования. Убедились, что «Ванька-дурачок» приземлился в центре летного поля. Прыгали по три человека на каждом витке планирования. Я прыгал первым на первом витке. Шаг за дверь — и ты в полубессознательном состоянии летишь в воздушную бездну. В голове никаких мыслей — просто наблюдаешь, как туша самолета медленно уплывает от тебя. И вдруг — рывок. Сознание возвращается: осматриваешь купол, дергаешь за лямки, проверяешь упругость. Какие-то тридцать секунд — ты король неба, кажется, что парашют какой-то силой держится в воздухе и не двигается. Но это временное впечатление. Скоро начинаешь замечать приближение Земли. Маленькие предметы начинают быстро расти. Теперь надо думать о приземлении: прижимаешь одну ногу к другой, подтягиваешь стропы к себе и ловишь момент приземления. Если правильно рассчитаешь, то за два метра до приземления резко отпускаешь стропы — купол взмывает вверх, и ты смягчаешь момент удара. Это я описал идеальный прыжок. Таких чистых прыжков было у меня мало. Мне приходилось прыгать с парашютистами, летчиками, солдатами и каждый раз бывали какие-то недоразумения. Опишу несколько таких случаев.

Третий прыжок я совершил в конце мая: чистое небо, слабый ветерок у земли — идеальная погода для парашютиста. Прыгали девять человек с новым инструктором. Мы его видели первый раз. Он был маленького роста, затянут ремнями в новенький комбинезон, на ногах американские

ботинки на толстых подошвах со шнуровкой почти до колен. На его пояском ремне висел кинжал — сантиметров тридцать. Зачем ему нужно было это оружие — не знаю. Чтобы перерезать запутавшиеся стропы хватит и острого перочинного ножа. Вид у нашего начальника был комичный. Перед полетом он провел инструктаж, говорил дельно и понятно. Поднялись в воздух, самолет набрал свои восемьсот метров, но двигатели еще работали. Сирена выла как сумасшедшая, мигал оранжевый глаз. Инструктор открыл дверь, поставил меня рядом с собой. Я жду, когда летчик выключит двигатель и самолет начнет планировать. Это был третий взлет самолета, и пилот хорошо знал в каком месте сбрасывать парашютистов. И вдруг чувствую, как по моему плечу бьет рука инструктора. Постукивание по плечу, у нас обозначает приказ — «Пошел!» Я удивленно посмотрел на инструктора, а тот отвернулся в сторону кабины. Прыгать когда самолет летит на полной скорости, очень рискованно, его могут позволить себе только очень опытные парашютисты. Но приказ, есть приказ, и я рванула вниз. Мощный поток воздуха швырнул меня под днище самолета. В какие-то доли секунды увидел грязные масляные пятна, которые текли со стороны двигателя. «Не могут отремонтировать движок» — мелькнуло в голове. Потом полетел в голубую бездну и... хлопок — купол раскрылся. Повернул голову в сторону самолета, никаких парашютистов не видно. «Значит, что-то произошло!» — подумал я. Удачно приземлился, собрал парашют и пошел к месту сбора.

Там меня ждали — инструктор и Морозычев. «Кто тебе разрешил прыгать на скорости?» — закричали они вместе. Я ответил, что инструктор меня два раза ударил по плечу, а это приказ для прыжка. Сами так учили! Они сразу замолчали и отошли в сторону. Позже опытные парашютисты объяснили мне, что я родился в рубашке. Поток воздуха мог забросить нераскрывшийся купол парашюта на заднюю часть самолета. Мне пришлось бы сбрасывать основной парашют и приземляться на запасном. А на это не у каждого хватает смелости и хладнокровия. Я был свидетелем такого случая, когда парашютистка, опытная перворазрядница растерялась в воздухе и не смогла раскрыть запасной парашют. В результате — смерть!

В то время я набирал прыжки на второй разряд, поэтому приходилось прыгать с перворазрядниками. Парашютизмом чаще занимаются девчонки, в тот раз нас было шесть человек, два парня и четыре девушки. Мы с парнишкой шли на восемьсот метров, а девчонки на полторы тысячи — тяжелой прыжок с автоматическим раскрытием или ручным, при этом они должны были выполнить в полете свою акробатическую программу. У одной из девушек были красивые, пышные, рыжие волосы. Они плохо помещались в облегающую шапочку парашютиста. Почему-то мне запомнилась только эта девушка, ее подруги постоянно смеялись и о чем-то говорили, а она сидела какая-то молчаливая и отрешенная. Пришло наше время — мы прыгнули. Я почти удачно приземлился, если не считать, что ветер протащил купол парашюта на пятнадцать метров, при этом досталось моему правому плечу. Наконец парашют в руках, я слышу ужасный крик, и звук удара о землю, как падают мешки с песком. Посмотрел в сторону, вижу — туда бегут люди. Сбросив с себя всю парашютную амуницию, тоже побе-

жал с толпой. Слышу голоса: «надо вызвать скорую!» Подбежал ближе, увидел страшную картину: нераскрывшийся парашют, как удав лежал на каком-то сером, рваном комке и белая кость, как палка торчала сбоку. Я отвернулся и тихо побрел в сторону. Позже нам рассказали причину случившегося. Девушка прыгнула с высоты полторы тысячи метров, выполнила с подругами акробатическую программу. На высоте шестьсот метров автомат раскрыл клапан парашютной сумки, парашют в чехле вывалился и теперь маленький парашютик — паук должен снять чехол с основного парашюта. Но этот паук зацепился за булавку в волосах. Девушка растерялась и не открыла запасной парашют.

Другой трагический случай был в армии. На учениях с большого самолета прыгали солдаты, приземлялись, сбрасывали парашюты и с криками «Ура!» бежали брать «высоту» противника. Одному бедолаге не повезло: на его купол у самой земли свалился другой солдат. Верхний купол забрал всю силу воздуха, нижний свернулся и солдат «камнем» упал с высоты ста метров. Помочь ему мог только счастливый случай, но этого не произошло. Надо заметить, что трагедий на аэродромах бывает мало. Чаще всего случаются различные переломы и ушибы. Я тоже сломал себе копчик, неудачно приземлившись. У самой земли ветер резко изменил направление, и меня бросило на спину. Вспоминаю, как на моих глазах опытный парашютист сломал себе ногу при приземлении. На военном аэродроме тренировалась сборная команда парашютистов. Я был зрителем, стоял недалеко от ангаров. Задача парашютистов была приземлиться точно на брезентовый круг. Ветра было мало, но у земли поток воздуха мог резко бросить спортсмена в сторону. Один из парашютистов приземлился на край круга, но у самой земли его потащило в сторону, он попытался хотя бы ногой задеть круг, ветром его снова швырнуло в сторону круга. Он всем своим телом упал на вытянутую ногу. Раздался треск, как будто ломали деревянные палки. Парашютист от боли потерял сознание, а парашют потянул его по полю. Простая тренировка, а спортсмен получил открытый перлом двух костей.

Все это я рассказывал моим новым знакомым. А за окном южные пейзажи менялись на северные. На вокзалах нам приходилось покупать не вишни, а соленые огурцы с вареной картошкой. Скоро нас встретил мелкий дождик с пасмурным небом — Ленинград. На вокзале мы выпили по сто грамм водки, распрощались и... больше не виделись. Я отправился в свой госпиталь на Суворовском проспекте. Не успел сдать документы, как пришла знакомая медсестра и отвела меня к начальнику госпиталя, тот меня встретил, как родного сына. Причина была простая: из Москвы приезжала комиссия, и ему надо было показать новый музей. Мне за неделю предложили оформить три стенда. Устроился я в летном корпусе, в палате четыре человека. Жил с тремя капитанами — летчиками, их проверяли перед «дембелем». Я проводил время в музее, а они на различных процедурах. Через десять дней работу закончил, получил документы о «дембеле» и уехал в родной город Ярославль.

Елена Жалеева
(Россия, г. Ульяновск)

ЯСТРЕБЫ И ЛАСТОЧКИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

53.

Но Аленке пришлось потратить чеки в «Березке» без него. В восемьдесят восьмом правительство задумало закрыть валютные магазины. А от Саньки вестей не было больше полугода. Она позвонила Игорю, и они с женой пришли к ней в гости. Наташенька, крошечная по сравнению с Сашенькой, девочка прошла вдоль всех шкафов, открывая дверцы, находя все новые и новые предметы, которые старалась вытащить маленькими пухлыми ручками. А если не получалось, тянула за руку отца. Таня ругала их обоих, но как-то радостно, отчего на сердце у Аленки потеплело. Вот ведь Игорь отошел от войны, значит, и Саша перемолчит свое и отгадает. Ей так хотелось услышать от него, слова любви. Но, глядя на мужчину, Аленка поняла, что долгое отсутствие мужа насторожило и его, хотя Игорь и говорил, держа подпрыгивающую на коленях дочку:

— Да ничего с ним не случилось. Мы ведь люди военные, нам прикажут, и мы выполняем.

А Танюшка перевела разговор на Марину. Аленка и не знала, что подруга вышла замуж за врача и родила мальчика. Но в отпуск не приехала, не захотела мужа одного оставлять, а ему пока не до отдыха. Таня вспомнила палаты, заполненные ранеными, и съежилась.

— Как назвали малыша? — поинтересовалась девушка.

— Женей назвали, видимо гениальность пророчат, ведь и папа, и мама замечательные врачи.

Игорь тем же вечером позвонит Полкану, тот ответит только через месяц, видимо по определителю найдет его телефон. От него узнает, что Санька остался в Афганистане с новой группой бойцов. Остался потому, что Олега убили. Сломали саперной лопаткой позвоночник выше бронежилета. На душе у мужчины станет пусто и погано. Так же как и у Саньки, узнавшего эту новость. Потерять человека, которому доверял свою жизнь, пережил не одну засаду — тяжело. Но еще тяжелее было оттого, что духи не умели воевать лопатками. Хотелось думать, что кто-то из них все-таки научился. Потому что представить себе, что свои сводят таким образом счеты, было еще тяжелее.

То ли потому, что невиданная в наших войсках концентрация батальонов спецназа была достигнута, то ли потому, что в верхах зрела мысль о выводе войск, ему разрешили остаться. И, хотя Рустам числился командиром,

многие, прошедшие школу выживания Беса, признали его авторитет, а вслед за ними и те, которые его не знали.

Санька когда-то читал о волках. Вернее, надоумила его книга Джека Лондона. Писатель явно нафантазировал. Зато он узнал о них много интересного. А сейчас видел, что и они мало чем отличаются от волков. Выжить в волчьей стае дано не всем — слабого заедят или заставят уйти самого, если он не хочет подчиняться ее законам.

«Ах, Олег, Олег, — думал Санька, — не видел ты, что рядом кто-то борзеть начал, хвост перед тобой поджимал, а сам люто ненавидел». — Он не верил в смерть Оленя от рук моджахеда, он вообще не верил в то, что больше никогда не увидит друга, руки которого всегда были заняты каким-то делом, чистил ли оружие, латал ли носки — он и это умел делать по-настоящему.

Получая приказ от Руста, Санька глядел ему прямо в глаза дольше, чем нужно, и тот, не желая принимать его вызова, старался как можно меньше встречаться с ним, особенно на виду у всех. Санька не Олег, он рожден волчонком. Хвост у него только перед Аленкой виляет. И тут Санька вспомнил, что это не признак слабости, если хвост перед волчицей поднимется и играет.

Только сейчас ему не до игр. Начальство понимало, что отказался он принять на себя командование другой ротой неспроста. Но согласилось, им сор выносить ни к чему. О его умении продумать ход операции помнили, хотя и компромат с пограничниками Ирана не забыли. Но это к случаю. В роте Санька познакомился с новеньким, вернее, он прибил к ним после того, как был тяжело ранен и остался в живых один единственный из всей группы. Говорят, что его могли бы демобилизовать, чуть ногу не отняли, но баба-докторица не дала, выходила. Они сошлись с ним ближе, чем с другими мужиками. Оба были немногословными, и не сразу узнали, что роднит их детдомовское детство. Он присматривался к бойцам, но на свою территорию никого не пускал. После потери товарищей не заводил новых. И только к Саньке почувствовал расположение. На следующую засаду они пойдут в незримой связке. Молодые уважали их и, хотя хвосты опускали вниз, но кончики их были загнуты вверх.

54.

Сашенька уже заканчивал первый класс, а отец даже не видел его в школьной форме. Аленка перебирала фотографии сына и радовалась — растет не по дням. Форменные брюки уже коротки, а ведь бабушка Лида отпустила подгиб. Его записали в бассейн в спортивную группу. Тренер сам к ней приходил, сказал, что у ребенка есть способности. А какие способности, если он только прошлым летом плавать научился. Если бы не Санька, так и бултыхался бы сын возле берега, из Аленки пловец, как из топора, потому и Сашеньку далеко не отпускала.

Павел Егорович заезжал к ним, привет от мужа передать и деньги. Вот ведь какие упрямые люди, знает как там, а с ней словно с маленькой разговаривает, все у него хорошо — загорают целыми днями, приедет — не узнаете, мол, черный как папуас.

Да как же не узнает, если он снится через день и ей, и Сашеньке. Женщина загрустила, года бегут, а она неделю только и была счастлива, все остальное время — тревога за мужа.

Муж... Аленка никак не могла поверить, что она замужем. Пусть без свадьбы, но фамилия у них с сыном теперь другая. На работе быстро к ней привыкли, а вот отец подшучивает:

— Плохо было Гордеевыми быть, побудьте Бескровными.

— Будет тебе, Миша, тьфу, тьфу, тьфу. Кров у них есть, и кровь, слава Богу, в порядке.

После взрыва на Чернобыле Лидия Владимировна тряслась по любому поводу, вдруг и их радиоактивное облако накрыло. То тут, то там слышно, облучились люди, и перво-наперво белоокровие или лейкоз по-научному. Она и себя, и всю семью два раза в год заставляла пройти медосмотр. Жаль, нет матери, она, хотя и не заканчивала института, но от деда набралась знаний еще в юности, а потом и справочник у нее старинный был. Они к ней чаще, чем к докторам за советом обращались. Царствие ей Небесное, держала она их не то чтобы строго, а все как-то перед ней старались лучше быть. Вон Михаил и тот нет-нет, да вспомнит тещу и улыбнется. Вроде бы не доволен ею был, а сам на Аленку глядит и радуется, что на бабушку похожа. Только мало счастья у Аленки, трудное оно у нее. Девять лет ни жена, ни вдова. А Софочка явно поторопилась упокоиться, ишь, Аленка ее обрадовала — нашла свою любовь. Мамы больше года нет, а и зятя тоже днем с огнем не сыщешь. Хороший он вроде бы парень, но уж больно молчаливый. Она Надежде звонила, матери Игоря, надеялась выведать у нее что-то. Да так ничего не узнала, посетовали они на скрытность мужчин, поговорили о женском, да и расстались на этом.

Так, занимаясь каждая своим делом, мать, готовя ужин, а дочь, прибираясь, думали почти об одном и том же.

А мужчина, занимавший их мысли, впервые разговорился. Геня или Гений первый начал разговор. Война вроде как к концу близится. Слухи о выводе войск возникали сами по себе, никто из начальства об этом даже и не заикался еще. И он рассказал Саньке о том, что в госпитале познакомился с одной очень хорошей женщиной. Точнее, выходила она его, а ведь мог бы остаться безногим инвалидом. Серьезная такая, Евгений видел ее перед операциями и на обходе. Там, где другие бы верещали от вида раны, она, несмотря на жесткость, нежно касалась ее, не боясь ни крови, ни гноя. Любила она его бережно, даже в самый высший момент помнила, что у него бедро только что затянулось. А он вместо того, чтобы признаться ей, что не было у него такой женщины, способной жертвовать ради него и собой, и работой, опять в Афганистан сбежал. Не велел его ждать. Но одно дело сказать, а другое дело чувствовать. Он все чаще и чаще вспоминал ее. И глаза серые, в которых плескалась прозрачная речка, такая же, как в детстве, на которой они всем детдомом выросли. От непонятной тоски, что все чаще захватывала его душу, Гений и выпытал у Саньки про его семью. Он никому не показывал фотографии сына и жены, а тут не удержался.

— Красивая какая, как из журнала, — искренне выдохнул Евгений, — жалко, наверное, такую одну оставлять?

Санька, помолчав, рассказал ему вполголоса историю их знакомства.

— Дурак, ты, — заключил Гений, — да такой каждый день надо говорить про любовь.

— А ты умный, — поддел его Санька.

— Знаешь, я приеду к ней в госпиталь и скажу: «Я дурак, выходи за меня замуж, может, вылечишь», — мужчина улынулся, представив эту картину.

— Я, наверное, тоже скажу, если она еще не разлюбила меня. Хотя до сих пор не понимаю, за что нас любить можно. Они оба замолчали, от неловкости момента — разбазарились, как бабы, но под ребрами от этого разговора стало тепло.

А рано утром их поднимут: с Пакистанской границы, надежно прикрытой, вновь шли тайными тропами караваны.

55.

Если бы кто сказал про Руста, что он жадный, он бы вышел из себя и набил тому морду. Спроси у него — отдаст, ну, не последнее, конечно, и не совсем. Бабай учил его: зернышко к зернышку и амбар полон. Старик с Отчественной вернулся не с пустыми руками: кольца и серьги фашистские привез, отрезов на костюмы и машинку «Зингер». Говорил, что молодым наплевать было — мимо ходили, а ему сорок два исполнилось в сорок пятом. Боялся, что не успеет нажать добра после войны. Вот только мать у него не в родню пошла, отбилась от семьи. В красивых нарядах, сшитых бабкой, с косами, что по-модному вокруг головы обвивала, приглядела себе русского парня. Дед противился ее замужеству, но она упрямее его оказалась. Ушла без приданого. Он отрекся. Руст помнит маленькую комнату, вернее не всю комнату, а половицы на полу, по которому он ползал, щели в нем были большие и из них дуло зимой. Прав был бабай — бросил ее отец Рустама, мало после войны мужиков молодых осталось. А женщин красивых много. Пока мать с ним маленьким возилась, да за домом смотрела, он в местной чайной городскую фифочку встретил — приезжала с проверкой не то школы, не то больницы. И утек отец в город. Руст видел его потом на трамвайной остановке, потрепанный жизнью, но глазами все равно на молоденьких девушек постреливал. Руст даже не подошел к нему. Злой был из-за матери. Он помнит, как долго жили они впроголодь, мать не хотела к отцу идти. Апа, когда деда не было, приходила — приносила им вкусные пироги — ишпичмаки. Руст просил мать испечь такие, да та плакала — мясо не по ее зарплате, сторожила она амбулаторию за шестьдесят рублей в месяц, чтобы его не бросать. А потом все-таки бросила, привела к бабаю, а он на нее не смотрит и не разговаривает с ней. Он и с Рустом сначала не разговаривал. Но мать завербовалась на Север, в Мурманск, а он за бабушку от деда долго прятался. Потом от матери посылки стали приходить — ящики с рыбой, она на траулере рыбу разделывала и им присылала. Может, это, а может, просто Руст подрос, но дед стал не то чтобы добрее, но замечать его стал. С десяти лет за гусей отвечал: выгнать и следить за ними, чтобы ястребы не потаскали. Однажды он пас гусынь с маленькими гусятами и прямо на его глазах птица гусенка подхватила лапами, как крючьями и взмыла

в небо. Он напугался, бабушку стал звать, но вышел бабай и дал ему подзатыльник — трусом обозвал. Наверное, с тех пор Рустаму захотелось стать ястребом — быстрым, наглым и выше всех. Он худой был в детстве, хоть апа и кормила его самым сладким. Жалела и его, и дочь свою непутевую, но против мужа слова не сказала. Он мог под горячую руку и влепить ей. Редко, но случалось, что она выводила старика из себя. Руст помнит, как она накопила молодой картошки соседке, у которой муж от ран военных загибался, а детей пятеро — мал-мала меньше. Он потом с ними по садам лазил, а тогда дед схватил апу за косу, которая из-под платка выбилась, и начал тащить по избе. Руста не тронул, тот под печку спрыгнул. Жалко было бабушку, но боялся пожалеть, чтобы и ему не досталось. Сам он без спросу ничего не делал. Дом — полная чаша, но даже маленькая мелочь у бабая на учете. Сначала Русту хотелось уехать от них подальше, но смекнул, что после смерти деда ему все достанется, и терпел. До самой армии терпел. Всему научился, в семнадцать лет зарезать овцу или гуся для него было плевым делом. Это первый раз безмолвная овечья дрожь его в пот бросила. А потом, чтобы получить дедово одобрение на глазах родственников, запросто задира глупую овечью башку и полоскал по шее острым ножом — кровь брызгала струей в подставленную стариком посудину. Но во внутренних швыряться не мог — тошнило.

Здесь, в Афганистане, он хотел быть лучшим. Чтобы бабай не похвалил его, нет. Тот никогда никого не хвалил. А для того, чтобы он принял его за своего, поговорил с ним и разрешил матери вернуться. Русту не хватало ее ласковых прикосновений, хоть и вырос давно. Она даже голосом могла приласкать. Только и тут его обошли, сначала Санька — Бес, правильную кликуху ему дали, а потом Олень. Только Олень оказался безрогим.

56.

Он его не убивал. Но получилось так, что вроде как подставил. Командир, подозревая Руста в мародерстве, поставил его в этой засаде рядом с собой, как и Влада. Но, видимо, желая переговорить с ним наедине, послал того проверить, как устроились другие — предполагаемый караван должен был пройти не раньше чем через час. Они окапывались так сантиметров на сорок — пятьдесят. Руст закончил, а Олень, продолжая ковырять неподатливую землю, подозвал его к себе и начал с ним разговор. Особенно неприятный перед началом боя. Из-за пары сережек, да трех японских магнитофонов, каких в Союзе днем с огнем не сыщешь, он, вроде и не боец, положивший не один десяток духов. Как будто Руст у сирот отнимал все это. Ну, серьги, да, те снял с убитой шальным осколком женщины. Голь перекатная, а серьги золотые. Неприятно было снимать их, тетка еще теплая была. Но сверкнуло золото на солнце и дернуло его, может, оттого, что рядом никого не было. Он впервые потом холодным покрылся, рвать уши даже у мертвой женщины не хотел, а когда расстегивал замочки у сережек, щеки у нее двигались, будто у живой, хотя кровь из шейной артерии лужицей растекалась. Руст ее потом во сне видел, она руку к нему тянула за серьгами. Он бы выбросил их с вертолета, но Олег тогда все на дороге в кро-

шево превратил. А тут перед самым боем учить начал, ладно бы сам ангелом был. Перед войной чуть в тюрьму не сел, уж промолчал бы, и забылось. Руст тогда послал его подальше, развернулся и ушел. Не дело это, конечно, уходить с назначенного тебе места, но хотелось вроде как выветрить из себя эту вонь. Только ни он, ни Олень не учли, а, может, не слышали из-за свистящего шепота, что караван выслал разведку. И те вышли именно на их схрон. Руст потом задавал себе вопрос, как это опытный командир дал себя зарубить своей же лопаткой. На ум приходила только одна мысль: Олег подумал, что это он — Руст возвращается, а когда понял и развернулся, то было поздно, занесенная для удара лопатка опустилась на позвоночник. Через минуту бой начался, все ждали позывных от Оленя, но их не было. Потом нашли его со сломанным позвоночником и лопатка рядом. На него, Руста, глядели, как будто он убил. С досады он тогда полоснул ножом по тюку с наркотиками, сделал вид, что нечаянно рассыпались тяжелые, словно книги, целлофановые мешки. И, улучив момент, спрятал три пластины в рюкзак — начальник вещевого довольствия давно ему намекал про бизнес, и словечко-то не наше подобрал, гад. Сегодня Олень уж точно не будет шнырять по рюкзакам.

Мужики на следующий день будут допытываться, почему его на своем месте не было, он успел придумать правдоподобное объяснение, мол, командир его послал, как и Влада, проверить другие посты, но в противоположном направлении. Влад про себя подтвердил, а вроде, как и про него тоже. Но Олений выкормыш с тех пор на него смотрит с подозрением.

Вот, поди ж ты, не убивал он, но мысль избавиться от командира лелеял. Теперь нет его, а лучше бы был, потому что ему, Русту, теперь не отмыться. И холуи, что за ним бегали, оглядываются, прежде чем подойти, нет ли Саньки поблизости. Две недели только и побыл командиром. А сейчас сам готов отдать свою должность этому сычу. Молчит, молчит, только глаза зыркают. Чего он там себе надумал. И, главное, новенький Геня, ни с кем до него не сходилась, а тут нате вам, будто его только и дожидался. Про него слух идет, что из любой передраги выберется, как кошка на лапы встанет, отряхнется и пойдет. Сейчас Руст признавал, что командиром быть не мед, надо думать за всех сразу, и чего он только раньше рвался. А после того, как Жмот, кличка начальника вещевого склада, отдал ему сберкнижку с пятью тысячами рублей на его имя за пластилин в целлофане, Руст искал повод уйти в тень. Война к концу близится. Хорошо бы на гражданку уйти с парочкой-троечкой таких книжек. Теперь во вьюках Руст искал наркотики, часть из которых быстро перепрятывал в свой вещмешок. Жмот велел брать белый порошок — он дороже. Русту было интересно, как и куда тот отправлял дурь. Неужели правда, запаивают вместо покойников в цинковые гробы, молодые этот слух принесли из Союза. Ему, честно говоря, плевать, главное, чтобы сберкнижка была не липовая. На эти деньги можно свой дом оттрохать и мать выписать с Севера. А потом и жениться, хватит собирать кости с помойки. Здешние бабенки озолотились на нем, а ни уму, ни сердцу от них.

Руст долго лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам с других кроватей, спят ли Санька с Геней? Что завтра они ему приготовят, а они че-

го-то задумали. Но и он не кочергой делан. А вскоре опять пришла убитая женщина, на этот раз она пыталась снять свои серьги с его ушей. Он подскочил, как ужаленный — дневальный будил его, тормоша за плечо, и нечаянно задел за ухо.

57.

Человек предполагает, а Бог... Бог решает все сделать по-своему. Санька испытывал сильнейшее желание набить кому-нибудь морду, так, чтобы кровь сочилась из костяшек.

Руст, ожидавший, что эти двое что-то замыслили против него, согласился с Геней, что тот будет рядом с ним.

Санька опекал вновь привезенных. Первое боевое крещение — могут растеряться. А Гений присмотрит за Рустом. Он никак не мог предположить, что эти два «старика», словно салаги, начнут выяснять отношения, не дожидаясь конца засады. Геня, Саньке не хотелось называть этой пошловатой кличкой взрослого мужика, Женька, порывался встать, не видя и не чувствуя, что под бинтами перевязанного после боя живота видны были внутренности. Он спешил рассказать:

— Руст спросил, вынюхиваешь?

А я ему:

— А чего вынюхивать, когда скунсом за версту пахнет.

Он мне:

— Это я скунс? Да ты, шваль подзаборная, ублюдок недоделанный. Потом он бросился на меня, без ножа и без лопатки, хотя она в руках была, он отбросил ее. Кулаками он, кулаками, — губы у Женьки побелели, он огляделся в поисках фляжки, но, забыв, что хотел попросить воды, продолжил:

— Мы дураки, мы дураки. Но Руст не убивал Оленя. Он дал мне в зубы, и я свалился, но, когда начал подниматься, Руст лег на меня и дернулся. Я не успел полностью стряхнуть его с себя и подставился, на тропе возле осла стоял крестьянин и целился в меня. Руст его первым увидел и закрыл, понимаешь, собой закрыл.

Женька беспорядочно размахивал руками:

— Пуля угодила ему чуть пониже шеи. Видишь, это его кровь на мне. Он понял, что умрет сейчас, врать ему никакого резона. Он сказал — я не убивал Оленя. И еще он велел передать сберкнижку его матери. Не перепутай — матери, а не деду. Дай пить, Сань, я что-то умирался в это драке. Я убил и старика, и осла. А потом пополз к вам. Но вы далеко ушли. Далеко, далеко, — дважды повторил он, — промедол начал действовать.

Они отправят Женьку в госпиталь, а оттуда в Ташкент, говорят, что там док — золотые руки. Но пустота в животе подсказывала Саньке, что он напрасно пытается себя успокоить. Он сам заправлял кишки ему в живот.

Руст. Санька ударил кулаком по камню, чтобы испытать боль, вразумляющую боль. Сберкнижка у бойца могла появиться только одним способом. Он скурвился. Но не до конца. Завтра надо будет попросить, чтобы Тоша и Ладного послали в сопровождение груза «двести». Груз — Руст стал грузом. Так глупо. Он снова ударил кулаком по каменной глыбе, вина ее и себя в случившемся.

Вернувшиеся через десять дней парни угрюмо пересказали ему увиденное. Рустам жил с бабаем и апой. Бабка упала замертво, когда увидела гроб. Соседки ее водой отливали, а мать легла на железо, и все окошечко целовала, молча. Они нескоро момент улучили, ну, чтобы сберкнижку передать. А когда передали, она повалилась. И только скорая привела ее в чувство. Старик то ли был таким черным, то ли от горя почернел, но не пролил ни слезинки. А когда глядел на них, то, кажется, вот-вот на них бросится. В общем, больше они ни ногой в сопровождение.

— А как там Гений?

Санька втянул воздух и задержал его на долгое — долгое мгновение.

58.

Марина нянчилась с сынишкой. Он делал первые шаги. Подползет к мебельной стенке, уцепится за ручки и встает. А дверцы открываются, и он неваляшкой падает на попку, а голову втягивает.

— Каскадер ты, мой золотой, куда ты все лезешь, — Марина видела в каком-то фильме, как дублеры артистов исполняли трюки и так же втягивали головы перед падением. Она брала ребенка на руки, но Женечка, изворачиваясь, просился на пол. Женщина отпускала его, и все начиналось сначала.

— Мы с тобой до папкиного прихода ничего не успеем сделать. Она совершенно забыла, что Андрей ему неродной отец. Были сомнения до рождения сына, как он сможет видеть перед собой живое напоминание о другом мужчине. Но исчезли в тот день, когда у нее начались роды. Мужчина, старше ее почти на тринадцать лет, врач по образованию, не на шутку перепугался, когда она вскрикнула от пронзившей ее боли.

— Сейчас, сейчас, родная. — Он вызвал скорую, помог спуститься по лестнице, но из машины не вышел, когда фельдшер по обыкновению напомнил об этом. — Я сам врач и не диктуйте мне, что делать. Роды были стремительными. Малыш появился на свет через полтора часа. Андрей Ильич еще сидел в кабинете главного врача, когда акушерка вплыла туда с улыбкой:

— А где коньяк, почему стол до сих пор не накрыт. С сыном вас, Андрей Ильич. — Она знала его, слух о хорошем хирурге давно прошел по Ташкенту.

— Что? Уже все?

— Все, не так легко, как вам кажется. Мамочке неделю еще сидеть нельзя будет. Но мальчонка здоров и невредим. Три шестьсот и пятьдесят два ростом. Крику не оберешься, сразу видно — сын главного — внимания требует.

— Я пройду к ней, можно?

— Только других мамочек не напугайте, халат-то есть.

Марина спала, а он подошел к стеклянной перегородке, где лежали маленькие орущие свертки, и сразу узнал своего. Он на другой день расскажет ей об этом, она не поверит. Но, когда в следующее посещение в коридоре раздастся звонкий ор, он приложит палец к губам:

— Наш это, — произнесет он. И точно, вошедшая пожилая нянечка протянула ей ребенка с красным от натужного крика лицом:

— Возьми, за ради Христа, этого оглоеда. И глюкозы давали ему, нет, вынь да положь мамкину сиську. Намаешься ты с ним. Как хоть назвала-то, может, вдругорядь по имени назову — утешу.

— Евгением, — вдруг ответил Андрей, — это Евгений Андреевич требует к себе уважения.

Он предложил, а она согласилась. И оба сделали вид, что это имя не имеет никакого отношения к настоящему отцу ребенка.

Первый месяц дни он проводил на руках Марины, а вечера на руках Андрея. Она бы не выдержала одна. Может быть потому, что у него был опыт, и он знал, что дети быстро вырастают, но именно его спокойствие сдерживало ее от нервного срыва. А потом, словно, приучив родителей просыпаться от малейшего звука, Женечка стал спать сутками напролет. И хотя она вставала к нему по нескольку раз за ночь, пеленала в сухое, сонного прикладывала к груди — сын, громко чмокая, не открывал глаз. И начал так прибавлять в весе, что педиатр сделала Марине замечание — не перекармливать. Но она не послушалась, слишком уж хорошо помнились бессонные ночи. А сейчас Марина глядела на это чудо и не могла поверить, как бы она жила без него. Спасибо Андрею, она тогда чуть было не наделала глупостей.

— Пойдем со мной, мой хороший, пойдем на кухню, поможешь маме ужин приготовить, — она взяла сына за руку и он, покачиваясь, пошел за ней.

Дав ему деревянную ложку и кастрюлю, Марина начала готовить ужин под громкий барабанный бой.

В начале восьмого, когда все было давно готово, она взглянула на часы и забеспокоилась:

— Где же наш папка? Ужин стынет, а его нет. Давай мы с тобой покушаем, — женщина налила в бутылочку детскую овсяную смесь — грудного молока мало, только и хватало ночью покормить. Зазвонивший телефон, заставил ее подойти к нему с ребенком на руках.

— Марина, не могла бы ты сейчас подъехать с Женечкой в госпиталь?

— Андрей, ты посмотри на часы, его скоро укладывать спать нужно будет. А, что случилось?

— Марина, я скорую за тобой пришлю, а ты пока одень Женечку. Хорошо?

— Хорошо, — ответила Марина, недоумевая, зачем они с сыном там понадобились.

59.

«Я, что — Бог или ангел?» — разозлился три дня назад Андрей Ильич на коллег из Кабула, когда вертолетом был доставлен тяжелораненый боец.

— Живот у него твердый, операционный шов расходится. Ба, да это наш старый знакомый, — воскликнула медсестра, читая историю болезни.

— Кто это?

— Евгений Головин, ну, помните, ему ногу тогда чуть-чуть не ампутировали.

— Что-то не вспомню, — соврал Андрей, у которого внутри все сжалось от нехорошего предчувствия.

— Да узнаете, когда увидите. Он сейчас под действием фетанила, а то бы узнал вас тоже.

— Ты, иди, Вера, я сейчас подойду, — Андрею захотелось остаться одному, потому что страх потерять Марину мог вырваться наружу. В нарушение своих же правил он закурил прямо в кабинете. Глядя в окно, он вспоминал, сколько раз по ночам вглядывался в личико ребенка, не желая видеть, и все-таки видел в нем черты того парня. Но как только сынишка начал узнавать его голос, это желание пропало. Маленькому живчику было плевать на то, кто сотворил его. Он радовался его приходу с работы, тянул ручки, подпрыгивая на руках матери, дуя пузыри. И после боли госпиталя, подбрасывая задыхающегося от радости и страха малыша к потолку, он забывал обо всем — глаза Марины зажигались теплыми искрами, а ему больше ничего и не было нужно. И вот сейчас, когда все наладилось, этот мужчина опять появился в их жизни. Пепел упал на чистый подоконник, сигарета дотлела до фильтра, Андрей огляделся, куда бы выбросить и, не придумав ничего лучшего, выкинул окурок за окно: «Надо идти».

«Гады, какие же вы гады, — думал он несколько минут спустя, — транспортировать умирающего человека в Ташкент, ведь даже нянечке ясно, что боец не протянет и суток. А ему что? Молча наблюдать за этим. И, потом, что сказать Марине?» Только из всех проносившихся мыслей он озвучил одну:

— Майора Савицкого ко мне.

— Он только что ушел, — Вера с испугом глядела на разом ставшего строгим и даже злым главного врача.

— Адрес знаешь, поезжай на такси и привези.

Вера вышла, осторожно притворив дверь. Но и вернувшийся через час Леонид подтвердил его предположение — оперировать нет смысла. Однако выстоял с ним четыре тяжелейших часа за операционным столом, чтобы потом почувствовать себя ничтожным и беспомощным. Война умела превратить человеческое тело, где каждая клетка мирно творила свое назначение, в кусок испортившегося мяса.

В тот вечер Андрей останется в госпитале, сказав Марине, чтобы не ждала. Под утро дежурная медсестра прибежит за ним, больной пришел в себя. И он поспешит к нему, но глаза парня будут обращены внутрь, как будто видел что-то, только ему известное.

— Как мы себя чувствуем? — задаст Андрей Ильич извечный докторский вопрос, нащупывая поверхностный пульс и не надеясь на ответ.

— Кранты мне, док, я себя не чувствую, — еле слышно, но довольно ясно произнес Евгений, — я умираю?

Андрей, было, хотел привычно соврать, но вина за то, что желал этому парню исчезнуть навсегда из жизни Марины, быть в ее судьбе одним единственным, заставила его кивнуть головой:

— Ты, может быть, хочешь чего-то? Он ждал, что тот вспомнит про девушку. Но боец опустил веки. И было непонятно, то ли он потерял сознание, то ли просто нет сил.

Андрей уйдет из реанимации в свой кабинет, будет сидеть, топя себя в клубах дыма, сделав пепельницу из чайного бокала, но вошедшая сани-

тарка почувствует, что сегодня ее ворчание будет напрасным, смахнет тряпкой рассыпанный по полу пепел и уйдет, незамеченная им.

А вечером он наберется мужества позвонить жене.

Она приедет, взволнованная его просьбой, на руках с ребенком, чьи округлившиеся глаза, так сильно сейчас напоминавшие отцовские, будут удивленно оглядывать все вокруг.

— Что случилось, Андрей? — спросит она его в коридоре, но он ответит только в кабинете

— Тебе надо попроситься с одним человеком, он в реанимации. Женечку мне оставь. Если я тебе понадобится, скажи медсестре, она позовет.

— Что за мадридские тайны, Андрей?

— Иди, у вас не так много времени.

— Халат дай.

— Иди без халата, да Веру отпусти, скажи, я велел.

Он не сможет отпустить ее совсем, он был мужчиной, который любит и умирает от ревности к человеку, которого вот-вот не станет. Выйдя с сыном на руках вслед за Мариной, он не удержится и подойдет к палате реанимации, прикроет за женой дверь. И будет ходить по коридору, желая и боясь узнать, что там происходит.

Женщина, напуганная неизвестностью, поспешно ворвется в казенную палату, но, увидев восковое лицо Евгения, вскрикнет.

Мужчина откроет глаза, не понимая, умер он или еще нет. Но, если умер и его встречает эта женщина, то он совсем не против смерти. Только почему из ее глаз покатились слезы:

— Марина, как ты меня нашла?

Но она упала ему на грудь, отчего дышать стало совсем трудно:

— Женя, Женечка, что же ты наделал? — девушка приподняла мокрое от слез лицо и прижалась к холодным щекам.

— Прости меня, — прошептал он, — я ухожу.

— Я знаю, знаю, — слезы снова покатились по ее лицу. Только и ты знай, что у тебя здесь остается сын.

Эти слова не сразу дошли до его сознания, но когда дошли — лицо разгладилось:

— Где он?

— Вера, Вера, — закричала Марина, забыв, что находится в госпитале, — позови Андрея.

Но он сам вошел, услышав ее зов.

— Вот, он, вот, — Марина взяла, испуганного ее громким криком, ребенка на руки. Ты не бойся, милый, это значит, ты останешься здесь. Женей, его зовут Женей, как тебя.

И мужчина, накачанный наркотиками, каким-то образом собрал все свои силы, чтобы приподнять свинцовую руку и прикоснуться к ручке ребенка. Только не успел почувствовать ее тепла и мягкости. Жизнь перешла с прикосновением. Он не дернулся, ни покривился, просто успокоено закрыл глаза, а на губах застыла последняя легкая улыбка.

Они оставят его в Ташкенте, потому что родных у него не было. Это станет их похороненной тайной.

«Хорошо, что Сашенька у матери, — думала Аленка, — и не видит ее растрепанных чувств».

Накануне Павел Егорович передал ей от мужа весточку. Она вскрыла конверт после его ухода и правильно сделала. Потому что он передал деньги — много, даже с учетом того, что все дорожало, она могла бы прожить на них, не работая, полгода. В оберточной бумаге были подарки для Саши: стреляные гильзы, шеврон с изображением то ли орла, то ли ястреба, банка солдатской тушенки. Ей же предназначалась записка: «У меня все нормально. Алекс». Вчера она сдержала себя при сыне, делая вид, что с интересом разглядывает большие патроны от какого-то оружия, разогрела тушенку, чуть не выстрелившую в потолок — вода в кастрюле выкипела, даже нашла потом Сашеньке книгу, чтобы он определил, кто же вышит на этом лоскутке ткани, но внутри у нее все кипело.

«Если она ему так неприятна, то зачем он дал свою фамилию. Можно быть сдержанным, но не до такой же степени, чтобы не добавить к строчке, начертанной простым карандашом, еще пару слов. Она терпеливо ждала его, когда он не знал о существовании ребенка. Но сейчас он знает, что они есть, и она, и сын. А если не любишь, то зачем тогда эти подачки, они хорошо жили и без него. В этом месте она закрывала глаза, чтобы обмануть самое себя. И проживут, если он решил играть с ней в благотворительность. Она молодая, она красивая». — Аленка подошла к зеркалу и наложила макияж по всем правилам, лицо стало загадочно-вызывающим. В феврале этого года в школе был вечер встречи выпускников, она тогда привела своих семиклассниц — они исполняли песню и танец, и один из бывших учеников, года на три моложе Аленки, простоял с ней весь вечер возле дверей актового зала. Он сказал, что влюбился в нее с первого взгляда. Она думала, что он шутит, но он пришел в понедельник к школе и ждал ее. А когда она вышла с пожилой учительницей географии, то он, не стесняясь Галины Георгиевны, которая, кстати, была у него классной, подарил ей розы. Они стоили больших денег, а он подарил, и она не посмела выбросить такую красоту, но когда он провожал ее до остановки, она сказала ему, что замужем и ждет возвращения мужа. Его звали Василием, Галина Георгиевна, как все учителя, помнившая неординарных учеников, рассказала о нем на следующий день очень многое. Он мог бы быть отличником, но имел слишком независимый нрав, чтобы нравиться директору. Ему на экзаменах, когда писали сочинение, никто не помогал. И из-за одной ошибки поставили четверку, хотя могли бы, как другим, дать возможность переписать. Но он часто говорил администрации школы то, что думает. И поплатился. Ему не вручили золотую медаль, а серебряную он не взял сам. Но он поступил на инженера-электронщика. Окончил институт, и не пошел по специальности, а организовал свою мастерскую, благо Горбачев разрешил кооперативную деятельность, собрал девчонок-одноклассниц, но не всех, только тех, которые когда-то были первыми модницами, и вместе с ними наладил выпуск модной одежды. Где он брал первона-

чальный капитал, никто не знает. Только через два года он уже ездил на новенькой Волге и имел отдельную кооперативную квартиру. Девчонки, работавшие у него, рассказали все это Галине Георгиевне при встрече. И вот теперь этот Василий, каждый раз случайно встречая ее, звал посидеть в кафе или сходить на новый фильм. Он был прямолинеен — она ему нравится, очень нравится. И он будет ждать.

Ей было лестно, что несмотря на то, что она старше его одноклассниц, он выбрал ее.

«Саша, Санечка, — умоляла она мысленно мужа, — ну, позвони, напиши, что ты любишь меня». Женщина может долгое время обходиться без физического подтверждения любви, но ей важно знать, что она любима. — Всего три слова и она опять сможет ждать его целую вечность. Скоро Новый год, ей хочется тепла и немножко любви. Капельку, самую маленькую капельку, чтобы не чувствовать себя в тридцать лет старухой.

Аленка постояла еще возле зеркала, потом, вспомнив что-то, открыла дверь шкафа и достала из внутреннего кармана шубки визитную карточку. На ней солидно золотым тиснением блестели фамилия, имя и телефоны Василия. Она взяла трубку, набрала номер, но, когда длинные гудки прервались сочным: «Да, я у телефона», — Аленка быстро отключила связь. Потом с укоризной поглядела на себя в зеркало, и пошла смывать краску с лица.

61.

Только она не знала, что номер ее остался на определителе. А Василий знал о ней гораздо больше, чем она могла предполагать. Елена Михайловна понравилась ему с первого взгляда. Несмотря на легкомысленность болтовни, которой он развлекал ее во время встречи выпускников, он был серьезен в своих намерениях.

Василий знал, что нравится девчонкам. Конечно, он не Ален Делон, но рост выше среднего и лицо нормальное, нос вот только в секции по боксу сделали горбатым. Но какая-то из очередных подружек и в этом нашла шарм, сказав, что теперь он похож на орла. Теперь же, когда бизнес пошел в гору, они сами вешались ему на шею. Только он умел отличить настоящее от подделки. Василий однажды искал в ломбарде матери подарок, хотел найти что-то отличное от современной бижутерии, и там увидел старинное кольцо с изумрудом. В отличие от нынешних, сияющих как гилянды из фольги, оно не скрывало своей формы, но, взяв его в руки, понял — вот оно, настоящее. При малейшем повороте то из одной, то из другой грани камня вырывались длинные сказочно-зеленые лучи. Кольцо не хвасталось своей красотой, оно с достоинством представляло ее. Тогда у него не хватило денег, чтобы выкупить его, он только начинал свое дело. Но сейчас вспомнил о нем потому, что эта женщина тоже была настоящая. Ну, вроде как из жен декабристов. Согласится в любую глушь за любимым человеком. Что же она хотела ему сказать? Он винил себя в том, что не сразу снял трубку — уж очень надоели легкомысленные бабочки. А она не перезвонила, хотя он и ждал весь вечер ее звонка. Завтра, завтра он узнает, сколько у нее уроков и «случайно» проедет в это

время мимо школы. Она замужем за военным. Ему хотелось хоть одним глазком взглянуть на мужчину, который покорила ее сердце и заставил наполниться глаза грустью. Василий видел печаль в них, хотя девушка ни словом не обмолвилась об этом. Она не кокетничала с ним, говоря, что не свободна, просто поставила стену, за которую нельзя перейти. Если бы он увидел ее мужа, то сумел бы понять, что она к нему чувствует. Может быть, он один из тех курсантов, что женился в последний момент. Но если Аленку знали многие, то о ее муже никто и ничего рассказать не смог. Завтра, он все сделает завтра, чтобы встретить Новый год с ней. И поверит в примету: с кем встретишь Новый год, с тем и проведешь.

Аленка ругала себя за необдуманный поступок. Но, ложась спать, успокоила себя мыслью, что у Василия, видимо, нет определителя, и ее глупость останется незамеченной.

А ночью тоскующее сердце вновь стремилось к Саньке, он был на высоком берегу горной речки, мутные воды которой с ревом проносились под Аленкиными ногами. Мост был сделан из тонких прогибающихся под ее весом досок. Она уже продвинулась немного, но поручней не было, тогда, дрожа всем телом, девушка легла на грубые доски и осторожно поползла. Но вода вдруг начала прибывать и подниматься, грозя утащить Аленку в пучину. И тогда Санька громко крикнул ей:

— Вернись, слышишь, вернись. Я сам к тебе приду. Вот только снег стает и приду.

62.

Лидия Владимировна сердилась, хотя внешне это не было заметно. Сашенька смотрел передачу по телевизору — сегодня и фильмов хороших, и мультиков предостаточно, а она готовила на кухне салаты. Как же, надо удивить мужа — на новогоднем столе в год Змеи должен быть кролик и морепродукты. Вот она и старалась, замариновала мясо, чтобы часиков в девять включить духовку и запечь его быстренько. А сейчас, проветрив кухню, — уж больно резко пахнет кальмар, когда варится, — нарезала его узкими длинными ленточками: «Вот, мама, — сердито думала она, — твое воспитание сказывается, по твоим стопам внучка пошла — муж на службе, а она Новый год в чужой компании, да еще с чужим мужчиной встречать собирается. И ведь хватило совести сказать об этом матери». Но тут же подумала о том, а как ей не скажешь, Лидия Владимировна всю свою сознательную жизнь приучала дочь к тому, чтобы, уходя, та оставляла ей или записку, или номер телефона, по которому можно ее найти. И уж тем более на Новый год, она обязательно бы позвонила и поздравила и Аленку, и всю компанию с праздником. Что-то неладно у нее с Александром, и хотя дочь не жаловалась, но мать и так видит, что-то гложет ее.

«Вот, Софочка, — так она обращалась к матери, когда противилась ее нравоучениям, — это ты убедила Аленку, что Саша будет хорошим мужем. Да никакой муж из него, может, как любовник, тьфу, ты слово-то какое, и хороший, а как глава семейства никудышный. Ну, ладно раньше он про жену и сына не знал, а сейчас? Что стоит подмазать кого-нибудь

из начальства, да прилететь к ним на Новый год». Лидия Владимировна была уверена, что Санька где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане готовит солдат к службе в теплой казарме. «А дочка тоже хороша, то люблю его, то нате вам: «Мамочка, я сегодня в новой кампании буду Новый год встречать, ты не знаешь этих людей, но это бывшие ученики 29 школы, я на вечере встречи с ними познакомилась», — Лидия Владимировна благо-разумно не стала расспрашивать, с кем это она там познакомилась, но отведенный Аленкой виноватый взгляд прояснил ситуацию.

Не пускать почти тридцатилетнюю женщину повеселиться на празднике было глупо. Упрекать ее не за что. На всякий случай она предупредила дочь, чтобы та вела себя осмотрительно. Но сейчас чувствовала в душе разлад. Она бы сама так не поступила, хоть двадцать лет, но ждала бы Мишу. А дочь жалко — молодые годы проходят у девчонки. Может, и права была Софочка, когда относилась к жизни, как к приключению. Взглянув на часы, — муж вот-вот должен прийти, — она смешала кальмары с луком и измельченным яйцом, заправила майонезом, полюбовалась на то, как красиво смотрится салат в хрустальной вазочке. Потом достала из холодильника семгу, и, нарезая ее, стала придумывать правдоподобное объяснение для отца, почему Аленки сегодня не будет с ними.

Лидия Владимировна, наверное, испытала бы удовлетворение, если бы знала, что дочь в этот момент, лежа в ванне, чувствовала себя виноватой перед всем миром за то, что налила в воду душистой пены, за то, что впервые за несколько лет беспокоилась за праздничный наряд. Платье в стиле Наташи Ростовой было разложено на диване, а рядом стояли туфли на шпильках высотой в двенадцать сантиметров.

После ее глупого поступка, когда она решила позвонить Василию, а он не ответил, девушка постаралась забыть о нем, но судьба — так она думала сейчас, распорядилась по-другому. Потому что на следующий день, выходя из школы с сыном, рассказывающим о баталиях с мальчиками из второго «Б» класса, они оба были удивлены резко затормозившей возле них машиной. За рулем сидел Василий. Он открыл дверцу и позвал их, причем сделал так, что Аленка не смогла, а может, не захотела отказаться.

— Эй, парень, вы с мамой не замерзли? — обратился мужчина к Сашеньке, — садитесь, подвезу, мне по пути.

Наверное, маленький ребенок не обратил внимания на то, откуда он может знать их маршрут, потому что поглядел на нее с просительной миной.

— Хорошо, если вам только по пути, — согласилась Аленка, и села на заднее сиденье, потому что Василий открыл перед ней именно заднюю дверцу. Но когда Сашенька хотел забраться следом, он остановил его словами:

— Ну, куда же ты? Я и так весь день езжу молча, хочется поговорить с кем-нибудь из этой школы, я ведь тоже здесь учился.

— Правда, — воскликнул ребенок, польщенный тем, что его сажают рядом с водителем, — а у меня мама тут работает учительницей, а я во втором классе. А кто у Вас был директором, ПэПэ?

— Нет, — Василий плавно тронул с места, вырулил на шоссе, ведущее к их микрорайону, и Аленка поняла, он знает, где они живут, — директором у нас была Журавская Лидия Федоровна.

— Вредная, — сочувственно спросил Сашенька.

— Да как тебе сказать, — задумался Василий, не желая оскорблять педагога, сидящего позади них, — она вечно приставала ко мне: «Новиков, постригись сегодня же!». А я ей: у меня денег нет на стрижку, вот, мама зарплату получит, и постригусь. Мне нравилась моя прическа.

— Да, а ПэПэ не заставляет стричься, у меня видишь какие волосы, — Сашенька снял шапку с попмоном, и жесткие волны кудрявых волос распались по воротнику.

— Тебе повезло, значит ПэПэ не такой уж и вредный.

— Знаешь, как он ругается, когда мы со второго этажа на перилах катаемся, говорит, что гвоздей набьет в них. Только мы каждый день проверяем, пока не набил.

— А что мама твоя грустная такая? — спросил Василий, откровенно взглянувший на Аленку в зеркало заднего вида.

— Мы по папе скучаем, ждали его к Новому году, а он не приехал опять. Аленка напряглась, сын не говорил ей об этом.

— Так может быть, я приглашу твою маму встречать Новый год в свою компанию.

Сашенька какое-то время молчал, но чистая зелень глаз отражала работу мысли:

«Дяденька вроде бы хороший, маму не обидит», — он вспомнил вдруг слова Софочки, что маме одной скучно, не будет же она весь вечер смотреть мультики, и ответил «Можно»

— Если только она захочет.

Аленка глядела на его затылок и удивлялась хитрости этого человека, которая обезоруживала правдой.

— Ну, так что же, Елена Михайловна, будете вы встречать Новый год в нашей компании, у нас весело, мы никому скучать не даем?

— Я должна подумать, — Аленка покраснела, она договаривается о свидании с другим мужчиной на глазах сына, которого Василий сделал соучастником, — но отказаться вовсе не хватило сил.

— Вот тебе мой телефон, — мужчина отдал карточку Сашеньке, — позвонишь, если мама надумает встретить Новый год с нами, да и так просто звони, когда замерзнешь на остановке автобуса ждать.

— Хорошо, — ребенок внимательно прочитал фамилию и имя на карточке, — а отчество у вас какое?

— Ты меня зови просто — дядя Вася, — договорились?

— Договорились.

63.

Саньку сгубило чувство тревоги, оно появилось больше недели назад. Появилось в тот момент, когда он шел из штаба. Месяц назад его поставили командовать батальоном. Бывший комбат, обязанности которого он исполнял, вынужден был уехать в Союз. Умирал пятнадцатилетний сын, умирал от раковой опухоли. Кто-то сказал, что мальчишку можно вылечить, надо только попасть в Германию на операцию. Для этого и нужны были деньги, Санька сам собирал — давали все, но их все равно было слишком мало.

Операция стоила дорого. Вот ведь какая история — отец под пулями не погиб, а сын тихо умирает без войны.

Тогда на совещании не было никаких особых указаний, летний вывод войск прошел в соответствии с планом. Сейчас из Союза гнали запасы для Афганской армии: продовольствие, горючее, оружие, чтобы они самостоятельно могли существовать. За этот месяц афганской стороне были переданы все объекты, на склады заложен трехмесячный неприкосновенный запас на штатную численность вооруженных сил страны, обеспечена доставка продовольствия во многие нуждающиеся населенные пункты.

Вывести такую крупную группировку войск, каким был Ограниченный контингент Советских войск в Афганистане, в месячный срок, в условиях горно-пустынной местности, зимой, с минимальными потерями — вот поставленная перед ними задача

Моджахеды притихли, дожидаясь, когда выведут советские войска. В чем же причина его беспокойства? Тягостное чувство не проходило. Посоветоваться было не с кем, последний из пущенных в душу, Женька, погиб и похоронен в Ташкенте.

Полкан рассказал ему об этом. Саньке было интересно, кто же он на самом деле, и даже пытался спросить его, когда выпивали в прошлый приезд, но тот и после выпитой бутылки водки, сразу протрезвев, хитро прищурил глаза:

— Зачем тебе это?

— Да хочется знать, почему ты то тут, то там, и по должности выше тебя есть, а перед тобой кланяются?

— Поговорку знаешь про Варвару? Надо будет, сам расскажу. А пока спи спокойно.

Но спокойствия не было. Санька верил в интуицию. Бывает, пошел за чем-то, но, занятый мыслями — забудешь, зачем. И сколько ни стой — не припомнишь. Надо возвращаться на прежнее место. Но и через три дня, возвращаясь по той же дороге из штаба, Санька не перестал предчувствовать какую-то неприятность или беду. Вот почему на задание, конвоировать обоз с оружием и боеприпасами, решил идти сам, хотя командиры рот были опытными мужиками. Санька отвлекся, интересный все-таки народ — служивые люди, до приказа о выводе войск ждали замены. А тут, как один написали рапорты, что согласны дослужить оставшееся время, за чем, мол, необстрелянных сюда посылать на три месяца.

Отдав командирам приказ готовиться к сопровождению обоза, он проверил свое личное снаряжение — все на месте, сходил в столовую и лег спать. Но и во сне беспокойство дало знать о себе. Санька шел по снегу по следу матерого волка, тот привел его к своему логову, маленький волчонок, не взирая на размеры, не поджал хвост, как остальные, а вилая им, укусил за лапу вожака. Но волк стерпел такое нахальство, оглядев стаю, он призывно завыв. На белоснежном взгорке появилась волчица, она стояла и улыбалась, откуда Санька это знал — неизвестно, но знал. И вдруг на ее ответный вой из леса выскочил еще один волк. У Саньки сердце забилося в горле, он сам превратился в волка и, бросившись наперерез, схватился с ним. Вцепился ему в горло, ощущая, как шерсть забивает глотку и становится трудно дышать. А тот зажал в своей пасти его левую лапу и не отпускал.

— Командир, — услышал Санька и проснулся. Сквозь истерзанную его зубами подушку пробивался пух, он щекотал губы.

— Да, — откликнулся он, утираясь.

— Через полчаса выходим. — Сон как рукой сняло.

Может быть, из-за холода, может быть, из-за того, что духам не хотелось подставлять свои головы уходящим войскам, но обоз ни разу не был обстрелян. Что заставило его остановиться перед самым Кабулом и, держа руку на двери ЗИЛа, обернуться назад — неизвестно. Только именно в этот момент просвистела пуля. Он не слышал ее, резкий удар сшиб его с подножки.

— Командир, командир, — услышал он громкий голос водителя Петра, — ты жив?

Но из кузова уже выскочили несколько бойцов и, пока двое из них помогли Саньке сесть в кабину, остальные расстреливали предполагаемое место засады. Но выстрелов с обратной стороны больше не последовало. Петр сам, не дожидаясь санинструктора, перетянул ему раненую руку и перевязал. А потом рванул с места, заставив бойцов в кузове помянуть и его, и родственников до седьмого колена.

Его сходу завезут в Кабульский госпиталь, там под местным наркозом достанут пулю, зашьют, но, зная о том, что прошлое переливание крови чуть было не отправило его на тот свет, вертушкой доставят в Ташкент. Только и раненый он будет ощущать странное беспокойство, пытаясь вспомнить, что же ему нужно сделать.

(Продолжение следует)

*Алексей Воронов
(Россия, г. Санкт-Петербург)*

«КОГДА ПОЁТ ДАЛЁКИЙ ДРУГ...»

В истории отечественного театра, музыки и эстрады есть немало примеров того, как тот или иной зарубежный исполнитель становился близким и родным для целых поколений россиян. Так, на I Международном конкурсе им. П.И. Чайковского, состоявшемся в 1959 году в Москве, первое место занял молодой американский пианист Вэн Клайберн, из-за ошибки в транскрипции перевода объявленный как «Ван Клиберн». Именно под таким именем и фамилией он на долгие годы стал кумиром миллионов наших соотечественников. После триумфальных гастролей 1956 года, состоявшихся в Москве и Ленинграде, ещё одним безоговорочным любимцем советских зрителей и слушателей стал французский певец и киноактёр Ив Монтан, которому была посвящена песня Марка Бернеса «Когда поёт далёкий друг». И, наконец, в начале 1970-х годов российские сердца буквально в одночасье покорила испанский певец Рафаэль, которому совсем недавно исполнилось 70 лет.

Рафаэль Мигель Мартос Санчес (в испанской транскрипции Rafael Miguel Martos Sanchez) появился на свет 5 мая 1943 года в испанском городе Линаресе, что находится в провинции Андалузия, в семье строителя-арматурщика. Его семья жила очень бедно — в стране, ещё не оправившейся от гражданской войны, не так-то просто было найти работу, особенно в провинции. Поэтому когда мальчику исполнилось 9 месяцев, его семья, в которой росло четверо сыновей, переехала в Мадрид.

Ещё грудным младенцем, Рафаэль, по словам его родителей, «орал так громко, как будто у него было семь пар лёгких». Уже в 4 года, по рекомендации старшего брата Хуанито, он начал петь в детском хоре при церкви Сан-Антонио, которым руководил капуцинский монах Эстебан де Сегоньяль. Когда юному солисту исполнилось 9 лет, он отправился вместе с хором на фестиваль в Зальцбург, где неожиданно получил первую премию как лучший детский голос Европы. Правда, сам Рафаэль в то время не собирался всерьёз заниматься артистической карьерой — он мечтал стать портным, что среди мадридской бедноты считалось очень престижным и денежным ремеслом. Всё изменилось с того дня, когда мальчик побывал на спектакле в передвижном театре на окраине Мадрида, где в тот вечер давали пьесу выдающегося испанского драматурга XVII века Кальдерона де ла Барка «Жизнь есть сон». Как признавался потом Рафаэль в своих воспоминаниях, этот спектакль в одночасье перевернул всю его жизнь: «Я словно вошёл одним человеком, а вышел совсем другим... Когда я вышел из передвижного театра, то всё уже для себя решил».

Продолжая учёбу в старших классах религиозной школы братства капуцинов, Рафаэль учился технике вокала и выступал на различных школьных представлениях. Во время учёбы в музыкальной академии, директором которой был известнейший испанский композитор, дон Мануэль Гордильо, он подружился с двумя молодыми людьми — и эта дружба во многом определила всю его жизнь и дальнейшую творческую карьеру. Первый из его друзей, Пако Гордильо, сын директора академии, в то время учился на инженера — но оставил эту профессию ради артистической жизни и долгие годы был единственным менеджером Рафаэля. Второй, Мануэль Алехандро (или попросту Маноло) был начинающим композитором и подрабатывал тапёром в так называемом пабе «фривольных нравов» под названием «Пикник». Поскольку мальчикам-подросткам вход в подобные заведения был строго-настрого воспрещён, Рафаэль по вечерам тайком пробирался туда и бесшумно садился на пол позади фортепиано. Именно там они репетировали и представляли песни, которые Маноло писал специально для своего друга — хотя публика паба не имела об этом никакого понятия. Так начиналось творческое содружество великого певца и прославленного композитора, продолжающееся до сегодняшнего дня (последний по времени сольный альбом Рафаэля на музыку М. Алехандро «El Reencuentro» вышел в 2012 году). Вспоминая затем эти годы, Рафаэль напишет: «Наше трио — Пако Гордильо, Мануэль Алехандро и я — фактически представляло собой трёх мушкетёров без гроша в кармане. Так втроём и жили. Три идеалиста, вечно голодных и без собственной крыши над головой».

Фраза об отсутствии крыши над головой появилась в книге Рафаэля вовсе не для красного словца. «Счастливое детство кончилось в тот день, когда всю его семью выгнали — точнее, попросту вышвырнули на улицу из квартиры, которую они снимали. Произошло это при следующих обстоятельствах: хозяйка квартиры умерла, и судебные исполнители незамедлительно вынесли предписание о выселении семьи Мартос из «незаконно занимаемого жилища». Родители (особенно мать Рафаэля) старались оттянуть неизбежное как могли — но, в конце концов, наступил тот день и час, когда все вещи оказались выкинутыми на улицу. При этом судебные приставы как будто специально нагрянули в то время, когда отец семейства надрывался на работе — очевидно, решив, что с беззащитной женщиной и детьми им будет справиться гораздо легче. В результате, семья обосновалась в полуразвалившейся халупе на отдалённой окраине Мадрида, где все спали в одной комнате. Впоследствии, в своих воспоминаниях, Рафаэль назвал то, что случилось тогда с его семьёй, настоящим злодейством, грустно заметив при этом: «Юридически мы не имели права на эту квартиру, я понимаю это, но закон, к сожалению, не всегда справедлив. И, на мой взгляд, менее всего по отношению к беднякам».

Начиная с 14 лет, песня становится для Рафаэля реальным заработком, когда он начинает выходить на сцену в недорогих кабаре и маленьких залах — нередко скрывая свой истинный возраст и имя. Он участвовал и побеждал практически во всех вокальных конкурсах, проводившихся на радио Мадрида, радио Испании и Межконтинентальном радио. Поскольку

повторные выступления артистов в подобных конкурсах не допускались, то певец, с одобрения продюсеров радиопрограмм, применил небольшую «военную хитрость». Он решил менять свои имена — и, благодаря этой уловке, мог повторно участвовать в одних и тех же радиоконкурсах, используя два, а то и целых три псевдонима. Правда, премии на этих конкурсах были чисто символическими — например, за победу в одном из них Рафаэль получил в награду 100 песет и банку газированного напитка, производитель которого был спонсором данной программы.

В 1962 году Рафаэль стал участником популярного конкурса национальной песни в Бенидорме, куда попал практически в самый последний момент — в фестивале должны были участвовать десять конкурсантов, один из которых неожиданно выбыл. По рекомендации Мануэля Гордильо, молодого певца пригласила на прослушивание радиостанция «Голос Мадрида», по итогам которого он был допущен для участия в конкурсе — и вышел в финал после отборочного тура, продолжавшегося два месяца. В это же время он каждый вечер выходил на сцену в мадридском театре «Галера», получая 180 песет за выступление, и одновременно записывал свой первый сольный диск по контракту с фирмой «Филипс». По итогам фестиваля, Рафаэль безоговорочно завоевал первое место как лучший исполнитель, после чего его популярность стремительно начала расти. Тогда же он изменил традиционное испанское написание своего имени, начав выходить на сцену как «Raphael» (именно такая транскрипция была более привычной и понятной для других стран Европы). Так из собственного имени родился профессиональный псевдоним, под которым певец впоследствии прославился по всему миру.

Несмотря на успех фестиваля в Бенидорме и признание публики, многие воротилы шоу-бизнеса на первых порах отказывались верить в то, что этот «мальчишка из Линареса» появился на сцене всерьёз и надолго. Так, известнейший испанский продюсер того времени Пако Бермудес однажды во всеуслышание заявил о юном певце буквально следующее: «Через год он будет уже никем». Только в 1965 году Рафаэль был признан настоящей «звездой» — после того, как устроил подлинную революцию в культурной жизни Испании. Впервые в истории шоу-бизнеса эстрадный исполнитель дал сольный концерт на одной из лучших оперных сцен Мадрида — в знаменитом театре «Сарсуэла», — продолжавшийся два с половиной часа. Даже многие поклонники молодого певца (не говоря уже о недоброжелателях) называли эту затею чистейшей авантюрой, предрекая ей неизбежный провал. Однако опасения оказались напрасными. Концерт Рафаэля в театре «Сарсуэла» завершился подлинным триумфом — правда, молодому певцу не удалось насладиться им в полной мере. Сразу после завершения концерта он надел военную форму и вернулся в казарму, поскольку как раз в то время был призван на военную службу. Впрочем, через некоторое время армейской жизни пришёл конец — и вскоре Рафаэль уже выступал с сольными концертами в парижской «Олимпии» и на других лучших сценических площадках Европы. Правда, на международном конкурсе «Евровидение» в 1966 году он занял только шестое место (лучшее на то время достижение для Испании) — однако на родине его всё равно встречали как национального героя.

Во второй половине 1960-х гг. Рафаэль совершает длительное турне по странам Латинской Америки, вслед за Испанией безоговорочно признавшей его своим вокальным кумиром. Тогда же он впервые посетил США, где в Нью-Йорке в течение трёх недель участвовал во всемирно известном телевизионном «Шоу Эда Салливана», попасть в которое мечтали все артисты (всего за несколько месяцев до выступления Рафаэля программа Эдда Салливана представила американской публике знаменитую «ливерпульскую четвёрку» — группу «Beatles»). Впоследствии Рафаэль не раз выступал на известнейших сценах Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса и других столицах американского шоу-бизнеса. Как вспоминал сам певец, особое место среди его выступлений в США занимает первый сольный концерт в знаменитом нью-йоркском зале «Карнеги-холл»: «Выступление там — окончательное посвящение в артисты... Карнеги-холл — это словно вступление в Академию, как получение докторской степени за особые заслуги в лучшем университете мира». В 1997 году, в канун празднования 35-летия своей творческой деятельности, Рафаэль выступил в Карнеги-холле в двадцатый раз — и это было далеко не последним его выступлением на одной из известнейших концертных площадок мира.

В 1966-1973 гг. Рафаэль активно снимался в кино, сыграв главные роли в нескольких музыкальных лентах. Один из этих фильмов, — «Digan lo que digan», — снятый в 1968 году режиссёром Марио Камусом, в 1970 году вышел в советский прокат под названием «Пусть говорят», и принёс певцу оглушительную славу в Советском Союзе. В 1970-е гг. он несколько раз приезжал в нашу страну на гастроли, неизменно проходившие с большим триумфом. Весной 1978 года, во время гастрольного турне, проходившего в Москве, Ленинграде, Киеве и Баку, он узнал, что его жена (известная журналистка и писательница Наталия Фигероа, вышедшая за него замуж в 1974 году), ожидает рождения третьего ребёнка. Тогда же, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Неделя», что изменилось в его жизни после свадьбы, певец ответил: «До женитьбы я вообще не думал об отдыхе. Отдохнуть, если можно так выразиться, удавалось только в кресле самолёта, во время бесконечных перелётов. Теперь жена под угрозой развода заставляет отдыхать не меньше трёх недель в году — как правило, летом».

Несмотря на то, что с тех пор минуло немало лет, в жизни певца мало что изменилось. Он постоянно работает над новыми альбомами, участвует в самых разнообразных телевизионных и радиопрограммах, с успехом выступает на театральной сцене (мюзикл «Джекилл и Хайд», в котором Рафаэль исполнял сразу две партии, в течение 7 месяцев шёл в Мадриде с неизменным аншлагом). Однако основной его работой, исполненной истинной радостью творческого полёта, по-прежнему остаётся концертная деятельность (один только сольный концерт 1985 года на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», посвящённый 25-летию творческой деятельности певца, собрал почти 115 тысяч зрителей). Сегодня традиционный график артиста — не меньше сотни выступлений в год. А география его выступлений раскинулась по многим континентам, когда страны и города меняются почти ежедневно.

Если с 1980-х гг. Рафаэль не выступал на российской сцене почти 25 лет (за исключением турне 1997 года), то, начиная с 2009 года, певец представляет в нашей стране практически каждую свою новую программу. В преддверии юбилейного концерта в честь 70-летия артиста, состоявшегося в Санкт-Петербурге 10 апреля 2014 года, он дал эксклюзивное интервью корреспонденту Наталье Арутюновой, где ответил, в частности, на следующие вопросы:

— Сеньор Рафаэль, Вы во многих отношениях были первым эстрадным исполнителем, открывшим дверь для испанской музыки за пределы своей страны. Вы первым дали сольный концерт в Испании, что, безусловно, повлияло на развитие всей музыкальной культуры вашей страны, коренным образом изменив отношение зрителей к эстрадной песне. Появилось ли что-нибудь новое в вашем восприятии музыкального искусства за десятилетия творчества? Есть ли что-нибудь, что вы сегодня понимаете лучше, чем тогда, когда впервые посетили Советский Союз? И когда вы получали больше удовольствия от своего общения со зрительской аудиторией — тогда или сейчас?

— Наверное, каждое десятилетие приносит что-то своё. Говорить, что однозначно положительное, наверное, было бы ошибкой, ведь процесс развития искусства, в том числе и музыкального, обусловлен очень многими обстоятельствами. Появляется и что-то хорошее, и то, что меня не слишком радует. Но горевать об этом не приходится, потому что во все времена дело обстояло именно так. Да и, я убеждён, и в будущем именно так и будет происходить. Но нельзя забывать, что у каждого — своё восприятие и времени, и искусства, оно никогда не станет единым для всех. И поэтому одни воспринимают что-то на «ура», а другие только скептически улыбаются. Да и один человек с течением времени многое начинает видеть, действительно, по-разному. Наверное, сегодня, после стольких лет, которые я провёл на сцене, я намного меньше волнуюсь и больше просто радуюсь своему общению с публикой, которая находится в зале. Искренне и от души. Я просто наслаждаюсь этим общением! Я это ясно ощущаю, и главное, я каждый раз хочу сделать так, чтобы это прекрасное чувство передалось тем, кто в этот раз пришёл разделить со мной вечер.

— Да, пресса разных стран не раз писала, что каждый ваш концерт — безусловный триумф, когда зрители не в силах усидеть, и вся аудитория достаточно быстро оказывается на ногах. В этом проявляется осязаемое покорение публики, которая пришла на концерт. В каждой стране, где вы выступаете, в каждом городе, большом или малом... Вам легче подчинять себе публику теперь, имея весь сценический опыт, которым вы обладаете после стольких лет успешнейшей карьеры, или в то время, когда вы только стали номером первым в Испании?

— У каждого периода свои трудности. Покорять публику всегда было не слишком легко. Но сегодняшний день предоставляет широкие возможности для живого общения людей между собой, и многое в этом отношении ещё недавно казалось сущей фантастикой. Наверное, поэтому мои поклонники и я стали тоже ближе благодаря передовым технологиям коммуникации. Так что теперь я могу обратиться к своим почитателям напря-

мую, что-то спросить и получить вполне ясный ответ. И такая тесная связь очень часто помогает мне найти некоторые, на мой взгляд, правильные решения. Этого, конечно же, не могло быть раньше, когда и простой телефонный звонок из одной страны в другую занимал массу времени... Теперь у нас есть чудо интернета. И я в этом плане вполне современен, потому что всегда считал, что надо жить в ногу со своей эпохой. Полагаю, что у меня это достаточно успешно получается.

Ещё в конце 1990-х гг., в одной из глав своей книги воспоминаний, Рафаэль признался, что не очень любит, когда его называют просто певцом, поскольку считает, что для него больше подходит определение «артист». И действительно, каждый из тех, кому хоть раз посчастливилось побывать на его концертах, мог убедиться в том, что на сцену выходит не певец, не вокалист, который просто исполняет музыкальное произведение. Каждая из песен Рафаэля — это, прежде всего, маленькая история, представленная с подлинным артистизмом и предельной самоотдачей, в которой рассказывается о судьбе человека, о его чувствах и эмоциях в самых разных жизненных ситуациях. И всё вместе, эпизод за эпизодом, сливаясь в единую художественную канву, рождает удивительное действие, которое потрясает своей полифонией, разнообразием и пластическим рисунком, заставляя зрителей эмоционально откликаться на это многоголосие, адресованное именно тем, кто в эти мгновения присутствует в зале.

Сегодня художественный «багаж» Рафаэля насчитывает почти 100 дисков — в том числе на немецком, английском, французском и даже японском языках. Поскольку многие из них не раз получали специальные награды за высокие тиражи, общая «коллекция премий» прославленного певца насчитывает свыше 300 «золотых» дисков», более 50 «платиновых» и один «урановый», учреждённый специально за тираж пластинок, превышающий 50 миллионов копий. Кроме Рафаэля, за всю историю шоу-бизнеса этой награды были удостоены только Майкл Джексон и Фредди Меркьюри с группой «Queen» — на этом список заканчивается!

Ещё в 1975 году, в Линаресе, на том месте, где когда-то стоял первый в жизни Рафаэля дом, появилась мемориальная доска в его честь. В 1996 году его именем была названа одна из улиц Линареса, а в 1997 году — улица в городке Эстепона, также находящимся в его родной Андалузии. Наконец, весной 2011 года в Линаресе состоялось открытие музея Рафаэля — долгожданное событие, подготовка к которому продолжалась почти пятнадцать лет. Экспозиция разместилась в старинном здании, которое было полностью перестроено внутри по оригинальному архитектурному проекту, а также оснащено самыми передовыми технологиями. За прошедшие три года музей приобрёл большую популярность, став одним из самых интересных туристических объектов Андалузии.

О том, насколько высоким остаётся интерес к творчеству Рафаэля, свидетельствует его выступление, состоявшееся в феврале 2014 года на всемирно известном фестивале испанской песни в чилийском городе Вин дель Мар. До этого он четыре раза участвовал в конкурсной программе фестиваля, неизменно получая главный приз. На этот раз он выступал вне конкурса,

как почётный гость песенного смотра. И, тем не менее, именно Рафаэлю присудили... все награды фестиваля — так захотела публика.

Впрочем, и этого триумфа, и многих других радостных событий последних лет, могло и не быть. Дело в том, что в самом начале 2000-х годов у Рафаэля обнаружилась серьёзная болезнь, угрожавшая его жизни. Был момент, когда казалось, что стремительно угасавшего артиста вряд ли удастся спасти. Однако, благодаря искусству врачей и собственному характеру, певец сумел всё преодолеть. Осенью 2003 года, через несколько месяцев после успешно проведённой операции, он вновь вышел на сцену, дав четыре сольных концерта в мадридском театре «Сарсуэла» — том самом, где в 1965 году пережил свой первый большой триумф. После этого Рафаэль возобновил активную гастрольную деятельность, а также написал книгу «Я хочу жить», в которой поделился с читателями тем, что ему довелось пережить. Об этом зашла речь и в интервью, взятом Н. Арутюновой весной 2014 года:

— Как изменилось Ваше отношение к современному миру после операции, сделанной в 2003 году, которая вас возродила? Что вы могли бы посоветовать нашим читателям с позиции человека, стоявшего однажды над пропастью, но уже более 10 лет снова находящегося в активной деятельности и дающего около 100 концертов в сезон?

— Каждый человек — это целый мир. Каждый случай, конечно же, отличается от другого. Но, на мой взгляд, суть заключается в том, что одни находят в себе силы сопротивляться болезни, проявляя свою волю, а иные предпочитают принять случившееся и смириться. В этом, думаю, всё дело. Надо верить, упрямо верить и стремиться вернуться в свою жизнь, которая вдруг начинает уходить... И потом, наверное, надо научиться отличать самое главное, что нам даровано: саму возможность быть среди близких людей и заниматься любимым делом. Не стоит растрачивать себя по мелочам, выражая недовольство из-за вещей, которые, в общем-то, ничего не стоят, подчас превращая их во вселенскую трагедию. Возможность видеть мир, небо над головой и зелень на деревьях, улыбку собственных детей и восход солнца утром и есть настоящий дар, который мы получили. И это надо ценить! И, конечно же, стоит достаточно внимательно относиться к своему здоровью. Я теперь это делаю, чтобы иметь возможность работать полноценно и очень активно, то есть так, как я привык с молодых лет.

При подготовке статьи использованы материалы из книги воспоминаний Рафаэля «А завтра что?», впервые изданной в 1998 году, к 35-летию творческой деятельности артиста, а также информационного буклета, выпущенного в 2014 году, в связи с презентацией в России юбилейной программы «Моя волшебная ночь».